



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК **ВОЛГА** 1-2 2020

Литературно-художественный журнал



Виктор Борисов-Мусатов.
«Осенний мотив». 1899



Виктор Борисов-Мусатов. «Водоём». 1902



XXI ВЕК

ВОЛГА

1-2 2020

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амосин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей

1-2 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Николай РАЧКОВ. **Весь этот мир не зря с твоей душою слит...** 3

ЮБИЛЕЙ

К 90-летию со дня рождения Евгения Носова 12

Мастер слова 13

Евгений НОСОВ. **Алюминиевое солнце** 16

ПОЭТОГРАД

Андрей НОВИКОВ. **Запретный город** 37

ОТРАЖЕНИЯ

Сергей САМОЙЛОВ, Виолетта ДРАЧЕВА. **Из «Беловодских рассказов»** 41

ПОЭТОГРАД

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ. **Предзимье** 75

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Александр ЕГОРОВ. **Мечтатели** 81

ПОЭТОГРАД

Алексей БОРЫЧЕВ. **Контрасты жизни** 146

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ. **Искусство времени** 149

ОТРАЖЕНИЯ

Евгений СКРИПИН. **Власихинское кладбище** 153

Алексей МАНАЕВ. **Два рассказа** 158

В МИРЕ ИСКУССТВА

Александр ДЕМЧЕНКО. **Цвет саратовской живописи** 177

РЕЦЕНЗИИ

Михаил МУЛЛИН. **«Не рассказать ли вам сказку...»** 186

Михаил МУЛЛИН. **«А в ладонях щебечет лето...»** 187

Елизавета МАРТЫНОВА. **«Улица Бога»** 190



**Николай
РАЧКОВ**

ВСЁ ЭТОТ МИР НЕ ЗРЯ С ТВОЕЙ ДУШОЮ СЛИТ...

Живут в душе средь песнопений,
Среди волнений и тревог
Есенин – музыкой осенней,
И зимней музыкою – Блок.

И Лермонтов – как дух поэта,
Когда кипят страстей грома.
И Пушкин – ощущеньем света,
Когда владычествует тьма.

«В начале было Слово,
И Слово было Бог» –
Всего и вся основа,
Всего и вся исток.

Исток земного чуда,
Лесов, и гор, и рек.
Ты позабыл, откуда
И кто ты, человек.

И ты в своей гордыне
Вознёсся до небес.
Тобою к Слову ныне
Потерян интерес.

Ты в космос устремился,
Наметил в бездну путь.
Ты многого добился,
Но ты не забудь:

-
- Николай Борисович Рачков – поэт, секретарь Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных литературных премий, в том числе: Большой литературной премии России «АЛРОСА», Большой литературной премии им. Р. Гамзатова, Всероссийской литературной премии им. А. Твардовского, им. А. Прокофьева, Всероссийской православной литературной премии им. Святого благоверного князя Александра Невского, им. Святого праведного воина Феодора Ушакова; лауреат Гран-при Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», литературной премии «Болдинская осень». Академик Петровской академии наук и искусств. Почётный гражданин Ленинградской области.

Всё снова без печали
 Пожрёт времён поток.
 Всё будет, как в начале,
 И Слово будет – Бог.

Как всё-таки земля у нас прекрасна!
 Нередко своенравна и опасна,
 Но есть ли что-то лучше во Вселенной
 Для человека в этой жизни брэнной?
 Зачем же зло творит он в мире этом,
 Гомером,
 Гёте,
 Пушкиным воспетом,
 Зачем он вырывается из плена
 Чайковского,
 и Баха,
 и Шопена
 И рвётся в космос к звёздным зодиакам,
 Где всё объято хаосом и мраком?

...А свернёшь с большака – и такие блеснут уголки,
 А простор-то, простор – слева Ладога, справа Онега.
 Клевера, клевера – как потухшей зари угольки,
 Незабудки вокруг – словно брызги лазурного неба.

Упадёшь ты на них – и расскажут охотно они,
 Как в ночном неустанно им кланялись гордые кони,
 Как росли и цвели, как сияли в недавние дни
 И какие здесь песни играли, рыдая, гармони.

Это здесь, это здесь позабытые те голоса,
 Это память, любовь, неразрывного мира соседство,
 Это корни, земля, это воздух, трава и роса –
 Всё, чем живы мы все, что другим оставляем в наследство.

ЗИМНЯЯ РУСЬ

Нерукотворной такой белизны
 Где вы ещё на планете найдёте?
 И ничего, что берёзы грустны, –
 Столько прекрасного в белой их плоти.

А у сосны на зелёном плече
 Белая шубка алмазно искрится.
 Зимняя Русь
 в белоснежной парче –
 Словно из сказки волшебной царица.

В хлопьях пушистых дома и мосты.
Люди! Не зря ведь он падает с неба.
Глубже вдохните в себя чистоты
Белого-белого русского снега!

Юрию Соколову

Там на виду у всей вселенной
Вновь на ноги вставал колхоз.
Я рос в стране послевоенной,
В стране и радостей, и слёз.

О, эти стройки и парады,
Полёты в космос, целина!
Но повышать за труд оклады
В те годы не могла страна.

Хотелось лучшей, лучшей доли,
Стремилась к ней по мере сил.
Я пионерский галстук в школе
Там гордо на груди носил.

О той стране теперь лишь толки,
Фантазии, да что с того?
Вон ломятся сегодня полки
От изобилия всего.

Там было и бедней, и строже,
И было много не по мне,
Но почему-то всё же, всё же
Вздыхаю я по той стране.

Недавний день моей страны.
Документальный фильм. Столица.
Какой мечтой озарены
Открытые друг другу лица!

Мелькнёт лицо, его черты
Меня взволнуют не напрасно.
В нём нет той самой красоты,
Но как, но как оно прекрасно!

Сегодня после стольких вьюг
Невольно с горечью подмечу:
Иду в толпе, гляжу вокруг,
Но лиц таких уже не встречу...

Над белой рощей, словно ниоткуда,
Взмыл белый храм под сенью лунных крыл.
Какое человек на свете чудо,
Какую красоту он сотворил!

Какой восторг в душе его огромной
Царил, когда он возводил дворцы,
Живя порой в избушке полутёмной,
Сводя с концами жалкие концы.

Какие вороны, рвя постромки,
Летели сквозь метель в потоке дней,
Чтоб не забыли тот полёт потомки,
Готовя в путь космических коней.

И я уразуметь, постичь пытаюсь,
Как, украшая доли и холмы,
Наш предок, от земли не отрываясь,
Был ближе к небу, чем сегодня мы.

Михаилу Чванову

Да, такие вот мы:
И грустим, и жалеем о многом,
Но не падаем духом,
Судьбе своенравной назло.
Даже если грешим,
Всё равно остаёмся мы с Богом
И тому, кто устал,
Подставляем в полёте крыло.

Не остыли сердца,
Высоки ещё наши скрижали.
В вознесённой молитве
Сливаются души в одно.
Что ни век так живём,
Никуда до сих пор не пропали.
Может быть, потому,
Что нам свыше пропасть не дано.

ЧИТАЯ ГОМЕРА

Всё злей, всё быстрее, всё грозней времена.
Нельзя и представить, что будет в итоге...
Читаю Гомера.

Любовь и война.

Там боги как люди и люди как боги.

Отважен Ахилл и хитёр Одиссей,
Там что ни герой – то в крови по колено.
В чём суть величавой истории сей?
Где Троя?
И где молодая Елена?
Где та же Эллада?..
Тем дням в унисон
Враждебно тревога стоит у порога...
Читаю Гомера.
Эпический сон.
Там люди как боги..
И только нет Бога.

От землетрясения или болида
Рухнула в бездну давно Атлантида?
Цивилизация? Царство? Страна?
Кто её знает, какая она.
Мифы остались, догадки и толки,
Славы былой проступают осколки
Издалека, с океанского дна.
Эхо одно. Где они – письмена?..
Нет на земле ничего, что навеки.
Сохнут моря, изменяются реки.
Люди, считая свои барыши,
Тонут во славе, грехах и во лжи,
Тонут в крови, не щадя и природы,
Вновь возмущая небесные своды.
Весть нам какую из царства Аида
Всё ещё шлёт до сих пор Атлантида?..

СИЯЕТ НОЧЬ, ЦВЕТЁТ...

Волненья своего не в силах превозмочь,
Забывший прозу дня, события и встречи,
Ты распахни окно в сияющую ночь,
В торжественный напев, звучащий издалеке.
И в звёздном вся огне, и в лунном хрустале
Захватывает дух небесная порфира.
Услышь, услышь скорей, почувствуй на земле,
О чём звенит, поёт Божественная лира.

Весь этот мир не зря с твоей душою слит,
Так хочется вздеть к святому Небу руки.
Сияет ночь, цветёт, Вселенная не спит.
Услышь, услышь её таинственные звуки...

Так много васильковой сини
Над светлой рощицей простой.
Здесь лес и поле... Здесь Россия.
Здесь Пушкин, Лермонтов, Толстой.

И земляника в перелеске,
Черёмух вешних холодок,
Грачи и церкви... Достоевский,
Тургенев, Тютчев, Гоголь, Блок.

Здесь снежные бывают бури,
Шагнёшь – и не сыскать концов.
Но здесь Иван Шмелёв и Бунин,
Есенин, Шолохов, Рубцов.

Словесные набат и гусли.
Так было и так будет впредь.
Здесь можно и в любви, и в грусти
Любое сердце отогреть.

Кричали, что давно его пристало
В поэзии низвергнуть с пьедестала:
Империю воспел. Воспел царя.
Он был. Он устарел. Его не стало.
Других талантов занялась заря.

Какие споры, страсти были в зале
О том, кто нами с детства был любим...
Но где вы все, кто Пушкина свергали?
Взгляните: он стоит на пьедестале –
Задумчив. Незлобив. Неколебим.

И что ему вся ваша непогода!
Его глагол рассеивает тьму.
Его не снять,
Как солнце с небосвода,
Его не вырвать из души народа –
Нигде.

И никогда.

И никому.

СМОЛЕНСКАЯ ТВЕРДЫНЯ

Ни современным, ни гусиным
Не описать его пером –
Сливающийся с небом синим
Собор, парящий над Днепром.

Войдёшь – и встанешь удивлённый,
И вдруг охватит душу дрожь.
Перед старинною иконой
В невольном трепете замрёшь.

Мы испивали полной чашей
Судьбу издревле на Руси
С Путеводительницей нашей,
Заступницей на небеси.

Всегда таинственно простая,
Она глядит сквозь век любой...
...К Москве с боями отступая,
Ермолов взял её с собой.

Конногвардейцы и гусары
Прошли с ней, смерти вопреки,
Сквозь сабли, пушки и пожары,
Сквозь бонапартовы штыки.

Икона эта и поныне
Полна незримой силы той.
В ней дух опоры, дух твердыни,
Дух русской крепости святой.

Продрогнув на сквозном ветру –
Шажок вперёд, ещё шажок, –
Идёт старушка поутру
В храм, опершись на подожок.

Сквозь все на свете времена,
Сама из дедовских времён,
Молитвенно кладёт она
Перед иконою поклон.

Стоит, качается в углу,
Подобно слабому лучу.
И никакому в мире злу
Не погасить её свечу.

Пусть дым из трубы деревенской и горек,
Но есть в нём для сердца волнующий хмель.
Россия – вот этот проснувшийся дворик,
Где утром скворечню качает апрель.

Она и печальный погост за деревней,
И солнечный снег, и пылающий клён.
В ней столько таится поэзии древней,
Легенд и сказаний минувших времён.

Она – Куликово и Курское поле,
И доблестный витязь монах Пересвет,
И Юрий Гагарин, и девочка Поля,
За бабочкой белой бегущая вслед...

Листья падают с клёнов... Их под ветром кружение –
Как последней мечты и полёт, и крушение.

Шелест их расставанный, шёпот медленный, тающий
В этой жизни ликующей, в этой жизни страдающей.

Мы ведь тоже вот так всё никак не утешимся
И за ветку надежды до последнего держимся.

Листья падают с клёнов, так уж исстари водится.
О судьбе их теперь мать-земля позаботится.

Сколько чистого света, сколько в них полыхания
Я ещё не сказал – не хватает дыхания...

Мне плохо у заброшенных могил...
...Жил человек, своей не зная доли.
Носил в себе он бесконечный мир
Забот, волнений, радости и боли.

И вот его последний жалкий кров,
Вот чем его потомки увенчали...
...О, сколько неухоженных миров,
Забывших слёз, засыпанной печали!

Ни жизни прогрессивный бег,
Нас захвативший бессердечно,
Ни сам, быть может, человек –
Ничто, друзья мои, не вечно.

Изменяется уклад и кров,
Времени промчится вереница.
В тени незабываемых веков
Всё жадной бездной поглотится.

И только ветер, только даль,
Уступы гор, леса и воды..
И только тайная печаль
На сомкнутых устах природы..

Упаси моих друзей, их осталось так немного,
Дай дожить им, долюбить – я прошу всё чаще Бога.

Даже тех, кто неверны были в дружбе или в деле,
Пусть живут, вздохнув о том, как мечтали мы и пели.

Даже если мы порой умывались и слезами,
Чаще всё же в тех слезах виноваты были сами.

Пусть подольше на закат смотрят тёплыми очами,
Потому что всё почти, всё осталось за плечами.

Потому что эту жизнь, что течёт так быстро к устью,
Как искрящийся бокал, пили с радостью и грустью...

Если тебе станет грустно до боли,
Если не радуют серые дни,
Выйди в осеннее русское поле,
К белой берёзе щекою прильни.

Сразу невольно душа распахнётся
Жизни навстречу, всему вопреки.
Лист пожелтевший под ветром сорвётся,
Чтоб до твоей дотронуться руки.

Глубже поймёшь, что на свете труднее
Тем, у кого ни ветвей, ни корней,
Что ничего нет милей и роднее
Этой земли, этой жизни на ней.



К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ НОСОВА

15 января 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения прекрасного русского писателя, лауреата Государственной премии и многих литературных премий, в том числе премии Александра Солженицына, награждённого двадцатью шестью орденами и медалями, ветерана войны Евгения Ивановича Носова. Его друг, писатель Виктор Астафьев, назвал Носова первым рассказчиком России. А другой прозаик, Виктор Политов, сказал, что повесть «Усвятские шлемоносцы» (она вместе с широко известным рассказом «Красное вино Победы» вошла в многотомник «Шедевры русской литературы XX века») – это наши святцы, её надо издать в переплёте с золотыми застёжками... Язык Мастера называют златотканым, парчой высокой пробы. Своим учителем в литературе его считают многие писатели России.

Произведения Е. И. Носова печатались миллионными тиражами, по ним ставились кинофильмы и спектакли, делались инсценировки на радио. Они изучаются в школе, по ним пишут дипломные работы студенты, по ним защищают диссертации.

В 1970–1980-е годы повести и рассказы Евгения Носова переводили во многих странах на языки народов мира: немецкий, английский, японский, венгерский и др., – легче назвать страну, где не было таких переводов. Его творчество интересно любому народу, ибо оно касается тем, предельно близких любому человеку: добро и зло, война и мир, труд на земле, любовь к природе и родному краю, душа человека, его чувства и мысли, мир детства, трогательный мир братьев наших меньших – зверей и птиц. Страницы его книг наполнены светом, добротой, они учат радоваться самой жизни и преодолевать трудности.

Широко известны рассказы и повести писателя: «Шумит луговая овсяница», «За долами, за лесами», «Храм Афродиты», «Потрава», «Домой, за матерью» и др. В 80-е–90-е годы им создано много новых произведений, которые ещё не очень широко известны читателю и не переводились за рубежом. Это «Аз-буки...», «Красный... жёлтый... зелёный...», «Греческий хлеб» – о детстве; «Тёмная вода», «Карманный фонарик», «Алюминиевое солнце» – о жизни деревни; «Памятная медаль», «Хутор Белоглин», «Синее перо Ватолина», «Фагот» – о войне, и др. Очень бы хотелось, чтобы не только российские читатели, но и жители зарубежных стран узнали и полюбили эти произведения. Они учат добру, трудолюбию, помогают и взрослым, и детям познавать окружающий мир.

В Курске Е. И. Носову установлены памятники, открыты мемориальные доски – на доме, где он жил, на здании школы,

где учился; в Литературном музее ему посвящён отдельный зал; улица и библиотеки в Курске и Железнодорожке носят его имя; в Курской области учреждена Губернаторская премия имени Евгения Носова.

Евгения Спасская,
научный сотрудник Литературного музея г. Курска

МАСТЕР СЛОВА

Они покинули дольний мир почти в одночасье, след в след, дружно, по-солдатски. «Зубры», «мужики недюжинного склада», писатели фронтового закала: сначала Николай Корнеев, затем Пётр Сальников. По праву «старшего по званию», по командирскому долгу короткий строй замкнул Евгений Носов. Казалось, не будет сносу им, словно выкованным из шероховатой военной брони, словно заговорённым от повестки в небытие, как когда-то от пули-осколка. В их изранных телах, которые они беспечно не оберегали от сухомятки, от курева, от наркомовских ста граммов с «прищепом» и которые были неважным по надёжности вместилищем для их источенных болью сострадания сердец, – в этих телах обитал могучий творческий дух, державший трёх курских богатырей на плаву сверх всяческих «нормативных» сроков. Но дверь в вечность рано или поздно открывается перед каждым..

Последний раз общаться с Евгением Ивановичем мне довелось в канун его семидесятипятилетия. Позвонил, официальным тоном: редакционное, мол, задание, попросил о встрече. У Носова уже тогда чересполосица здоровья-нездоровья сползала в сторону неотвязных болячек, настроение было неважнецкое, интервью он почти никому не давал, и предстоящая юбилейная страда, чувствовалось, его никак не радовала и не вдохновляла. Со второго, однако ж, захода я добился-таки приглашения: «Ладно уж, достал. Приходи. Где живу, помнишь?»

Ну как не помнить?! Нечасто я сживал в святая святых писателя, в его кабинете, одновременно по-домашнему уютном и по-рабочему аскетичном. Взгляд жадно впитывал детали: заваленный рукописями, папками, конвертами легендарный стол-«верстак»; фотографии, рисунки, картины – носовской работы и подаренные хозяину – на стенах; забытые внуками игрушки; невесть зачем примостившийся у тахты велосипед.. Ну и книги, дело ясное: беллетристика, а также очень обильно-художественные альбомы, справочники и энциклопедии, исторические труды, естественно-научные издания. Сомневаюсь, что среди этого библиофильского изобилия нашлась хотя бы одна книга, не прочитанная с карандашом в руке хозяином кабинета.

Замечательно, как мне мнилось, выстроенный план-вопросник к запланированному интервью сразу рухнул. Носов, по обыкновению, взял бразды правления разговором в свои могучие руки, и беседа потекла этаким вольным, прихотливым потоком, отвлекаясь на «рукава», «протоки» и «затоны». С ужасом я взирал на неумолимо пожирающий плёнку диктофон – ну когда же я задам свои «главные» вопросы?! А юбиляр тем временем вкусно и неторопливо рассуждал о чём-то «постороннем». Отныне эта 90-минутная кассета – самая ценная единица хранения моего журналистского архива.

– Евгений Иванович, возможно ли возрождение пророческой, совестливой, если позволительно так выразиться, функции отечественной словесности?

– Это зависит от того, каким путём пойдёт Россия. Если она будет укрепляться как государство, ей понадобится и литература в качестве формы национального самосознания. Найдутся и писатели. То есть должна возникнуть общественная потребность, социальная ниша для такой литературы. Пока же наша литература села на мель, как корабль, из-под которого ушла вода, по которой когда-то плавал с надутыми парусами. На разных этапах истории российская литература была, образно говоря, поводырём народа, чему способствовала даже общинная природа нашей жизни. Поэтому в прежнем виде она просто существовать уже не сможет, но, надо думать, придёт новая литература, востребованная временем и самой жизнью страны.

Известно, что Носов не относится к тем художникам слова, кто пишет по принципу «ни дня без строчки»: его рассказы и статьи долго вызревают в письменном, так сказать, виде – у них затяжной «инкубационный период». Однако за «верстаком» Евгений Иванович восседал едва ли не каждодневно, платя регулярную дань эпистолярному жанру.

А в ту пору он как раз вёл весьма интенсивную переписку с «другом любезным», старинным однокашником по Высшим литературным курсам, душевно и духовно близким человеком и тоже писателем крестьянских корней – речь, конечно, о Викторе Астафьеве. Виктор Петрович только-только потряс читающий мир новыми главами романа «Прокляты и убиты», но Носов, высоко оценивая это, как оказалось, итоговое творение друга, критически относился к каким-то деталям и частностям книги, о чём, опять же по-товарищески, прямо автору и сообщал. Причём «разбор полётов» отличался просто-таки академической скрупулёзностью и дотошностью: черновик письма в Овсянку представлял собой пухлую пачечку из нескольких десятков мелким носовским почерком исписанных страниц.

Кстати – и это очень важный момент – сам Носов не был баталистом, изобразителем боёв и сражений, где дымится «горячий снег», «танки идут ромбом» и стоят насмерть «в окопах Сталинграда». При том, что Носов – «доподлинный окопник», заряжающий второго расчёта 1969-го полка отдельной артиллерийской бригады, приданной великомученической нашей пехоте. «В этой артиллерии, – скупо вспоминает писатель, – люди подолгу не задерживались. Едва познакомишься с новичками, едва притрёшься друг к другу, а уже кого-то уносят в санчасть, кому-то рюкз скорбную двухметровку...»

Война для Носова не апофеоз героизма и жертвенности, которых, само собой, он не отрицал, не кроваво-грязные выплески предательства, жестокости и неизбежного российского головотяпства и бардака, а, прежде всего, момент истины, психологическое и нравственное испытание на прочность всякой личности, втянутой так или иначе в военную мясорубку. «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два» созданы уже состоявшимся мастером. А начинался литературный путь Носова с лирических зарисовок и этюдов о природе, рыбной ловле, о непритязательных сельских радостях. И курские, и столичные рецензенты дружно отметили крепкую писательскую хватку тридцатилетнего журналиста из областной молодёжки: выверенное чувство стиля, литературное владение языком.

Совершенно справедливо критик Юрий Томашевский указывает: «Носов-мастер начинался с «Объездчика». Всё до того им написанное было поиском этого начала, подступом к нему, его предтечей».

Вообще-то этот рассказ, опубликованный в 1966 году в «Новом мире» и сразу удостоенный эпитетов «превосходный», «хрестоматийный» и «классический», замеченный и за рубежом, был озаглавлен автором по-другому:

«Потрава». Что редакторская длань тут явно напортичила, ясно каждому читавшему рассказ. Да уж ладно, дело прошлое...

Превосходящая по глубине и силе художественного мышления иные толстобрюхие романы «Потрава» разрабатывает экзистенциальную тему первородности, первичности зла: звериное, животное начало под спудом дремлет в чело- веке и при определённых условиях вырывается наружу. И само зло в мире ещё остаётся. Может быть, оно и непобедимо, но бить в колокол, остерегая от него, подобно Носову, мы должны постоянно. «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе...»

У составителей летописи жизни и творчества Евгения Носова работы будет немного, а уж сугубо биографическая часть анналов уложится едва ли не в страничку...

...В пору перестройки и передела собственности писательское и журналистско-издательское хозяйство частично осыпалось под ударами экономического «землетрясения», а сохранившиеся остатки резко трансформировались – и Носов от всех своих общественных должностей добровольно отказался.

Но уж от чего он не мог отречься ни за какие коврижки – так это от главного дела своей жизни. И он писал, пока перо не выпало из рук... 12 июня 2002 года в земной биографии Евгения Носова прописана последняя строка и проставлена последняя дата. А место упокоения его совпало с местом рождения – курская земля.

Для нас с вами, его современников, роль Евгения Ивановича Носова в литературе второй половины XX века вырисовывается предельно чётко. Писатель следовал лучшим традициям отечественной классики – и как великолепный мастер слова, и как защитник униженных и оскорблённых, и как совесть, глас народа. «Великий поэт русской прозы», он со всей страстностью и бескомпромиссностью собственным творчеством боролся за чистоту родной речи.

Писательская и человеческая мудрость Евгения Носова, без сомнения, подпитывается выпавшими на долю этого железного поколения уроками судьбы – шутка ли, три четверти века, и каких!.. Давили несытое детство, тотальная житейская юдоль, сама далеко не бархатная писательская лямка...

И нам бы всем перенять чуток его мудрости и достоинства. А книги его уже давно и надолго с нами.

Александр ПРОЗОРОВ

**Евгений
НОСОВ**

АЛЮМИНИЕВОЕ СОЛНЦЕ

1

Миновал городок Обапол, а за ним – три полевых угора с лесными распадками, да перейдя речку Егозку, аккуратно выбредешь на хуторской посад из дюжины домов, где и спросить Кольшу – тамошнего любознатца. А то и спрашивать не надо: изба его сразу под тремя самодельными ветряками, которые лопаухо мельтешат и повиливают хвостами в угоду полевым ветрам. Когда видишь эти мельницы, невольно думаешь, что если побольше наставить таких пропеллеров, то в напористый ветер они так взрвут, что отделят избу от хуторского бугра и вознесут её над Заегозьем.

И ещё приметя: вокруг слухового окошка блестящей серебрянкой намалёвано солнце, испускающее в разные стороны лентовидные лучи. На утренней заре, когда посад освещён с заречной стороны, серебрянковое солнце на Кольшиной избе сияет с особым старанием, будто и впрямь ночевало в этом весёлом доме.

Но и без уличных примет Кольшу легко признать в лесу ли, на степной ли дороге, поскольку это единственная в округе душа на деревянной ноге. Тем паче нога не простая, а со счётным устройством: потикивая, сама сосчитывает шаги...

Потерял он ногу вовсе не на войне, как привычно думается при виде хромого человека, а из-за своей несколько смещённой природы. Хотя он и родился крестьянским сыном, но сам крестьянином не стал. Ещё в малые годы грезил дальними странствиями и, едва встав на ноги, завербовался в ближайший отсюда «Ветлугасплавлес» подручным плотогона. Душа ликовала: лес степной, смолой пахнет, филины ухают... Сперва ходили поблизости, а потом всё дальше и дальше, и вот уж на Волгу стали заглядывать. На четвёртом сплавном сезоне перед Козмодемьянском ветреной ночью дровяные связки сели на мель, и лопнувшим буксирным тросом Кольше напрочь оттяпало ступню. Полгода пролежал в Чебоксарах, что-то долбили, подпиливали и допилились до самого колена. Вернулся домой на костылях, с полотняной котомкой за плечами, в которой вместе с дорожным обиходом хранилось главное богатство и услада – лоцманские карты речных участков от Вохмы до Астрахани.

Зиму отбыл в нахлебниках, а со следующего сентября напросился в местную семилетку в Верхних Кутырьках. Рассказывал детишкам об устройстве Земли – про леса и воды, почему бывает снег, почему – лёд. Кое-что сам повидал, кой о чём начитался в больницах.

Школьное дело пошло душевно, вроде как снова поплыл на плоту, воскрешая в памяти извивы и повороты минувшего, а когда приобрёл фабричный протез, позволявший носить нормальную обувь и отглаженные штаны, то и вовсе воспрял духом, возомнил себя полноправным педагогом и даже женился по обоюдному согласию на милой хуторской девушке Кате.

Однако жизнь неожиданно дала «право руля» и ещё раз, как тогда под Козьмодемьянском, села на мель. Из школы его вскоре попросили, поскольку не имел свидетельства об образовании, а те лоцманские карты, которые разворачивал перед аттестационной комиссией в доказательство своей причастности к преподаваемому предмету, к нерукотворному устройству Земли, лишь вызвали недоуменные перегляды и шепоток за столом. В довершение он не совсем удачно, весьма по-своему ответил на некоторые дополнительные вопросы по конституционным основам и – что окончательно пресекло его учительскую карьеру – не назвал фамилии тогдашнего министра просвещения. Лоцманские карты у него тогда же отобрали как документы, не подлежащие никакой огласке, и Кольшу (тогда ещё по-школьному – Николая Константиновича) без цветов и даже без расхожего «спасибо», а, напротив, с молчаливой отстранённостью, как инфекционного больного, выпроводили в пожизненные колхозные сторожа.

Фабричный протез, в котором он начал было так счастливо учительствовать, изломался вконец, его надо было куда-то везти на починку, но замешкался, а там и пообвыкся, тем паче в классы больше не ходить и брюки не гладить, и он окончательно опростился, отпустил душу, куда она просилась, да и пророс родным берёзовым обножьем, которое потом ни разу не подвело ни в стынь, ни в хмарь – до самой старости одного хватило.

С годами он сделался теперешним Кольшей: перестал бриться, сронил с темени докучливые волосы, о чём выразился с усмешкой: «Мыслями открылся космосу!», по-стариковски заморщился, и только прежними остались так и не отцветшие взглядивые глаза цвета мелкой родниковой водицы, проблёскивающей над желтоватым донным песком. Томимый хронической невосребованностью, Кольша не залёг на печи, не затаился в обиде, а, напротив, открыто бурлил идеями и поисками ответов на вечные «как?» и «почему?».

– Я чего? Я не заскучаю... – повинно отводил глаза Кольша. – Глядеть бы, народ не заскучал... Страшна не та вода, что бежит, а та, что копится скукой.

Дети, даже повзрослев, продолжали почтительно здороваться с ним, а иногда, особенно в тёплые весенние вечера, собирались напротив его избы и допоздна сидели на просохшем речном обрыве.

Взрослые усмешливо оживлялись:

– Кольша? Ну как же, знаем, знаем такого...

2

Счётное устройство на Кольшиной ноге появилось при следующих обстоятельствах.

Ещё по расторопным годам, навестив Обапол, Кольша приметил в спортивном магазине некий прибор со спичечный коробок под названием «шагомер». Тяготеющий к науке и распознаванию её тайн, Кольша истово загорелся приобрести этот портативный измеритель пространств, страдающих пересечённостью. Дрожащими пальцами («хватит – не хватит?») он выложил на прилавок всю наличность, прибавил сверху помятый троячок из заначки, и всё же средств на покупку не достало. Горестное это обстоятельство повергло Кольшу в уныние: продать с себя ничего не нашлось, кроме захва-

танной балбески, которую и за так вряд ли кто приобрёл бы... И тогда, взяв с продавщицы слово, что никому другому не продаст, Кольша на первоопавшейся попутке рванул на хутор, одолжил недостающую сумму и успел такти тютелька в тютельку.

Обратно шёл, счастливо расслабься и добро заглядывая в глаза встречных обаполчан. Он нёс «шагомер» в бережно сложенной ладони, будто изловленную птаху, время от времени прикладывая коробок к уху и с замиранием вслушивался, как там, внутри, что-то размеренно жило и потикивало...

Как ни торопился, домой он доехал уже при звёздах на этапном комбайне, да и тот свернул в сторону ещё до Егозки. Голодный, но ужинать, однако, не стал, а тут же распеленал культю и на деревянной голени складным ножом принялся углублять нишку...

Катерина потом припоминала с добродушной ехидцей:

– Вижу, в ноге ковыряется, стружки летят. Может, думаю, затеял починку с дороги. Он частенько так вот возится. Ну, я без внимания, да и время позднее, пора ложиться. Просыпаюсь ночью, а мужика нет... Свет на кухне горит, на столе инструменты раскиданы, снятые брюки на табуретке лежат, а самого нету. Тут, конечно, не улежишь. В чём была, в долгой рубахе, босая, вышла на крыльцо. Подождала сколько-то – нету и нету... За то время мерклая луна обежала четверть дома: где было светло, там стемнелось, а где хоть глаз коли, там опять облунилось. А тут ещё поперёк двора тряпьё на верёвке развешано. Спросонья сразу и не разобрать всю эту лунную рябь. Вот вижу, за тряпьём ноги замелькали. Одна – с прискоком, другая – с при-топом: он, Кольша! Проскондыбал до огородной вереи, постоял, согнутый в поясе, а потом – вдоль заплота, вдоль заплота... И опять пополам пере-гнулся... Забоялась я: что-то с мужиком неладное. Кричу шёпотом: «Ты чего мечешься-то? Весь двор поистыкал?» А он только выставил пятерню в мою сторону и пропрыгал мимо. Тут я не на шутку охолодала, опять спрашиваю: «Не схватило ли чего? Может, съел нехорошее?» А он как обернётся, как сверкнёт глазами: «Эт, пристала! «Шагомер» пробую!» – «Я-то чем мешаю – так-то шумишь на меня?» «Он, – говорит, – должен звук подать. А ты со своими вопросами...»

К концу этой суматошной недели Кольша уже знал, сколько шагов в посадской улице, сколько до магазина в Верхних Кутырьках, а также до тамошней почты, где Кольша сторожевал последние годы. И вот что занятно: почитай, каждый день туда хаживал, а до сих пор, пока не измерил, не знал, что до почтового порога ровно 3618 шагов! Пошёл обратно – и опять почти столько же! Ну не тюк в тюк, шагов на шесть больше, ну так это он лужу с другой стороны обошёл, вот и набежало.

Хуторские ребяташки, а следом и кутыринские, а ещё понаехавшие на каникулы из разных мест быстро пронюхали про диковинную считалку. Кольшу наперебой просили измерить им и то, и это, и он, не чинясь, исполнял все ихние заказы, ну, скажем, сколько будет до моста через Егозку или «от этого дерева до вот того», и наука о местном землеустройстве пополнялась всё новыми открытиями. А чтобы эти усердно добытые сведения не перепутались, Кольша тут же заносил их столбцами прямо на свою берёзовую опору специальным химическим карандашиком, который, если послушать, писал вьедливо, насовсем.

Ребятишкам, конечно, нравилось шагать рядом с Кольшей напрямки, по канавистым азимутам и переголам, но ликовали больше всего, когда через каждые сто шагов раздавался тонкий контрольный звячок, похожий на звон велосипедной спицы, услышать который каждому хотелось как веху одоления.

– Ага, ударило! – ликовал услышавший первым. – Пацаны, ударило!

Бывало и такое: ещё Кольша схлёбывает с блюда свой утренний чай, как в окно уже кто-то тыкает хворостинкой. Кольша распахивает створки, и внизу, вровень с завалинкой, видит льняную маковку.

– Чего тебе?

– Деда Кольса... Сёдни ходить будем?

Землемерное поветрие будоражило Заезгозье всё тогдашнее лето. Загорелась даже идея создать отряд из добровольцев, запасти хлеба, огурцов, луку там, соли (картошку копать на месте), ведро для варева да с кострами, ночёвками двинуться на Обапол, чтобы раз и навсегда установить точное расстояние между Верхними Кутырьками (начать от почты) и районным центром (закончить тоже у почты). А то ведь никто толком не знает, сколько же на самом деле. Летом называли одно, а осенью – другое: смотря как развезёт. Сами же ребяташки обошли дворы, составили список охотников. Меньше семи годов не записывали, чтоб домой не просились, а и то – с Посаду, с самих Кутырок да с Новопоселеновки набралось аж на обе стороны тетрадного листа. Чувствовалось, что одному Кольше не справиться с таким ополчением, а потому галочками были отмечены два помощника – хуторской Серёга Гвоздиков и новопоселковский Пашка Синяк, первый каратист на Егозке, который сам и напросился на эту должность. Всё складывалось отменно, даже провели в лесопосадке пробное построение. Кольша в чистой рубашке, в сопровождении помощника Серёги (Пашка Синяк почему-то не явился) обошёл разновеликий ряд посуровевших землепроходцев, перепроверил список, осведомился, нет ли у кого потёртостей или каких других жалоб. Таковых не оказалось, но были обнаружены двое в небывалых цыпках на багровых икрах, кои под слёзное несогласие были отправлены по домам мазаться топлёным маслом и обкладываться капустным листом. Однако в решающий день, когда участники похода на Обапол принялись запасать провиант, начались расспросы: «Зачем?», «За какой надобностью?» – а узнавши, куда и с кем, родители многих не выпустили за ворота, самых же строптивых и непокорных рассовали по местным «кутузкам» – кладовкам да тёмным запечьям.

Тем временем подступил срок собираться в школу, интерес к землемерию сам собой поиссяк. Пришлые ребяташки, гостившие у деревенских дедушек-бабушек, разъехались восвояси, а местные после дня знаний, цветов и речей на выгоне перед школой, не успевшие раскрыть тетрадей, на другое утро были отправлены на картошку, поскольку Обаполский район считался передовым.

3

Но в Кольшиной голове, прикрытой полотняной basketкой, уже свил гнездо новый замысел.

Той же осенью нашёл он в поле четырёхметровую секцию от поливальной системы. Самой системы нигде не было видно, а вот одинокая труба с фланцами на обоих концах осталась. Кольша прошёл было мимо, но под кепочкой уже зажужжали колёсики на предмет полезности этой трубы, и он воротился почти с полдороги, чтобы получше исследовать находку. Попробовал приподнять – труба подалась без особого сопротивления. Постучал по ней спинкой складничка – звук чистый, высокий; поскрёб лезвием – светло, приветно блеснул алюминий. «Вещь хорошая! – оценил Кольша. – Но никто про неё не вспомнит, чтобы отвезти на хоздвор, так зазря и пропадёт, зарастёт полынью, а то и трактор потом наедет, сомнёт, приведёт в окончательную

негодность». Кольша срезал ветку дикой боярки, воткнул возле трубы, для памяти, и отправился домой. И, уже подходя к подворью и увидев на заревом разливе силуэт своей избы, которая горбатостью кровли вдруг напомнила ему всплывшую подлодку, он осенённо хлопнул себя по кепарю: «Ба-а! А где же перископ?» И сразу же само собой решилось, что из той поливальной секции он будет создавать перископ! Это же так ловко: оба фланца как будто затем только и приданы, чтобы к одному из них привинтить верхнюю зеркальную головку, а к другому – нижнюю светоприёмную камеру.

Идея властно озарила Кольшу прекрасным, чудодейственным свечением, он воспылал духом немедленного созидания, и потому, чувствуя это закипание внутри себя, которое уже нельзя было ничем погасить или отложить на завтра, он отыскал свою двухколёсную надворную колымажку, сегодня же, в сумерках, отправился за трубой, всю дорогу будоражившей его воображение отменной прямизной, девственной округлостью и лёгким, певучим звоном.

Легко сказать: перископ. Но труд над ним долог, а главное – кропотлив, или, как говаривал Кольша, копотлив, что, пожалуй, точнее. Первым делом к нему нужны зеркала, которыми, впрочем, Кольша удачно разжился, обнаружив их в кутыринском сельпо, каждое – с ученическую тетрадку, каковые, собственно, и нужны были. К ним – две установочные камеры, которые, само собой, на поле не валяются, и над ними ещё покумекать надо. Опять же – бандаж для устройства поворотного механизма. С этим делом надо топтать в кузницу... В общем, много чего... Когда же осталось только пробить крышу да вырезать дыру в потолке, тут-то и подала голос Катерина:

– Чего-о? Какую такую дыру?

– Перископ вставить... – пояснил Кольша.

– Это ещё что такое? На звёзды смотреть? Так у нас крыша – и без того звёзды видать.

– Ты, Катя, ошибаешься: то – телескоп, а у нас с тобой – перископ. Это совсем даже разные приборы.

– А мне всё едино: на дворе октябрь, люди топить начали, а ты – крышу дырывать.

– Дак я же опять заделаю!

Кольша усмехнулся непониманию жены и с этой усмешкой посмотрел туда-сюда, будто ища по углам избы вящей справедливости. И он снова попытался объяснить Катерине особенности своей конструкции:

– Вон на подводной лодке тоже перископ, в океане плавает, а не течёт. А у нас какая вода? Дожжок иной раз набежит, да и то не каждый день. А ты панику поднимаешь. Вот поставлю перископ и опять заделаю начисто, чтоб нигде ничего. Только не знаю, где лучше. Думал, на печи... Оно, конечно, с одной стороны, удобно: лежишь себе и поглядываешь, не шкоят ли зайцы на капусте. Но, с другой стороны, тебе на печь лазить несподручно... чтобы вместе глядеть-то...

– Чего выдумываешь...

– Дак и я сомневаюсь... Поди, лучшее место – в горнице, над круглым столом...

– Там иконы Божьи... Я ить думала, ты в сарайке. А ты, гляди-кась, в дом метишь.

– Так ведь в доме-то лучше! – досадовал Кольша. – Ну что хорошего в сарае? Темно, зябко, куры всполошатся, пыль подымут. А перископу пыль вредная. Там же оптика! Экая без понятия! Выгоды своей не видишь! Я ведь как лучше...

– И понимать неча.

– Ну как же, сидим с тобой за столом – тепло, светло, самоварчик пошумливает, чаёк пьём. И перископ – вот он, аккурат над самым столом. Хочешь – вправо поверни, хочешь – влево. Вся округа видна: кто куда поехал, кто куда пошёл... Кто с грибами, кто – с дровами... Егозката наша синяя, осенняя, вся в палом листе. А в небе – облака бегучей чередой, луг то застыл, то опять позолотят... Совсем как в песне: «Отговорила роща золота-а-я берёзовым весёлым языком. И журавли...» Эх, девка! А ты не пушаешь!

Кольша отвернул занавеску, припал лбом к стеклу и уставился в луга, в свою точку схода, в то место, где небо встречается с землёй и где, по его понятию, должна обитать истина.

Тяжба Кольши с Катериной за выход в небо разрешилась нежданно. Дня три спустя в избу серым бочонком вкатился весь налитой, округлый, пахнущий укропом участковый Сенька Хибот. Для начала он произнёс с нажимом слово «так», каковым начинают разговор обаполские да и всея Руси участковые милиционеры.

– Так... – Сенька обозрел кухню, её углы, рогачи и чапыги, потянул носом на известный предмет и только после этого произнёс без всякой заинтересованности: – Ну, показывай, что ты тут... Дошло до нас кое-что...

Кольша всё понял, молча напялил basketочку, телогрейку внапашку и повёл участкового во двор, где на двух стопках кирпичей, окрашенный в голубое, под цвет неба, сох уже подчистую смонтированный перископ.

– Так-так-так... – жёстко произнёс Сенька, будто передёрнул автоматный затвор. – Куда глядеть?

Кольша носком кеда указал на нижнюю камеру, в глубине которой по отражённым бликам угадывалось зеркало.

Сенька перевернул картуз кокардой на затылок, предубеждённо опустил ся на четвереньки и заглянул в квадратный проём нижнего отдела. От напряжённого смотрения Сенькины уши цветом уравнились с околышем. Оставаясь на четвереньках, он недоумённо повернулся к автору конструкции:

– Слушай, ни хрена не видно... Может, чем закрыто?

– Нет, всё нормально, – пояснил Кольша. – Просто он верхней камерой в лопухи глядит. А если поставит вертикально, то всё будет как надо...

– И где же ты намерен его поставить? – Сенька поднялся на ноги и отёр о штаны растопыренные пальцы: где-то всё же цапнул краску.

– А вот... – кивнул Кольша на конёк избы.

– Так-так... – опять «передёрнул затвор» участковый. – А ты знаешь, что перископ – дело секретное? Чтобы глазеть в него, нужно разрешение.

– Чего же тут секретного? – удивлённо свёл плечи Кольша. – Ить он ничего не увеличивает. А просто так... показывает как есть.

– Показывает-то он показывает... Да смотря что... Ссмотря куда направлять. Это, брат, такое дело, подсудное...

– Куда хочешь, туда и направляй, – оживился Кольша. – Там для этого специальные правила есть, две ручки. Хочешь, давай приподнимем... Я потом перекрашу.

– Да нет, с этим всё ясно... Всё ясненько... – Сенька Хибот спихнул фуражку на сочно разомлевший нос, похожий на шпикачку, и произнёс как-то резиново, с расстановкой: – Ну что, брат, будем делать? Сам разберёшь? Или мне отволочь эту штуку в опорный пункт? Если сам – то писать ничего не будем, никакого протокола. Вроде ничего и не было... А то ж мне тогда машину вызывать... Бензин тратить... А с бензином... Сам знаешь, уборочная... Ну как, разберём?

– Ну не знаю... Зачем же разбирать? – не согласился Кольша. – Ведь оно ещё не просохло.

– Ага. – Сенька, засунув руки в штаны, озабоченно встал над трубой. – Стало быть, не хочешь пачкать руки? Тогда сделаем так... Чтоб рук не марать...

И он неожиданно подпрыгнул и с возгласом «опля!» обеими подошвами ботинок и всем своим округлым бочковым весом обрушился на перископ, приподнятый над землёй кирпичными подставками. Труба без сопротивления легонько шпокнула и коснулась земли заострённым надломом.

– Попить ничего нету? – удовлетворённо спросил Сенька.

– А? – не расслышал Кольша, всё ещё не понимая, как это произошло.

4

С того дня как Сенька Хибот изломал последнюю Кольшину мечту, Кольша и сам как бы изломался: попритих, засел дома, принялся вязать носки-варежки на продажу. Катерина за свою жизнь так надоярилась, что её пальцы уже и не держали вязальных спиц.

За это время много воды утекло в Егозке, немалые перемены произошли и на её берегах. Во-первых, в Верхних Кутырьках переменялась власть: была твёрдая, с матерком, – пришла помягче, с ветерком. Как ветром выдуло амбары и склады, сено тоже куда-то унесло со скотного двора, из-за чего пришлось порезать скотину и распродать на обаполском базаре. Не устояли и сами коровники: сперва ночью, а потом и в открытую посдирали с них шифер, сбросили латвины, снимали с петель ворота. Колхозную контору тоже изрядно пощипали: не стало телевизора, радиолы, унесли председательский ковёр, на который в прежние времена не дай бог было попасть. Приглянулись кому-то и кабинетные стулья, из коих остался один – только для самого председателя акционерного товарищества Ивана Сазонтовича Засевайло...

Нынешней зимой из дюжины посадских труб сколько-то ещё дымилось, какая погуще, какая пожиже, остальные вовсе обездымели, так и торчали, обсыпанные снежком; молодые разъехались искать свою долю, ну а старые – известно куда...

Кольшина труба ноне тоже едва не пригасла: кончилось топливо. Раньше ведь как: ещё август, а уже везут из Обапола орешек или брикет для стариков по заведённому списку. А нынче – дудки... Новые власти куда-то задевали список, а в Обаполе сказывают, топливо разворовали чуть ли не с вагонных колёс. Резвые мужики, видя такое, принялись сечь ветлу на Егозке, оголять реку, редить лесополосы. Ну а Кольша, как же это он – топором да по живому дереву?.. Да никак! Не смог себя пересилить, всё ждал, может, список найдут...

Тщетно берегли прошлый запасец дров, тот без угля быстро упольхал. Пошла в распыл всякая окрестная хмызь, чернобыл с незапаханных межей, с опустелых подворий. Катерина почти ползимы вьючилась вязанками. А когда навалило снегу, так что в поле не ступить, Кольша разобрал плетень вокруг нижнего огорода. С ним и дотянули до Сороков, до первых проталин. Но до настоящего тепла ещё ого сколь печку топить!

Подумывали было горничную лавку спалить, паче теперь гостей ждать неоткуда, да негаданно выручила оказия.

По вечерним сумеркам мимо Кольшиной избы, трандыча и лязгая, волокся трактор. Дальний родственник – Посвистнев – вёз со станции только что

поступившие дрова: полные сани пилёных двухметровок! Кольша выскочил в чѐм был, замахал руками.

Посвистнев притормозил, открыл дверцу.

– Чего тебе?

– Слушай, Северьяныч, одолжи полешко!

– За каким делом? – не понял тот. – На черенок аль на топорище?

– Печь протопить. Сделай милость!

Неохота было Посвистневу вылезать из трактора, снаружи косо мело, секло по кабине, да и не с руки мешкать: хотел по свету добраться до своих Кутырок. Однако он молча спрыгнул на землю, заступил на санный полок, выпихнул из-под цепной связки самый верхний обледенелый кругляш.

Кольша почесал осыпанный замятью затылок: мало спросил... Дак оно как: просишь два пуда, а дают один. Брать-то выгоднее, чем давать.

– Дай ещё, а? – пересилил себя Кольша. – Чтоб на всю неделю потянуть. А я потом отквитаюсь.

– Не из чего давать, – как бы огрызнулся Посвистнев. – Ты теперь и на таганке сваришь, а мне ещё и в хлеву топить: телята пошли...

– Ну да ещё чурку – не убыток: вроде как по дороге обронил... – Озябший, в одной рубахе, Кольша мялся возле саней. – А я через неделю отдам... Тоже на станцию съезжу.

– Через неделю речка мосты зальёт...

Насупленно поизучав концы дровин на возу, Посвистнев обеими руками натужно вытолкнул растопыренную корьем, забитую снегом толстую берёзовую кряжину. Та грохнулась о льдистую твердь с глухим утробным гулом, и Посвистнев отбросил её с дороги. Охлопав ладони, он забрался в подрагивающую кабину.

– Вот как уважил! – закивал-закланялся босоголовый Кольша. – А то хочешь, у меня одна вещичка есть? Добро за добро!

Кольша, обрадованный, что вспомнил, кинулся к селям, но Посвистнев остановил его недовольно:

– Что за вещица-то? А то мне некогда...

– Дак сейчас покажу. Кугикалки!

– Ладно, балабол! На что они мне?

– Ну как же! Скоро праздники, с гор потоки... От неча зимой сделал. На двенадцать голосов! Воздуху совсем мало берут, а зато звучность – чистые лады. Иной раз гукну раз-другой – у Катерины глаза так затеплеют. Чую, будь ноги поздоровей, сию минуту б кругом пошла, как бывало в девках. Ты-то не помнишь, а я и доси не забыл.

– Да мне-то они зачем?

– Когда-нибудь да кугикнешь. Не всё ж работа да работа. А нет – детишкам отдашь...

– Мои детишки вместе со мной в четыре встают, некогда им дудеть...

А то вроде твоего – всё и прокугикаем...

– Ну тогда хоть так зайди, по-родственному. Чаю испей.

– Он у тебя холодный.

– Дак это я быстренько...

5

На другое утро, тихое и светлое, сам в добром настроении от вчерашней удачи, Кольша втащил обе дровины во двор, вынес две табуретки, перевернул их вверх ножками и, возложив на эти козелки малую двухметровку, кликнул

Катерину, чтобы шла пособлять пилу дёргать. Оно хоть и невелик кругляш, но поперечной пилой с крупными зубьями одному шмыгать неловко: пила начнёт кобениться, мотать порожней ручкой, извивами полотна клинить распил.

– Катерина-а! Где ты там? Выходи гостинец делить: две чурочки – направо, две – налево.

Катерина вышла на крыльцо, обтирая о ватник мокрые руки, ступила к козелкам, заняла позицию.

– Начали! – скомандовал Кольша.

Пила весело звенькнула, но тут же изогнулась и ёрзнула в сторону по сочной сосновой коре, оставляя косые задиры...

«А хоть и вдвоём, – думалось Кольше, – когда баба неумеха, тоже не разгонишься...»

– Да не дави ты на пилу! – направлял Катерину Кольша.

Туда-сюда, туда-сюда, вжик-скоргык, скоргык-вжик – вот тебе и поперхнулось дело.

– Не висни, не висни на пиле! Не препятствуй!

– А я и не препятствую, – отпиралась Катерина, часто взмаргивая.

– А что – я, что ли?

– Ну и не я.

– Ты пили, как дышишь. К себе – вдох, от себя – выдох.

– Я так не успеваю. Поди, пила такая никудышная.

– Пила-то кудышная... Да вот... вишь... сама заморилась... и меня... замаяла... Ладно, давай передохнём.

Стоят друг против друга, оба запыхались, округло зевали ртами. Кольша покосился на Катеринины руки: на пальцевых суставах безобразные шушляки – в кулак не согнуть. Не то что пилить – картошину очистить целая морока. А так глядеть – баба ещё хоть куда: кровь с молоком!

Тем временем вызревало погожее утро – не то что вчера, с его низким, нахмуренным небом, готовым в любой миг просыпаться жёсткой крупой. Солнца ещё не было, оно по-прежнему оставалось под туманным миткалём, но свету уже – полным-полно. И свечение это сочилось с приветной теплинкой, отчего всё вокруг было обласкано нежной молочной топлённостью: и травяные проталины в затишках, и всякая заборная тесина, и острецы сосулук по карнизам, уже набрякшие, словно коровьи соски, наполненные талицей, готовой вот-вот побежать дробной чередой капли.

Покрутили головами, порадовались благодати и принялись за берёзу. Та, непутёвая, сразу и воспротивилась, захрипела под зубьями закучерявленной берестой. Кольша сходил за топором, пообсёк вспухшее корьё, обстучал обушком ледышки.

И опять: вжик-скоргык, вжик-скоргык...

– Давай... не дури... матушка... – уговаривал Кольша колодину. – Пошла... пошла, любезная...

Наконец-то почувствовалась настоящая древесная твердь, струйкой выплеснулись белейшие опилки: Катерине – на резиновые сапоги, Кольше – на адидасовые подштанники. Запашисто повеяло деготьком.

Однако берёзовая плоть через сколько-то протяжек пилы внезапно закончилась, плотно пусто провалилось вовнутрь и тотчас заплевалось затхлою трухой пополам с ледяной кашей.

– Ну, Северьяныч, уважил! – обиженно откинулась Катерина. – Пустую дровину спихнул... А ты ему – кугикалки... Всю зиму ладил, звук подгонял...

– Ладно, не кори напрасно... Не взял он нашей музыки.

Из второго распила вместе с прелью и снегом посыпались ещё и какие-то чёрные барабашки. Все они были свёрнуты, а недвижные крючковатые лапки собраны пучком, тогда как телескопические усики прижимались к большим выпуклым глазам, похожим на пляжные очки. В тёмных стёклышках этих очков отражалось небо, а ещё промелькивал и сам Кольша.

– Катерина! – изумился он, протягивая жене ладошку с опилками. – Да ведь это же мураши-и! Глянь-кась! Ну чудеса!..

– Поди, пустые кожурки... – с опасливым неприятием отвела Кольшину руку Катерина. – Давай допилим, да я метлой замету, а то стирку затеяла: сколь накопилось.

– Погоди, погоди... успеется со стиркой... – озаботился своим Кольша. – А вдруг они только спят? Видишь, все лежат одинаково... Стало быть, сами так полегли. А во льдах оно всё долго хранится. Недавно мамонта откопали, а у него во рту ещё трава недоеденная...

6

Как ни противилась Катерина, как ни расставляла в дверях руки, не пуская Кольшу в святую горницу, тот, упорный, всё же настоял на своём: набрал в миску опилок, побрызгал водицей, разложил по окружности муравьёв, сверху обвязал марлей и весь этот инкубатор выставил на подоконник, на южную сторону, под солнечный обогрев.

– Ну вот! – наконец удовлетворился Кольша. – Будем наблюдать. Наука, поди, тоже не всё знает. Вот опять нашли каких-то голых индейцев. Огонь круглой палочкой добывают, живых пауков едят. Наверное, и ещё есть такие, но никто не знает. Сам Бог небось про них забыл, а может, никогда и не видел. А кто же станет доглядать муравьёв? Они же вон какие малопуленькие: наступил и пошёл дальше. А может, в нём тоже есть какие соображения? Чего-то он видит вокруг себя, что-то любит-не любит, чего-то чурается. Так что интересно понаблюдать, как и что...

– Неча задохленьки наблюдать, – противилась Катерина. – Ежли бы за то трудовеньки писали... Вот придёт тепло, тогда и наблюдай. Летом их полон двор бегаёт.

– Дак то здешние, а эти – из дальних мест. Может, таких ещё никто не видел. Охота узнать, что за порода. Вот бы высадить их в нашей местности!

Присутствие на подоконнике посуды с телами таинственных муравьёв-иноземцев будоражило Кольшу до самозабвения. Катерина уже знала, что теперь он за весь день не попросит есть и ни разу не взглянет на ходики, чтобы определиться в своём бытии. На его впалом лице, поросшем редким, по-иному чернявым очёсом, проступила та его возбуждённая улыбка с двойными складками на щеках, которая всякий раз появлялась и не сходила часами, когда он загорался внезапным интересом.

– Это сколь времени прошло, пока полено к нам на хутор попало! – размышлял вслух Кольша, прохаживаясь у окна. – Потому и сгнило, что небось долго в пачке лежало. У нас на Ветлуге, бывало, по два, по три года лесины не тронуты. В иные осень месяцами морось висела. Грибы чуть ли не на крыше растут. Как тут бревну не затрухляветь? Да потом ещё сплавом гонят. Подгнившая берёза первая идёт на дно. Но в дровяном плоту её вяжут в один пакет с другими породами, и держится она за чужой счёт. А сплав аж с Вохмы, потом в Ветлугу, а там и в Волгу. А Волга – вона велика!

Улучив момент, Катерина вошла в горницу с Кольшиними шапкой и телогрейкой.

- Сходи-ка поколи напиленное, печь запалим.
- Волга – это махина! По ней можно плыть аж до самых арбузов...
- Ладно, потом, потом, – не давала ходу Катерина, запихивая Кольшины руки в рукава. – День на убыль пошёл, а мы ещё не топили, не варили...
- Ага, ага... – соглашался Кольша, надевая свою старенькую кроличью шапку задом наперёд.

Печь долго не занималась сырыми дровами, Катерина торчком ставила свеженарубленные полешки вокруг вялого огня, понамутила дымом глаза, но в конце концов раззадорила пламя: печь, бабахая, будто патронами, лизнула рыжим языком забитое дымом устье, и вдруг высветилось изнутри, сразу воспламенившись всеми подсохшими дровяными концами.

Катерина замелькала рогами, выставляя к огню всё, что могло принять воду: чугуны, горшки, молочные крынки. Намочив для стирки носовое бельё, она по второму заходу накипятила воды для купания и мочалкой с азартом выскребла и выполоскала в большой ёмкой лохани смиренно притихшего Кольшу. И уже намытый, облегчённый, мокро приглаженный на висках, Кольша за кашей, а потом за весёлым самоваром с баранками и вареньем опять вспомнил о Волге, о своём молодом, про всё то, что всколыхнула в нём берёзовая колода, уже наполовину сгоревшая в голодной печи. Катерина слушала-не слушала уже не раз слышанное, терпеливо кивала и удивлялась: «Скажи ты!», «Это надо же!»

– Дак вот: «...Издавека долго течёт река Волга». К примеру сказать, до Астрахани плоты почти всё лето в гоне. Аж молодью позарастают. Сосновый, строевой плот – чистый. А дровяной – чем больше берёзы, тем зеленей. Шумит, полощется свежий березняк! Выше колен молодые побежки. Иной раз птахи на зелень залетают. Особенно славки: «у-тюрю, у-тюрю...» День плывёт, другой. И не понимает, что от отца-матери уже далеко. Тут же, в поросли, шалаш плотогонов. Или палатка. Но в палатке жарко, шалаш лучше. Рядом дымок курится, сетровой ухой пахнет. По Волге плыть да сетра не поймать – такого не бывает. А они на вечерней заре иной раз так разыграются, этакими чухами так повскидываются над водой, аж брызги на много сажень во все стороны. А то как-то сажу на крайнем бревне, ноги в реку свесил, тёплая струя подошвы щекочет. Тишина! Из буксирной трубы дым кверху, как из самовара... Вот тебе: как взбросится в двух шагах от плота, рот бубликом, все бляхи на боку видать, да ка-а-ак обдаст ливнем с головы до пят! Этак выпугает, баловник, аж от края навзничь отвалишься, ноги к бороде подберёшь... Я ить на сплаве дудки – кугиклы – научился делать. Инструмент завёл: резачки, коловоротцы. Летнее время долгое – сверлю да строгаю себе. А то змея запустим – летает, вертит хвостом. А ещё медвежонок с нами плавал. Мы его плясать под дудку научили, через голову кувыряться. Потом под Саратовом на встречную баржу за арбузы отдали. Нам ить всё равно скоро было плоты разбирать. Но вот что занятно: сколь ни плавали, всегда с нами на плотах муравьи. Бегают себе по брёвнам, как в своём лесу. Ведь где-то они гнездились, в каких-то пустых брёвнах? Стало быть, и зимовали в них, вроде наших...

Не сдюжила Катерина, слушая Кольшу, сронила себе на плечо и отпустила на волю слюнку...

Озабоченный и торжественно отрешённый, с этой своей улыбочкой предчувствия откровения, Кольша почти не покидал инкубатор: развязывал для

вентиляции марлечку, пальцем определял температуру и влажность подстилки, направлял на пострадавших увеличительное стёклышко... И утешался тем, что прошло ещё совсем мало времени, чтобы ждать какого-то результата. А перекоротав ещё одну ночь, чуть свет вскочил с запечного полка, примотал дровягу, по привычке выставил нули на счётчике и, не побудив Катерину, пожалев её в утреннем сне, утрежал из дому по хрусткой подмороженной дороге.

Воротился он при свете посадских окон, пропахший талой полевой землёй, захлёстанный бездорожьем. Катерина стащила с него взопревший резиновый сапог, а деревянную опору, скованную железным ободом, омыла в тазике. И осуждающе бросила:

– Тонул, что ли?

– Тонуть не тонул, но в одном месте свою берёзу едва выдернул.

– Что за лихо по такой-то грязище?

– В Кутырки ходил, в библиотеку. Спросить что-нибудь про наш случай. А Тоська как зареочет: «Про чего-чего-о?» Про муравьёв, говорю. «Нет, дядь Коль, ты серьёзно? Первый раз такое слышу. Или разводиться собрался?» Интерес, говорю, имею. Так ты постарайся. «Ой, Николай Кстиныч, даже и не знаю, где искать... Я по декретному была, так тут без меня всё перерыли. Люди копают, на место не кладут. Лучше прочитай про коневодство. Недавно получили. С картинками. Как запрягать, как самому телегу сделать. Сейчас на телегу спрос». Нет, говорю, Тося, мне про коневодство пока не надо. Ты мне про насекомых. «Ну, дядь Коль, тогда иди сам и копайся. Тебе для потехи, а я каждый день пылью дышу». Ну, полез я... А там книг – аж до потолка! До верха без лестницы не добраться. Да я туда и не осмелился. Только по низам посмотрел. То оглавление поглядишь, то какую страничку читаешь. Книжка – дело липучее. Да и не заметил, как день прополыхнул...

– Нашёл чего?

– Нашёл! – Извлёк из-за пазухи весело раскрашенную книжицу. – Глянь-кась какая. «Коленками назад» называется.

– Это про тебя, – усмехнулась Катерина. – Чего есть не просишь?

На ходу, причёсывая вихорцы, замывшиеся под зимней шапкой, Кольша, по своему обыкновению, робко, будто в гостях, прискондыбал к столу, где уже стояла тарелка с хлебом, прикрытая рушником. Голодно пощипывая хлеб из-под накидки, он принялся перелистывать книгу уважительно, сперва одним только пальцем, но вскоре уже объял обеими руками и, что-то там вычитывая, сам себе кивая, одобряя, соучастно вскидывал упавшую на лоб кудельку.

– Слушай, чего пишут! – восхищённо обратился он к Катерине, в самый раз подносившей тарелку паривших щей. – «Муравьиные постройки похожи на города с разумной планировкой, многоярусной этажностью, где всему и всем обозначено место. Система вентиляции такова, что, пока действует муравейник, ничто, ни единая хвоинка, не подвергается гнили, хотя на весь этот органический материал в условиях постоянной влажности неусыпно воздействуют бесчисленные гнилостные организмы». Чудеса! – Кольша восхищённо щёлкнул по книге россыпью ногтей. – Никаких тебе дипломов, никаких академий! Спросить: кто их этому научил? А, Кать? Вот кто?..

Катерина пожала плечами, потому что действительно не знала такого ответа, а потому привычно, как заведено, приподняла указательный палец к потолку.

– Ой, вряд ли! – восторженно не согласился Кольша. – Не станет Он говорить каждой козявке: ты носи щепочку сюда, а ты – туда, ты клади так, а ты так... Их же миллионы, каждого не научишь...

– Не знаю, не знаю, Коля. По мне – куча да куча. Ты ешь давай, весь день в печи держала.

– Я так думаю, – не слушал Кольша, – для такого артельного дела нужен один интерес. Чтоб у каждого с каждым совпадал. Тогда скопом до небес гору насыплешь... или своротишь...

Проснулась Катерина среди ночи, должно быть, от ощущения на веках излишнего света. И верно: предрассветно серело уличное окошко, а на столе жёлто теплилась переноска, приглушённая газеткой. И всё так же сидел над книгой Кольша, туда-сюда ероша и путая волосы на затылке. Заметив её шевеление, он тут же завоскличал:

– Ну да как же им гору-то до небес не насыпать?! У них всё по совести: никто не ленится, перекуров не делает, за другого не прячется, материалы налево не тащит. Каждый вкалывает от души, изо всех сил. Вот, Катерина, опять же: кто их этому научил? А тогда почему нас не научат?

Катерина поспешила накрыться одеялом.

Между тем на хуторском угоре установились погожие плюсовые дни. Хрустел и рушился последний лёд по закоулкам, слепили глаза взблески ликующих ручьёв, устремившихся с посадских дворов в объятия Егозки. Та, всех принимая, налилась закрайками, неразрешённо вспучилась серым ноздреватым льдом с долгой трещиной посредине.

С улицы в окне замелькала вся новая, оранжевая, яркая, как огонёк, крапивница, раз и другой припала к стеклу против муравьиной миски, как бы говоря: «Я уже вот она! А вы чего тянете? Живы ли? Пора, пора!..»

Появление бабочки подогрело Кольшино нетерпение, и он снова и снова брался за увеличительное стёклышко. А, как известно, страстное ожидание желаемого иногда лишает наблюдателя трезвого суждения, и он в конце концов перестаёт верить своим глазам. Был и у Кольши момент, когда однажды, после долгого и пристального вглядывания в это печальное поле павших лесных братьев, ему вдруг почудилось, будто у одного из муравьёв, лежащего рядом с крошечной берестинкой, вроде бы пошевелился усик. Взволнованный Кольша направил туда свой микроскоп, который тотчас подтвердил, что да, левый усик действительно приподнят над большим выпуклым глазом, будто муравей решил наконец взглянуть на здешний белый свет. «Погоди, – окоротил себя Кольша. – А если так и было?»

Сколько потом ни подступался Кольша к заподозренному мурашу, левый усик по-прежнему оставался приподнятым.

Чтобы как-то пробежало время, Кольша отправился во двор, поковырял лёд за погребницей, выпустил под забор застоявшуюся лужицу, а когда снова вернулся к своему реанимационному отделению, то со смущением убедился, что у того муравья, которого он назвал про себя Митяхой, левый усик снова был опущен, как и у всех остальных.

Кольша в раздумье потёр лоб и на всякий случай сходил в сарайку, снял с полки банку белой и острой спичкой нанёс белую метку на гузку запричищенного муравья. А утром, ещё до солнца, ещё без ноги, в одних трусах, допрыгал до подоконника и с замиранием принялся развязывать марлечку.

– Ты чего? – бдительно спросила с постели Катерина.

– Тут один, кажется, заморгал... – шёпотом сообщил Кольша.

– Может, показалось?

– Вчера днём левый усик был кверху, а вечером – книзу.

– Какой там усик? Какой усик? – Катерина решительно приподнялась на локте. – Где ты и разглядел?

– Вот стёклышко, погляди сама. Я того белилом пометил.

– Ой, парень! Надо мерить температуру. Ты, кажись, того... Вот и спать перестал...

– Да я только поглядеть...

– Шёл бы ты, Коля, на Егозку, проветрился бы... Мужики уже плавину всякую ловят, а у нас опять ни щепочки. Иди-иди, и мне руки развяжешь: днями Пасха, убираться надо, зимние рамы выставлять, окна мыть...

– А как же тут?

– Не бойся, у меня не разбегутся. Ну, подсунул Северьяныч мороки!

8

А на реке действительно было хорошо, привольно. По неузнаваемо широкой воде, празднично сверкавшей солнечной рябью, устремлённо проносились большие и малые льды, иногда скапливаясь в недолгом заторе, где что-то рушилось, стеклянно хрустело, вскидывалось тяжкими всплесками, и наконец льдины, разобравшись друг с другом, снова устремлялись в свой последний бег. Над тихим же заречьем, где в тепле и спокойствии отстоялась полая вода, чёрно-белыми отметками крыл объявляли о своём прилёте хлопотливые чибисы. А позади, за Кольшиной спиной, на весь околоток кричмя кричали ошалелые петухи, и Кольше казалось, будто его кочет Петруня, огонь с полымем, горланит так, что от него сыплются искры: того и гляди польхнёт весь просохший и обогретый хуторской посад.

– Экое благо! – шурился Кольша на колкий блеск затопленных лугов, неволью увязывая эту благодать с близкой – через два дня – Пасхой, совпадавшей с Егозкиным половодьем.

Он устроился с багром на небольшом мысу, ниже которого ходила кругами обширная суводь. Набравшие скорость тяжёлые льдины проносились дальше своим путём, но всё, что было полегче, захватывалось суводью и до поры кружилось между берегом и главной речной струёй. Кольше уже удалось кое-чего словить: пару заборных тесин, помятый тарный ящик и даже нечто похожее на погребной притвор с кованым кольцом на поперечине. Всё это добро он относил на бугорок и там раскладывал на просушку.

Подошёл, тоже с багром, хуторянин из третьей от Кольши избы, глуховатый дедуля по прозвищу Ась. Он тут же, ещё не сказав ни слова, скрутил «козу» и, раскуривая, принялся пыхать кизячным дымком махорки. Дым клочковато отлетал прочь, как бы чужой в остром весеннем воздухе.

На нём было всё велико: рукава на старинном, ещё сталинском, ватнике закатаны баранкой, резиновые бродни – тоже, чёрный суконный картуз упирался в оттопыренные, сухие, прожилковатые уши.

– Здорово, говорю! – наконец произнёс дедко и прибавил к сказанному своё привычное: – Ась?

– И ты здоров!

– Во, ядрень её не замай! Давеча собачья конура плыла. Не видал?

– А я думал – улей.

– Ась?

– Улей, говорю, – нажал на слова Кольша.

– Да не-э, конура: крыша на два ската. Железная! Цаплял-цаплял, да никак: багор короток. Надо б в воду ступить, да убоился: крыгой не сшибло б... Конура ха-арошя! Себе б впору... – Дедко кисло, с кашлем и дымом

хохотнул. – А чего, лишь бы голова в лаз прошла, ухами не зацепилась. А так – просторная. Ноги не спрямишь, а калачиком – за милу душу... – Дедко ещё раз посмеялся, поспел горлом. – Ну, а ты чего наловил?

– Да вот... дровишек...

– Тебе-то на кой? У тебя вон солнце прям на полатах! И муки, поди, на три кулича намолот... на своих мельницах? А я зимой глядел: дак дым из твоей трубы не всяк-то день. Думал, солнцем греешься.

– Моё солнце – оно не для этого...

– Ась?

– На нём портянки не сушат.

– А тади для чего? Для сугрева мыслей? Али знак веры какой? Прежде, сказывают, люди солнцу кланялись. Ты не из них ли?

– Не знаю, из каких, – дёрнул плечом Кольша. – Оно у меня – для зачину дня.

– Ага... Ага... – согласно закивал дедко. – Я ж и смекаю: для обогрева души. Душа – она ить завсегда к светлому тянется. Иной раз глонешь стакан – нет, не тот сугрев. На другой день под рубахой ишшо муторней... Дак и весь народ так хлещет, не поднявши головы... Вот чего ты придумал! Глядеть – дак вроде баловство. Ан теперь вижу – умно: не дать душе зазбнуть.

Дедко заморгал красноватыми веками с белёсыми тычками редких ресниц и на этот раз тоскливо, сиротски заглянул в Кольшины глаза:

– А можа, ты и мне солнце намалюешь?

– Это можно, – согласился Кольша. – У меня серебрянки ещё на два солнца осталось. Давай одно – с улицы, а другое – со двора. У тебя фронтон не дырявый?

– Ась?

– Ветер, говорю, по чердаку не гуляет?

– Не-э! Заборка шалёвчата, в паз уложена. Всё крепко. И голубым покрашено. Вроде как небо будет.

– Ладно, договорились, – пообещал Кольша. – После праздников зайду.

– Ага... Ага... – умиrotворился дедко. – Кто ж его знает... Краска – она ить на алюминиве, электричество должна пропускать. А кругом – магнитные силы. Глядишь, чего и притянет... Радикулит уймётся, али баба перестанет лаяться. У тебя, вишь, завсегда тихо. Иду мимо твоего двора – тихо, иду обратно – опять ничего, одни токмо ветряки бурундят. А ить Катька твоя натурная! Горазда и по загривку заехать... Ась? Не было такого?

Кольша смущённо пересунул шапку:

– Такого не было.

9

Тем часом Катерина готовилась к Святой неделе. Почувя волю и свободу рук, собралась за день побелить печь, веничком обмести потолок, выставить рамы, вымыть стёкла и уж после всего выскрести половицы и застелить всё новое: постель, скатерть, рушники на божницу, половички – от двери до лампы. Работы предстояло много, но доброе дело ради праздника придавало бодрости и стараний. Повязав косынку, она оглядела горницу, дабы определиться, с чего начинать, и наперво решила убрать от греха Кольшино заведение, которое в горячке работы можно нечаянно задеть и порушить. К тому же от миски начало бражно пахивать, и она в полной правоте и простодушии спровадила посудину в сени на свежий ветерок. Там, на лавке, она ещё раз перепроверила содержимое: всё оставалось, как было,

и она потуже затянула обвязку, чтобы в случае чего никто не смог совершить побега.

И право же, она совершила сей проступок отнюдь не нарочно, не с умыслом. Откуда же ей было знать, что в сени набредут вездесущие куры во главе со своим рыжим горлопаном Петруней?.. Наверняка это он первым обнаружил запрещённую поживу. Дверь в сени, разумеется, была открыта, потому как весна, теплынь, зачем же запирается от такой благодати? По правде сказать, Петруня тоже не собирался шkodить, он только хотел выяснить, дома ли хозяйка. Солнце уже за полдень, а она ещё ничего не вынесла поклевать. Забыла, что ли? А между тем ещё вчера прибежала в курятник и забрала в подол все до одного яйца – и за вчера, и за позавчера. Так несправедливо. Конечно, они с курами уже покопались за сараем, поразгребали навозца, пощипали ростков лебеда, изловили по одной-две мухи на заборе, но всё это – так, лёгкая разминка; а пора бы получить законную оплату твёрдой пшеничкой или хотя бы мятой картошкой, что, конечно, хуже: картошка плохо глотается и забивает дых.

Сбежавшиеся следом куры, не найдя в сенях ничего съестного, сразу же обратили внимание на посудину. Самые бойкие из них взлетели на лавку и, теснясь и толкаясь, принялись теревить обвязку и, разумеется, сронили миску на пол. Катерина даже слышала этот глухой звук, но, увлечённая хлопотами по дому, не придавала этому значения и не вышла в сени посмотреть, в чём там дело. А дело уже сводилось к тому, чтобы из разбросанных опилок выклевать недвижимых муравьёв, что и было исполнено в считанные мгновения. Обескураженной Катерине оставалось только собрать древесный мусор на лопату и отнести за сарай.

Вернувшийся с реки Кольша ещё от порога взглянул на пустой горничный подоконник и насторожённо спросил:

– А где же?..

– Ой, Коля! – подступилась к нему Катерина. – Чего я натворила!..

Она принялась каяться, заглядывая Кольше в глаза, как бы ища в них ту стрелку, которая измеряла бы степень его гнева.

Кольша молча зачерпнул кружкой воды, напился, так и не произнеся ни слова, вышел из дому.

Катерина слышала, как под окнами заповизгивали колёсики Кольшиной тараторки: стало быть, поехал собирать свой подсохший дровяной улов.

Вечером же, по его возвращении, выждав, когда он сядет за стол, Катерина распеленала марлевый ком и распластала его перед Кольшей: на белом поле редкого тканья, путаясь в мережке, одиноко и беспомощно копошился чёрный муравей с белой пометкой.

– Митяха! – изумился Кольша.

– Хотела марлечку постирать, гляжу, а он там запутался, – пояснила Катерина. – Только он и уцелел.

10

Под вечер Великой субботы заглянула соседка Муся – обширная и шумная женщина, как-то сразу наполнившая Кольшину избу бодрой теснотой. Она была одета по-дорожному: в голубую китайскую пуховку и весёлый светлый платочек, с ивовой плетёнкой на изгибе руки. С Катериной она договорилась идти в Кутырки на Великую литургию, а если хватит сил, то дожидаться крестного хода со всеобщим песнопением в трепете ночных свечей под многоголосье колоколов, а утром освятить куличи и кое-чего для

разговления. Муся любила эту необыкновенную сутолоку, заранее возбуждалась и даже тайком, ещё дома перед выходом, нарушая запреты, выпила стаканчик, отчего сделалась ещё общительнее и добрее.

– Слушай, а ты не забыла слова? – ещё у порога спросила она у Катерины. – А то ведь петь придётся. Ну-ка, как это... – И неожиданно высоко и сочно возгласила: – «...Ангелы поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить-и!»

– Я лучше помолчу, – сказала Катерина. – Боюсь, напугаю...

– А мы с тобой поближе к диакону. Наш Леонтий хорошо голосит, не даст запутаться.

Желая посмотреть, как прибрана горница, Муся отвела занавеску и увидела Кольшу. Он сидел за столом, перелистывая книгу. Накрахмаленная скатерть остро казала углы столешницы, посередине которой стояла майонезная баночка с каким-то весенним цветком внутри.

– Привет, сосед! – тоже подседа к столу Муся.

– Здравствуй, Мария.

– Всё почитываешь?

– Да вот, надо отдавать...

– А я и не помню, когда читала, – винясь, засмеялась Муся. – Дома ни клочка бумажки. Одни старые квитки. Раньше заставляли «Обапольского земледельца» выписывать, а теперь – ну его, не за чего... Вот телевизор гляжу, больше – про секс. Иной раз до петухов маюсь, а утром проснусь – весь низ болит... Последнее здоровье отнимают... Это ж небось нарочно делают.

– А ты не гляди...

– Да я пробовала, – смеялась над собой Муся. – Выключу, похожу-похожу, а сама думаю: ладно, догляжу... Хоть узнаю, как это у людей. А то живёшь в темени...

– Хватит тебе, перед Всенощной... – укорила Катерина. – Чаю налить, пока соберусь?

– А больше – ничего?

– Завтра приходи.

– А я б и сёдни... Отец Фёдор простит, кадилком отмахает.

Муся растегнула пухлянку, потрусилла кофточкой.

– А что это у тебя в майонезке? Гляди, муравель бегаёт!

– Да вот, изо льда вытаял...

Муся выложила пышный бюст на стол, приблизилась лицом к баночке, помолчала, понаблюдала чёрными томлёными глазами.

– И чего теперь?

– А ничего, нездешний.

– Скажи ты! Импортный?

– Бревно распилили, а они там, в снегу. Из дальних лесов.

– Разводить будешь?

– Его уже не разведёшь...

– А давай ему невесту споймаем! Скоро подсохнет – во все стороны побегут. Хоть чёрную, хоть рыжую... Гляди, как носится: туда-сюда, туда-сюда...

Муся отстранилась от стола и озорно оглянулась на Катерину, как бы приглашая её в сватьи.

– Таковую свадьбу отгрохаем! Я самогонки выгоню...

– У них бескрылых невест не берут, – возразил Кольша.

– Ух ты, какой разборчивый! – Муся утёрла ладонью насмешённые глаза и как-то уважительно уставилась на Митяку. Но тут же снова захохотала. –

А небось подсунь ему какую-нибудь, так он и без крыльев сграбастает! Все вы, мужики, одинаковые!

– А он и не мужик вовсе...

– А кто же? Монах, что ли?

– Он – рабочий.

– Дак чего – ему бабы не надо?

– Не надо.

– Просто на волю охота? По земле побегать? Вот пойдём с Катериной в Кутырки, давай по дороге и выпущу – в хорошем месте.

– И про волю он не думает. – Кольша закрыл книгу и провёл по ней узкой, сухой ладошкой. – Просто такое – иди, куда хочешь – ему не нужно. Один он всё равно пропадёт.

– Ну а тади чего ему? Чего мечется?

– Это он дела хочет, – пояснил Кольша, поглядев на снующего Митяху. – Мучается он без дела... Истратит всего себя на пустую беготню и начнёт затихать, гинуть от ненужности.

– Ой, правда! – согласно воспряла Муся. – Я, когда душа заскорбит, сразу кидаюсь стирать. И – отпускает!

– Это для всех закон.

– Тади насышь ему мусорку. Пусть трудится, щепочки таскает. Как на субботнике.

– Нет, так он не станет. Вот тут пишут: ему идея нужна. Общая задача. Ему надо видеть, что делают другие. Завтра отнесу в лесопосадку, поищу муравейник.

– А ежли сожрут? Он ить тут чужой, из других мест.

– Поищу одной породы. Те только обнюхают, ощупают, обмеряют... Чтoб всё совпало. А потом окропят своим духом и отправят на общие работы. И он сразу примется помогать изо всех сил.

– Надо же! – Муся сладко смежила веки и, взяв в руки баночку, принялась рассматривать на свет. – А у меня летом по избе бегают и того меньше. Во-о-от такусенькие! Ручки-ножки даже не разглядеть. А сахар – почём зря таскают! С полки – на подоконник, с подоконника – в дырку под рамой, и – привет! С улицы – порожняком, обратно – с сахаром. А сахариночка, поди, тяжелее его самого. Но – тужится, волочит, не присядет, не передохнёт. За день, ей-бо, полстакана утаскивают... Вот думаю я: как же это ловко устроено? В ней, в этой букашувелчке, небось и сердце есть, всё время тикает, и какая-то кровушка перетекает. Не сухой же он изнутри? Дак ведь и надо знать, куда тот сахар тащить? Дорогу помнить... Значит, и в головёнке у него не пусто? Как это так, Коля?

– Вот и я пытаюсь понять...

– А я думаю, этого понять нельзя... Может, ты добьёшься, а я – нет. Я лучше к отцу Феде: у него всё понятно, всё – из глины... Пойдём с нами, а?

– Не-э, я не пойду.

– Чего так?

– А ну его... Когда я рисовал солнце, он остановился перед домом, поглядел, как я маляю, и сказал: «Мимо Господа печёшься». И пошёл.

– А помнишь, как ты сверчка со склада принёс?

– Помню, как же...

– Как ты ножик об ножик тёр, заставлял его чирикать. А мы приходили слушать.

– Я его Тюрлей звал.

- Да, да, Тюрля. Бывало, ежли вечер лунный – как распоётся, растюрлюкается!
- Было, было... – покивал Кольша.
- Занятный ты мужик! – Муся привстала и, обхватив жаркими ручищами, потискала за плечи. – Катька, отдай-ка мне его! Годка на два – скоротать бабий зазимок. А, Кать?
- Сама и прогонишь... – отшутилась Катерина. – Он ить безденежный.
- Стало быть, бессребреник! Синяк под глазом мне набьёт!

11

Воскресный день Пасхи, как и Страстная неделя, вставал погоже и осиянно. Небо очистилось до самых невероятных глубин, в нём не было ни облачка, ни даже мгновенных росчерков стрижей, ещё не прилетевших, и всё пребывало в торжественном отрешении и благодати. Из-за полевого угора, тронутого хлебной зеленью, доносился перезвон в три разновеликих колокола. Порушенная колокольня долго молчала, и потому, наверное, неопытный звонарь иногда сбивался с беглого боя, зато эта его рьяная неровность и залихватое многоголосье придавали бодрящую праздничность всей округе, побуждая к единению и добру.

Катерина с Мусей ещё не вернулись с ночного бдения, хотя, по высокому солнцу, и пора бы: поди, на радостях забрели к тамошним знакомым, в чём не было ничего удивительного, поскольку в прежние годы бок о бок тащили лямку на бурачном поле, и на скотном дворе, и в сельповской очереди за пачечной вермишелью или постным маслом. В нынешней хуторской разобщённости прежнее товарищество особенно помнилось и ценилось.

Поскоблив щёки и надев ещё вчера приготовленную для него белую рубаху, веявшую праздной чистотой и уюткой, Кольша вышел за ворота и постоял там в одиночестве, иногда поглядывая на кутыркинский просёлок.

Река сильно сдала: грязно обнажились низы прежде залитых раки, просыпал чёрный кочкарник на заилённом лугу. Но зато здесь, на бугре, под ногами было зелено и чисто: ободрённая теплом, доверчиво шла в рост всяческая мурава, и было удивительно: когда только успели зацвести нежные, застенчивые хохлатки, манившие этой нежной лиловостью ещё полусонных шмелей.

А под каждым пеньком или забориной уже барыней гляделась молодая крапива.

Кольшины ветряки – одна лопасть красная, с фасадного конька, две голубые, со двора, – в этот лёгкий, безмятежный день окончательно угомонились и, будто усталые гонцы, обессиленно задремали, одинаково повернувшись в тёплую сторону, откуда последние дни навевал доброжелательный ветерок.

Катерина всё ещё не появлялась на дороге, и Кольша, возвратясь в дом, засобирался и сам: поверх новой рубахи надел привычную куртейку, перекинул через плечо холщовую торбочку, а в неё сложил окраек чёрного хлеба, головку лука и бывалую фляжку с колодезной водой.

– Ну, Митяха, пошли... – сказал он, взяв с подоконника баночку с муравьём, который всё ещё пытался одолеть стеклянную стену. – Пора тебе...

Кольша приоткрыл крышку, пустил внутрь свежего воздуха и, заперев снова, положил майонезу в карман куртки.

В поле он выбрал огородной стёжкой, ещё сыроватой и нехоженой, оставив на ней свой странный след – глубокие тычки через каждые полтора метра. Стороннему показалось бы, что здесь кто-то прошёл на высоких ходулях. Но сама полевая дорога, уходившая к лесополосе, уже просохла,

упираться в неё деревянной пятой стало легче и устойчивей, хотя она и возвышалась лёгким подъёмом.

Лесополоса из рослых берёз, перемеженных рябиной и кустовой акацией, простиралась на несколько километров. В дальнем её конце Кольша давно не был, но с хуторской стороны знал несколько муравейников, в один из которых он и собрался определить своего Митяшу. В эту пору внедриться в чужую муравьиную артель было нетрудно, поскольку муравьи-хозяева ещё не обрели бдительной активности. Облепив вершину гнездового конуса, они всего лишь сонно греются на вешнем солнышке.

С тихим торжеством, будто под свод храма, ступил Кольша под светлую сень полевых берёз. Заматеревшие берёзы, опираясь на чернокорые лапчатые кражи, стремительно возносились в синеву весёлой белизной стволов и там, в вышине, нежно пушились зелёной дымкой. Где-то самозабвенно, раскатно тербил сухую щепу дятел, и всё ещё не стихал перезвон колоколов, который здесь, среди этой праздничной белоствольной тишины, даже усиливался и медовел. А ещё в продольной глубине лесной полосы слышались неспешное дринканье гитары и весёлый, возбуждённый говор и хохоток.

Вскоре впереди, у берёзового края, засверкал никель чёрного мотоцикла, а чуть дальше несколько мопедов подпирали друг дружку рогами рулями. Тут же, под зонтом рябины, пять не то шесть парней-подростков полулёжа окружали расстеленный рушник, на котором ярко пестрели засахаренные маковки куличей, крашенные яйца, стеклянные банки с помидорами и огурцами. И над всей этой красотой высилась мрачная крутоплечая бутылка, похожая на монастырскую башню. Тут же, на берёзовом обрубке пощипывал гитарные струны парень постарше, уже опушённый чернявой от уха до уха бородой и с большой цыганской серьгой в левой ушной мочке.

Кольша хотел было стороной обойти пасхальную компанию, но его заметили, гитара умолкла, и навстречу вышли два пацана – оба непокрытые, по-весеннему, а может, по-пьяному встрёпанные, со свежими солнечными ожогами на курносых носах и подглазьях. Один из них был долговяз и черняв, другой – поплотней и попеньковей.

Подойдя к Кольше, поразглядывав его неприязненно, исподлобья – не оттого, что имел какие-то претензии, а просто потому, что изрядно охмелел, – чернявый, запинаясь, гуняво спросил:

– З-землемер, ш-шеф просит закурить...

– Нет, ребята, я некурящий, – ответил Кольша.

Пеньковатый обернулся и переотвечил гитаристу:

– Он некурящий! Нету у него.

– Наверное, врёт? – отозвался тот и, не оставляя гитары, не спеша, вразвалочку, шурша перезимовавшими листьями, направился к тем двоим. Остальные двое тоже потянулись за ним.

– Знаю я этих жлобов, – раздражённо ворчал гитарист. – У самого есть, а притворяется – нету.

– А ты чей будешь? – поинтересовался Кольша. – По голосу вроде Сняжков Павел. Давно тебя не видал, годов пять. Большой вырос!

– Ошибаешься, дядя!

– Не должен... Вот только борода... А голос – Пашкин...

– Ты, землемер, давай зубы не заговаривай, – огрызнулся гитарист, обдав Кольшу волной самогонной одышки. В его ошетиленной бороде как раз под губой взмелькивало огуречное семечко. – Тебя спрашивают: курево есть? Есть или нет?

– Нету... – развёл руками Кольша. – Зачем оно мне: я же некурящий.

– Найдём – хуже будет! – пригрозил гитарист. – А ну – проверьте!

Те двое – чернявый и посветлей – вяло, без интереса, озираясь по сторонам, с двух боков подошли к Кольше: чернявый снял торбочку и высыпал содержимое на землю; тем же временем пеньковатый запустил руку в боковой карман куртки и ухватил майонезку.

– А баночку не тронь! – рассердился Кольша. – Дай немедленно!

Он хотел было вырвать посудину, но гитарист, ухмыляясь, поднял баночку над головой.

– Пашка, отдай!

– У-тю, тю, тю... – высоко вертел баночкой гитарист.

Пытаясь дотянуться, Кольша загнулся, запутался деревягой в сухой прутьяной траве и, теряя равновесие, подался вперёд, обеими руками толкнул гитару, висевшую на груди Синяка. Раздался нечаянный басовый звон.

– А-а, ты струны рвать?! – понизив голос до шипения, выдохнул Синяк. – А ну, Пепа, сделай ему!

Пеньковатый малый вяло махнул возле Кольшиного уха белой кроссовкой, но промазал и, не устояв, плюхнулся на землю. Остальные пацаны захотали.

– Слабак! – подтвердил гитарист и повернулся к чернявому. – А ну, ты давай...

Чернявый, оглядывая Кольшу, примеряясь к нему, зашёл сзади и оттуда ударил Кольшу в висок.

– Ребята! – попросил Кольша, зажимая ладонью зазвеневшее ухо. – Крышку хоть откройте... Пропадёт ведь...

– Обойдётся! – усмехнулся Синяк и зашвырнул майонезку в глубину лесопосадки.

– Зачем же?..

Кольша невольно потянулся за ней руками, но тут же из-под рыжего брюха гитары встречно выметнулся осыпанный песком и листьями резиновый бот и тяжко, тупо, будто кувалдой, саданул ему в грудь, в белую пасхальную рубаху...

– Уметь надо, козлы! – торжествующе крикнул Синяк, оглядывая при молкших пацанов.

Кольша немощно опрокинулся навзничь, раскинув руки крестом. На него посыпались ободрённые пинки остальной ещё неумелой стаи...

«Какое чистое небо!» – теряя сознание, успел удивиться Кольша.

* * *

На другое утро, туманное, жёсткое от ночной прохлады, Катерина нашла его в лесопосадке застрявшим в цепких кустах акаций; наверное, он потерял направление и полз вовсе не к дому, а куда-то не туда...

Руки его были в вязкой лесной грязи. Но на изодранном, кровоточащем виске ещё билась подкожная жилка...



**Андрей
НОВИКОВ**

ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД

НОЙ

Земля молода, в ней упрямая нега,
Теплы небеса и манят пеленой,
Зачем же кедровое тело ковчега
Поставил на брег недоверчивый Ной?
С утра облачился в льняную рубаху,
Денёк безмятежный на все времена,
Умыты росой библейские страхи,
Пророки вздремнули, хлебнувши вина.
Смеётся над ним молодая природа,
Бросает к ногам изобилье плодов,
И воины гордо идут из похода,
Ведут на верёвках коров и рабов.
Купцы суетятся в торговом угаре,
Артельщики строят из камня дома.
А он всё твердит: «Каждой твари по паре», –
И всё собирает в мешки семена.

ЗАПАХ МИРА

Светится зелёная ограда,
Тени расплзаются шутя.
Розовыми пятками по саду
Мнёт растенья малое дитя.

Изнывая в первозданном зное,
Ощущают приступ духоты
Брошенные в марево земное
Синие и красные цветы.

-
- Андрей Вячеславович Новиков родился в 1961 году в с. Алабузино Бежецкого района Тверской области. Первая публикация состоялась в журнале «Подъём» в 1984 году. Стихи публиковались в газетах: «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Слово», «Литературный Крым»; в журналах «Студенческий меридиан», «Литературная учёба», «Дружба», «Сибирские огни», «Сура», «Симбирскъ», «Южное сияние», «Крым», «Литературная Киргизия», «Петровский мост», «Зинзивер», «Российский колокол», «Подъём», «Метаморфозы»; в альманахах: «Паровозъ», «Истоки», «Поэзия», «День поэзии», «Академия поэзии», «Московский Парнас», «Тверской бульвар, 25». Автор пяти книг.

Наблюдай за малышом и робко
Ощущай библейскую тщету,
Леденцов душистую коробку,
Запах мира, сада красоту.

ДОЛ

Швыряет полдень на весы небес где гром, а где прохладу.
Пастух, бегущий от грозы, застывшее у речки стадо.
Огонь и хлябь – благая весть, покуда в напряженье полном
Поток готов в запруду сесть перед раздвоенностью молний.
Они родят лиловый дым, по полю он ползёт украдкой.
Куря и смешиваясь с ним, пастух дрожит под плащ-палаткой.
Осмысливая страх и вздор, пугливость вымокших животных,
Достал он красный помидор, лоб утерев ладонью потной.
И дух отчаянно хмельной среди пернатых и растений.
Качают головой больной кусты в стеклянном оперенье.
И дол в затишье на испуг явился, первозданно скроен,
Как будто делом наших рук освоен и благоустроен.

БЕССОННИЦА

Пока не спится человеку в доме,
Распахнутое в ночь глядит окно,
Где город на неоновой ладони
Уж не шумит машинами давно.
Бессонницы уклад бывает сладок
И горек, он на кухне приумолк.
В нём есть неохраняемый порядок
И любопытства непрощённый долг.
Прямее время обнажает грани
Смятенья или вольной пустоты,
И движущие вереницы зданий,
И в памяти застывшие мосты.
Мы школ ночных таинственные дети,
Свой вдох и выдох примеряем зря
Над жертвенником нового столетья,
Где под асфальт закатана земля.
Тогда как в непокой другого рода,
С небес направив искристый поток,
До сердцевины бытия природа
Несёт любви и вольности глоток.

ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД

Когда зима поднимет ворот,
Из индевеющих вершин
Встаёт с утра запретный город,
Являясь множеством личин.
В бетонных трубах предо мною,
Где зарево стоит в дымах

Не за китайскою стеною,
 А по соседству и впотьмах.
 Его я плохо понимаю,
 Но будет так на все века:
 Река во льду глухонемая
 С фигуркой дальней рыбака.
 Так почему чредой полосной
 Цехов искристые венцы
 Похожи в смыслах переносных
 На поднебесные дворцы?
 ...Рабочий день толпу не нежит,
 Трамвай устало дребезжит,
 И наледь, как лиловый стержень,
 Узорно стёкла освежит.

СЛУЧАЙНОЕ РОДСТВО

Поправь очки со сломанною дужкой: расцвёл цикорий, синева зовёт,
 Из подворотни пахнет свежей стружкой, там кто-то курит, плачет и поёт.
 В тумане зябком отсырели кровли, не разберу ни слова, хоть убей!
 Взаимное доверье лечат болью, в бессилье оправдаться перед ней.
 Тревожат душу у кирпичной кладки простывший день и краденый арбуз –
 Догадываюсь: режут правду-матку, и нож достанут что козырный туз.
 А дальше будет курица от плахи бежать недолго и без головы.
 Бродяжий дух, напомнивший о страхе, не вразумит хозяина, уввы.
 Цепочку пищевую понимая, кунжутным маслом пенится казан,
 Событий и поступков связь прямая навязчиво бросается в глаза.
 Но в этом мире, созданном искусно – а дьяволу и в этом повезло, –
 Причастности мистическое чувство обманывает весело и зло.
 Пронзительны родные захолустья, оправданное жизни естество.
 Прими же с горькой, просветлённой грустью неясное, случайное родство.
 Ещё в руках бутылка с тёплым пивом, и далеко оливковое дно,
 Банально всё окончится – обрывом, а в нём и есть спасение одно.

КАЛЛИГРАФИЯ

Непостоянство кружит голову,
 Дождём с утра укрыв края.
 Вода мерцает в лужах оловом,
 Вернувшись на круги своя.

Как в чёрно-белой фотографии,
 Контраст необходимо чист.
 И мокрой шиной каллиграфию
 Оставил велосипедист.

БУБЕНЧИК

В жажде жизни, в её круговерти
Перемешаны правда и ложь,
Много скучного в опыте смерти,
Не тождественно правилам... Что ж?
Безутешно одетый дух речи
Удивлял повседневности бровь,
И за ближнего страх недалече
Был на жалость похож и любовь.
Но размажь эту смесь мастихином,
Не жалея ни кармин, ни белил,
Ремесла полновесным цехином
Ты давно и за всё заплатил!
Небо крыл непечатною жестью,
Жадно ел пирожки с требухой,
Исходивший глухие предместья –
Молодой, бесшабашный, бухой.
Муки вечные щедрой пригоршней
Собирал и прощенья просил...
Потому и в груди скомороший
Вместо сердца бубенчик носил.



**Сергей САМОЙЛОВ,
Виолетта ДРАЧЕВА**

ИЗ «БЕЛОВОДСКИХ РАССКАЗОВ»

*Посвящается нашим первым
читателям и вдохновителям
Роману Аникину и Анастасии Некрасовой*

ВОЙНА

Кимка Хиппи жила в небольшом городе Северске-на-Тамани и терпеть не могла, когда к ней обращались «Хиппи». Свою кличку она получила уже после начала всей этой истории за то, что однажды для всей компании, переживавшей похмельный синдром, накланчила у прохожих сигарет. «Да ты как хиппи», – буркнул один из парней, с недоверием ощупывавший появившуюся из пустоты сигарету. В её компании хиппи – хотя их никто в глаза не видел – стойко ассоциировались с мокрицами и попрошайками, поэтому Кимка обиделась. С тех пор она зарубила себе на носу, что, прежде чем делать людям добро, нужно трижды подумать.

Никто из жителей Кимкиного городка толком не знал, почему он так назывался – то ли по отношению к краевой столице (но стоял он от неё скорее к западу, чем к северу), то ли в честь славянского племени северян, до этих мест, впрочем, никогда не доходившего. Единственное, что жителям городка было известно, так это то, что такой город уже был. По степным меркам и не так далеко, каких-нибудь полтысячи километров, где-то в Украине находился город Северск. И, наверное, чтобы никакой путаницы не происходило, городок назвали Северск-на-Тамани, в честь реки, на которой он стоял. Но и здесь не всё было просто: таманский Северск возник раньше украинского. Так что смысл названия города оставался для его жителей непрояснённым. Поэтому появилась получившая среди местных жителей большое распространение шутка, что название «Северск» происходит от Северного рынка. Последний прославился тем, что в своё время

-
- Сергей Фёдорович Самойлов родился в 1975 году в г. Лабинске Краснодарского края. Окончил в 1998 г. КубГУ по специальности «Философ, преподаватель философии». Начальник кафедры философии и социологии Краснодарского университета МВД России, подполковник полиции, доктор философских наук, профессор.
 - Виолетта Игоревна Драчева родилась в 1996 году в Волгограде. Слушатель 5-го курса КрУ МВД России, эксперт-криминалист, младший лейтенант полиции.

был самым большим в Советском Союзе местом продажи шкур и меховых изделий, как позже выяснилось, весьма невысокого качества.

Как бы то ни было, место, в котором находился город, назвать землёй обетованной было трудно. Летом окружающая Северск степь раскалялась настолько, что Кимке, бредущей полквартала за булкой свежего хлеба к обеду, казалось, что она идёт не по земле, а по раскалённой крышке адского котла. Как правило, ступая по плавящемуся от жары асфальту, она смотрела себе под ноги. Поднять голову и увидеть всю красоту сочетания ярко-зелёных верхушек рассаженных вдоль домов деревьев и синего безоблачного неба не представлялось возможным. Всё пространство от земли до белого, теряющего очертания небесного круга было наполнено жёлтым огнём. Это был уже не солнечный свет, а именно огонь, грозящий выжечь кожу, испечь мышцы, обуглить кости. Этот огонь наполнял нездоровым блеском небо, крыши и стены домов, листву деревьев, увидеть его означало обречь глаза на немедленную смерть.

И это был ещё город, а что делалось с людьми, находящимися в степи, Кимке было страшно даже подумать. Там к терзающим человеческую плоть демонам всепожирающего огня и раскалённой земли добавлялись ещё два. Первый из них был демон остановившегося воздуха, направлявшего остатки своего полного жара дыхания в поры кожи. Его дыхание представляло собой подобие удара горячей жижи, которая облепляла любой не прикрытый одеждой участок тела. Да и прикрытой тканью коже тоже приходилось несладко. Вторым демоном, как ни странно, был демон воды, вернее, мёртвой воды. Казалось, высохшая до последней капли влага мутировала и собралась в какую-то неведомую по силе волну, сворачивающую пространство в рулон, как сворачивают древнюю, сделанную в виде свитка книгу, разрывая связь человека с реальностью, она отдавала его тело в полную власть испепеляющего огня.

Но и этого было мало. Ближе к осени, когда поля пустыли, а зной, казалось, спадал, в степи происходило нечто вполне сопоставимое с бесовской пляской. Словно соревнуясь с оторвавшимся от своего источника и превратившимся в адский жар солнечным светом, степной ветер отрывался от неба, прижимался к земле и начинал безумный круговой танец. И от этого танца мерк свет, вода становилась грязной, а степь теряла плодородную силу. Года за два до начала этого, последнего в её детстве лета Кимке довелось видеть, как небо стало внезапно темнеть, но на нижних рамах её окон вместо долгожданной влаги стал появляться песок. Сообразив, что здесь дело нечисто, она быстро обежала вокруг дома, захлопнула форточки, закрыла почти все ставни и, уже сидя в полумраке прихожей, одно окно которой она прикрыла наполовину, стала обзванивать знакомых, пытаясь выяснить, что происходит. Не прошло и десяти минут, как одноклассники и знакомые, живущие на краю города, стали присылать ей фотки и видео того, что происходило в это время в степи. Больше всего её впечатлило видео из проезжавшей недалеко от города машины: огромная песчаная стена, состоящая из больших, тесно прижатых друг к другу волн, медленно двигалась вперёд, навстречу бесстрашно едущим автомобилям. Кимке стало жутко от этой картины. Будь на месте водителя, даже зная, что с ней ничего не случится, она бы всё равно развернулась назад.

Тем не менее эта знойная и пыльная степь называлась Беловодской, а в честь неё и административный район, в котором она жила, назывался Беловодским краем. Если зимой, поздней осенью и особенно весной слово «Беловодье» в этих местах воспринималось нормально, то в летнюю пору весь Северск, да и жители всех остальных городов и районов могли только дога-

диваться, в связи с чем первым русским поселенцам вздумалось так назвать эту геенну. Официально считалось, что название пошло от протекавшей по степи реки Тамани. Объяснялось это тем, что обитавшее по её течению черкесское племя чепсинов называло эту реку Белой. Но Кимку такое объяснение не удовлетворяло. «Да какая она белая?! – говорила она про себя, глядя на медленно расходящуюся кругами зеленоватую воду Тамани. – Нет, здесь что-то не так». И поэтому однажды на перемене она поделилась своими сомнениями с учителем литературы, которому из-за нехватки кадров приходилось быть и школьным историком.

«Честно говоря, не знаю», – неуверенно ответил тот. Ему было неудобно быть неосведомлённым в таком простом и вместе с тем важном вопросе краевой истории, и после одного случая он старался не ударить перед Кимкой в грязь лицом: «Думаю, что так это место назвали первые поселенцы-старообрядцы, бежавшие от Никоновских реформ. Им нужна была земля без несправедливого царя и нечестивого патриарха, земной рай – Беловодье. Легенды о существовании такой земли на берегу моря или вообще на островах были тогда очень популярны. Вот в поисках этой земли они бежали куда глаза глядят, а потом, поняв, что бежать-то некуда, осели в этих местах, да так их и назвали, как будто нашли землю обетованную. Правда, вольница их длилась недолго, уже лет через двадцать земли эти отошли к России, и им пришлось бежать дальше. Так что название нашего края, по-моему, не только географическое понятие, а нечто значительно большее, оно... – здесь он немного помедлил, подбирая слова (Кимке вообще показалось, что он сейчас закатит глаза и прочтёт какое-нибудь стихотворение) – выражение пусть и недолговечной, но всё-таки воплощённой мечты, прибежище тех, кого унесёт ветром истории...»

«Это он, наверное, Митчелл обчитался», – промелькнуло в Кимкиной голове, когда она услышала последнюю фразу, и надо признать, что эта мысль имела свои основания. На уроках учитель всем без разбору рекомендовал читать «Унесённых ветром». «Нечего сказать – хорошее прибежище», – продолжала зло думать она, ей явно не нравился ни этот край, ни свой затерявшийся в степи пыльный провинциальный городишко. Учителю она не поверила, поскольку от старообрядцев в округе никакого следа не осталось. Как пришли, так и ушли, так же, как до них здесь бродили скифы, хазары, печенеги, половцы, монголы, татары, белые, красные – да всех и не упомнишь. С таким же успехом название могло бы быть унаследовано и от них. Для того чтобы название могло зацепиться за эту бесконечную, продуваемую всеми ветрами гладь, должны были быть какие-нибудь поселения, стойбища, могильники, курганы, на крайний случай – каменные бабы, но ничего такого, что могло бы одним людям напоминать о жизни в этих краях других людей, не было – одна бесконечная распаханная степь.

«Нет, место здесь ни при чём, да и фольклор тоже, – думала Кимка, – тут всё дело в человеке, а вернее, в жажде. И неважно, кто ты по национальности и в какую эпоху здесь живёшь. Когда бредёшь по степи неделями, экономимьш каждую каплю воды и вдруг видишь реку, какая бы она ни была, главное – чтобы не мираж, то в честь этого события, спасшего тебе жизнь, ты это место и назовёшь. И при этом неважно, когда и с кем это происходит. Из века в век одна и та же песня. Пить захочешь, что угодно обоготворишь, а само по себе место – дрянь, а время в нём – тоска в чистом виде. Надо же было такое брякнуть: рай земной, – думала она о словах учителя, – не до жиру, быть бы живу, хорошо, что хоть через каждые две сотни вёрст речки попадают, а не то вообще чистый ад был бы».

И действительно, летом беловодская степь напоминала геенну огненную, в которой, казалось, нет спасения ничему живому, а рождение в этих местах выглядело наказанием Божиим, неизвестно за какую вину. Но постепенно Кимка поняла, что вся эта несусветная жара частично была рукотворной. Из рассказов бабушки она узнала, что в её молодости, хотя солнце и светило с той же силой, а степь была такой же гладкой, но дышалось всё-таки легче, осени и зимы были холоднее. Всю же вину за установление в крае адской жары она возлагала на огромное, созданное для орошения полей водохранилище. Сооружённое в нескольких километрах от столицы края, оно вызывало у жителей ощущение, что в любой день их город может превратиться в сказочный Град Китеж. Сначала Кимка воспринимала эти рассказы как старушечье брюзжание, но постепенно она поняла, что так думает не одна её бабушка.

Дорога из Северска в Беловодск, по которой она часто ездила с отцом на машине, оставляла это чудо инженерной мысли недоступным взору. Только однажды, заезжая в город с другой стороны, она увидела его и поняла, почему в народе за ним закрепилось название Беловодского моря. Пронсясь на машине, она видела только его краешек, но даже этих мгновений было достаточно, чтобы понять, что вода может быть не только благом, но и злом. Её взору открылась огромная чаша высоких бетонных стен, внутри которых постоянно колыхались воды.

Больше всего её удивило не то, что эта огромная масса воды доходила почти до краёв бетонных заграждений, а сами бетонные стены возвышались над землёй, казалось, ещё чуть-чуть, и вода хватит через край и смочит беспечных людишек, позволивших себе шутить с ней. Нет, её поразило другое: бессмысленность колыхания воды – это была не гладь пруда, и не медленно расходящиеся круги на реке, и не упорно стремящиеся к берегу морские волны. Да, это были волны, но в них не было никакого строя, направления, красоты, в них не было логики движения. Казалось, они сами не знали, чего хотели: покоя, самореализации, героической гибели. Это было бессмысленное, а потому страшное движение. Это была буря в стакане воды, чистая, никому не нужная истерика, вызванная тем, что двое, человек и вода, хотели что-то друг другу доказать, а в результате оба спорщика могли оказаться у разбитого корыта: вода с неспособностью родить что-либо живое и человек с виной саморазрушения, с грехом самоубийства.

И вот эта загнанная в ловушку, озлобленная стихия, так же, как и обезумевшее степное солнце, потеряв надежду получить признание и принести пользу целому миру, создала свой мирок, своё место силы, свою страну просветления, свой искорёженный обидой и гордыней рай. И в этом мире поселились пленённые солдаты вражеских стихий, потерявшие свою природу и ради призрачного существования, а по сути, ради растянувшейся во времени смерти ставшие слугами взбунтовавшейся против человека и природы воды. Это были пары воздуха, поднимающиеся над искусственным морем и делающие зной удушливым, болотистые земли, обрушающие фундаменты домов и делающие почву бесплодной, оторвавшийся от своего источника и превратившийся в испепеляющий жар солнечный свет.

Подчинённые единой оскорблённой и злой воле искусственного моря, эти солдаты взбунтовавшейся воды медленно, но верно двигались вперёд, год за годом, отвоёвывая всё новые куски степного пространства, отравляя воздух, раскаляя солнечный свет. Но, достигнув в своей борьбе с человеком и другими стихиями несомненных успехов, ощутив абсолютную власть и создав собственный мир, содержимое Беловодского моря, не желая того, превратилось

во что-то совершенно иное, чем оно было ранее, оно не перестало быть жидкостью, оно больше не являлось водой в подлинном смысле этого слова.

Но, вопреки всей этой, временами скрытой, временами явной борьбе человека с природой и стихий друг с другом, степь продолжала жить своей жизнью. Как вода обтекает и сглаживает острые углы камней, так и она с лёгкостью и равнодушием вмещала и несла на себе все и вся, включая жёлто-синее небо, накрывавшее её огромным куполом. Несмотря ни на какие войны, она оставалась ровной и бесконечной. Время от времени, выезжая с родителями или родственниками в Беловодск, Кимка часами наблюдала из окна автомобиля или автобуса за мелькающими полями. Появляющиеся через большие промежутки времени посёлки, станицы и городки вызывали в её укаченном долгой дорогой мозгу удивление. Само существование домов казалось ей чем-то противоестественным. «Стойбище кочевников – вот нормальная форма жилья здесь, а не город», – зло думала она.

Надо сказать, что Кимка злилась зря, поскольку сама она жила практически в юрте. Дело заключалось в том, что традиционным жилищем для этих мест, упорно не уступающим место кирпичным постройкам, был мазаный чепсинский турлучный дом. По сути, это был деревянный каркас, обмазанный смесью глины и рубленой соломы, так что беловодские дома отличались от юрт только статичностью и обмоткой. Но обвинять Кимку в неспособности проникать в суть вещей было бы не совсем справедливо.

Беловодские саманные и турлучные дома были и большими, и маленькими, и квадратными, и прямоугольными, в некоторых случаях напоминающими по конфигурации половину кириллического алфавита. И были они покрашены – какой в белый, какой в зелёный, а какой и в голубой цвет. Более того, многие из них хозяева обложили плиткой, белым, красным или так называемым итальянским кирпичом. Так что проникнуть в суть этих разнообразных и внешне основательных строений и понять их преходящий, как и всё степное, характер было сложно даже умудрённому опытом человеку, а не то что шестнадцатилетней девочке. И вот эта скрытая, степная, наследованная от чепсинов, смешанная с ветром и землёю суть северских, да и всех беловодских домов приводила к тому, что ничего исторического, связующего хотя бы одно столетие с другим, за редкими исключениями, в этом краю не было. Восстав из земли и простояв какое-то время на ветру и солнце, эти дома возвращались в ту стихию, из которой возникли. И некая внешняя облицовка предотвратить этот процесс не могла.

Появление этих пасынков земли не было случайным, поскольку они и только они до появления кондиционеров создавали в этом раскалённом аду крошечные островки прохлады. Ни дерево, ни кирпич, ни шлакоблок сделать этого не могли. И Кимка, как и тысячи других детей и подростков Беловодского края, спасалась от раскалённого жёлто-голубого неба за этими прохладными, выросшими из самой степи стенами. Сидя всё лето за ними, она не могла не задаваться вопросом о природе их спасительной силы. Вопрос этот с особенной остротой возникал после ночёвок в кирпичных домах родственников. Разница в ощущениях была разительной – вместе с роднёй она полночи сидела на порогах их домов, поскольку о сне в кирпичной парилке не могло быть и речи. Немудрено, что, возвращаясь домой, Кимка невольно испытывала искреннюю любовь к родным прохладным стенам. А когда ей на глаза попадалась стройка саманных домов, что случалось всё реже и реже, то она всегда останавливалась и смотрела на принятие смешанной с глиной водой, заманенным в эту смесь огнём и заключенным в соломе воздухом верховенства земли. Именно оно и давало всем жителям глинобитных жилищ вожденную прохладу.

Даруя её, делая возможным нормальным труд и отдых, саманные и турлучные стены не могли штурмовать небо, они по понятным причинам не лезли ввысь, а потому растягивали Кимкин городок, как и другие города края, по горизонтали. По этой причине Северск-на-Тамани, как и другие города края, был, по большому счёту, одноэтажным, с небольшими вкраплениями кирпичных и блочных пятиэтажек. Исключение из городов края составляла только столица – Беловодск, в которой в море частного сектора и пятиэтажек попадались островки пяти-, девяти- и даже шестнадцатиэтажек.

Люди, живущие в северских, прижатых к земле небесным огнём домах, по мере сил и возможностей занимались земными делами: работали на маленьких заводах, служили в различных госучреждениях, копались в огородах. Время от времени степной ветер заносил в Северск ту или иную бизнес-идею. То все жители, как один, ударялись выращивать в специально заросших сорняком огородах, чтобы их не выжгло солнце, огромные помидоры, то, бросив помидоры, разводили на продажу луковки тюльпанов, то разводили нутрию, то, осознав дешевизну её меха, переходили на норку и фредку. Одним словом, нельзя сказать, что жизнь на раскалённой степной земле под пальцами лучами солнца была однообразна. Нет, по-своему она была бурной, и для некоторых смотревших на свой дом как на центр вселенной, даже интересной, но надо признать, что Кимка к числу таких людей не относилась. От одной мысли о том, что ей, может быть, придётся подчинить всю свою жизнь реализации какой-нибудь такой идеи, ей хотелось взвыть волком. Нет, назвать её ленивой было бы верхом несправедливости – она честно трудилась по дому, а летом на каникулах, когда круговорот школьных забот, как по мановению волшебной палочки, внезапно исчезал, ритм домашних забот подчинял почти всё её время, Кимка искренне радовалась такой перемене.

ЗВЕРИ

Принципиально не закрывая на ночь ставни своей комнаты, Кимка вставала в шестом часу, с первыми лучами восходящего солнца, в которых ещё не было и намёка на предстоящее пекло. Она открывала заднюю дверь дома, ведущую на хозяйственный двор, и, улыбаясь, смотрела на радостно подпрыгивающего цепного пса Жука, выделывавшего для неё такие трюки, что не оставалось ничего другого, как вернуться обратно, стянуть какой-нибудь слишком шикарной для дворовой собаки еды из холодильника и тем самым заработать себе спокойный проход к огороду, которым нужно было заняться в первую очередь. Вообще, вид Жука, сидящего на залитом бетоном дворе, вызывал у неё жалость, это было какое-то издевательство над животным. Куда более естественно он смотрелся осенью, когда можно было бегать по опустевшему огороду. Небольшой, приземистый, чёрно-рыжий, он, казалось, был выброшен из земли каким-то извержением. С сумасшедшей скоростью наворачивая круги на земле, он словно набирался из неё сил. А сейчас, летом, на раскалённом бетоне он эту накопленную силу лишь тратил, но жил только ею. Когда она тащила поливочный шланг по бетонной дорожке от обложенного кирпичом колодца вокруг дома к огороду, часто с улыбкой вспоминала, за что любила Жука. Любила она его не за ум, не за собачью прямоу и преданность. Нет, любила она его за другое – благодаря ему ей открылась великая тайна, и тайна эта заключалась в том, что в природе существует отцовская любовь.

Ещё год назад у них было две собаки. Вторую звали Куклой, прибудила она случайно, а потом по недосмотру оценилась. Чтобы она не калечила щенков, её спустили с цепи, по этой же причине цепь Жука максимально была укорочена, что переполнило его сердце горечью и обидой на неблагодарных хозяев, которым он служил верой и правдой. И вот наступил день, когда щенята, с невероятным трудом преодолевая высокий бортик, выбрались на бетон двора и поползли прямо к будке папаши. Их было двое – первооткрывателей бетонной равнины: один рыжий, ну совершенная мать, второй, как отец, чёрно-рыжий. На шатающихся, неверных лапах, пронизанные страхом перед неизвестностью, они ползли вперёд. Причём рыжий, значительно отстававший от своего собрата, явно был не рад, что ввязался во всю эту авантюру, тогда как чёрно-рыжий, несмотря на окружающую океанскую пустыню, всем видом напоминал Колумба, верящего в скорое обнаружение земли.

Тем временем Жук выглянул из своей будки и, увидев своих отпрысков, выскочил им навстречу. Сначала он бешеными прыжками вверх подбадривал их. Чёрно-рыжий заметил это и, резко переменив первоначальный курс, начал движение в его сторону. Рыжему не оставалось ничего другого, как последовать его примеру. Как только был совершён этот манёвр, Жук перестал прыгать и бросился навстречу детёнышу, цепь натянулась настолько, что казалось, ещё мгновение – и она лопнет. Несмотря на впившийся ему в горло ошейник, он что есть сил стремился уменьшить расстояние, разделяющее его от чёрно-рыжего неуклюжего, но, несомненно, героического отпрыска. Его когти пытались вцепиться в бетон, лапы – подтянуться ещё хоть на миллиметр, глаза, в которых, ещё немного, и начали бы проявляться признаки подступающего удушья, были озарены нежностью. А чёрно-рыжий, осознав наличие цели своего движения, напрягшись из последних сил, падая и тут же вставая, почти добрался до скулящей от восторга морды отца, ему оставалось сделать лишь пару своих крохотных шагов.

И тут... сердце Кимки ёкнуло – Жук распахнул свою огромную, в сравнении с собственным детёнышем, пасть, а красный, длинный, влажный язык перевалился через забор белых страшных зубов. Ещё шаг. Надо было если не спасать несчастного детёныша, ставшего жертвой родительского коварства, то, по крайней мере, крикнуть, отогнать голосом пса или обратить криком на себя внимание щенка и тем самым остановить его от последнего, смертельного шага. Но Кимка, оторопев от ужаса, не могла ни шевельнуться, ни крикнуть, подавленная происходящим, она могла только смотреть на то, что сейчас произойдёт. А произошло следующее. Не прекращая своего движения, чёрно-рыжий беспардонно шагнул в пасть своего папаши и стал лазить по ней, перебираясь через ряды зубов то в одну, то в другую сторону, а в это время над его несмышлёной головой нависал частокол верхней челюсти. Вскоре к нему присоединился и рыжий. И они, несмышлёные, радостно лазили по этой страшной, живой и, как оказалось, родной пещере. А Жук, разинув пасть, сидел неподвижно, и только радостный блеск его глаз говорил, что он счастлив.

Всей душой радуясь тихому ветерку, ласкавшему тело долгожданной прохладой, Кимка босая ходила по огороду, перекладывая шланг то на ряды помидоров, то под грядки клубники, то бросая его в заросли петрушки и укропа. И всё кругом было ей мило, ничто её не раздражало, не злило, и не было ничего, что звало бы отсюда прочь. И было приятно сознавать, что не только ты любишь всё вокруг, но и все окружающие тебя любят. Влажная земля ласкает пятки твоих ног, и ты ощущаешь, как через неё

вливается в тебя сила и разбегается по всем частям, косточкам, мышцам, органам, делая тебя здоровой, бодрой, смелой. Холодная и вкусная колодезная вода, несущаяся благодаря насосу из шланга с сумасшедшей скоростью, утоляет жажду, и ты чувствуешь, что все соки в тебе только и делают, что ждали своей великой праматери. Мягкий утренний свет настолько проясняет мысли, что становится несомненным, что создан он был для того, чтобы всё живое могло понимать, видеть и согреваться. А воздух, чистый и прохладный, проникая в лёгкие, каким-то совершенно волшебным образом рождал в сердце, именно в сердце, а не в голове, простую, но наполненную смыслом песню:

*Я родился сегодня утром,
Ещё до первого света зари.
Молчанье у меня снаружи.
Молчанье у меня внутри.
Я кланяюсь гаснущим звёздам,
Кланяюсь свету луны,
Но внутри у меня никому не слышимый звук,
Поднимающийся из глубины.*

Я не мог оторвать глаз от тебя.

*Я родился со стёртой памятью,
Моя родина где-то вдали,
Я помню, как учился ходить,
Чтобы не слишком касаться земли.
Я ушёл в пустыню,
Где каждый камень помнит твой след,
Но я не мог бы упустить тебя,
Как я не мог бы не увидеть рассвет.*

Я не могу оторвать глаз от тебя.

Скорее всего, песню можно было считать посвящением Богу, но в тексте, найденном ею в Интернете, «тебя» было написано с маленькой буквы. Поэтому Кимка мгновенно пришла к выводу, что всё значительно проще. Это песня о ней самой, это песня какого-то неземного, предвечно связанного с нею принца, родившегося только для того, чтобы из всего живущего в мире выбрать только её. И, опьянённая этой невероятной фантазией, она начала любить весь окружающий её маленький, как она сама, но потому и родной и добрый мир. И если бы в тот миг, когда её сердцем переживался этот текст, её спросили, что же она поняла, прикасаясь к земле, вдыхая воздух, видя небесный огонь, то она, не задумываясь, ответила бы: «Всё для меня, и все как я, и я со всеми, и я для всех».

Когда отец выходил на задний двор выгнать машину из гаража, чтобы ехать на работу, Кимка в это время занималась курами. Она заходила в отгороженный двухметровой металлической сеткой загон, сначала вычищала кормушки дворовым веником, насыпала в них зерно и лишь потом открывала дверь курятника. Потянув ручку двери на себя, она сразу же отходила в сторону: почти сотня кипенно-белых, жирных бройлерных тел неслась из курятника, грозя сбить её с ног. В мгновение ока толпа разделялась на группы и

с жадностью начинала поглощать зерно. После этого из курятника вылетал Борька и садился ей на плечо.

Борька был голубем благородных кровей, однажды залетевшим в вольтер и оставшимся жить с курами. Сколько Кимка ни гнала его прочь, в неведомую родную стаю, сколько ни писала сообщений в Интернете, сколько ни расклеивала объявлений на столбах и досках, всё было напрасно. Чёрно-белый голубь с невероятно красивым капюшоном на затылке был никому не нужен и сам не уходил. Пару раз знакомые голубятники радостно брали его себе, но при первом же вылете он вновь возвращался в полюбившийся ему вольтер. Что его тянуло сюда, оставалось непонятным, бройлеры его откровенно третировали – нападали, клевали, не пускали к кормушке, сгоняли с насеста, на котором он хотел сидеть вместе со всеми; отведённые ему места – сначала на чердаке гаража, а затем в отдельном углу курятника – ему не нравились. По совершенно неведомой причине он хотел жить с этими, по сути, бескрылыми, тупыми, жестокими существами.

За что он их любил, было совершенно непонятно, но то, что любил, это было однозначно. Иногда, когда по какой-нибудь причине открытие двери затягивалось, он протискивался сквозь решётку окна курятника и стучался в окна дома, требуя от нерадивых хозяев прекращения страданий своих названных братьев, столпившихся у дверей и нещадно клевавших друг друга. Но если кто-нибудь из хозяев открывал наконец дверь, а Борька, довольный собой, победно сидел на его плече, безмозглые чёрствыи бройлеры всё равно гнали его прочь от кормушки. Ничего не могло их разжалобить, даже наседка, ходившая по двору с дюжиной цыплят, которых он героически защищал от мнимой угрозы со стороны кошки (своих она не трогала). И кошки, и Жук быстро привыкли к Борьке, никогда на него не нападали и не отгоняли от своих мисок, но бройлеры были неумолимы. Так Борька и жил отшельником в стае из ста тел. Кроме этого, внешне незатейливая операция по открытию курятника имела ещё один интересный и в чём-то даже уникальный нюанс, превращавший простое отпирание двери и наполнение кормушек в достаточно трудоёмкий процесс. Кимка обозначала этот нюанс словосочетанием: «вынос инвалидов».

Специфика бройлерной породы и одновременно её ценность заключалась в совершенно фантастическом весе. Сначала Кимка искренне радовалась этому, поскольку ни о каком полёте не могло быть и речи. В своё время она хлебнула горя с леггорном, или, как у них было принято говорить, легоркой. Ей выпало на долю выращивать коричневую разновидность этой породы. Трудность этого процесса заключалась в том, что представители этой породы практически не имели веса и с невероятной лёгкостью перемахивали через двухметровую сетку и начинали клевать и вытаптывать в огороде всё что могли. Не помогали ни подрезка крыльев, ни специально сплетённая отцом сеть, натянутая над всем загоном – они, стремясь перелететь через забор, запутывались в ней и беспомощно висели.

Поэтому, когда родители сказали, что удалось купить цыплят-бройлеров, Кимка страшно обрадовалась: они не полетят. И они не летали, совсем не летали, набрав вес, не могли слететь даже с насеста, а упав с него, тут же подворачивали себе ноги. Насест же был отцом переделан, но это позволило лишь кратить рост образовавшейся группы «инвалидов». Огромных, за четыре килограмма, белых петухов ей приходилось каждый день выносить из курятника, рассаживать на специально оборудованное место, а вечером заносить обратно.

После курятника она забегала на кухню, хватала чайник с кипятком, заранее поставленный для неё матерью, и отправлялась запаривать комбикорм нутриям. Это был, как она выражалась, «красный ужин», завтрак же,

для того чтобы за ночь остыть, был сделан ею с вечера. Запарка комбикорма, несмотря на всю кажущуюся простоту, была делом ответственным. Для того чтобы крупа не сворачивалась в шары, надо было добавлять воду постепенно, постоянно размешивая, тщательно раздавливая возникающие комья специально приспособленным для этого дела куском широкой рейки, прижимая их к стенкам кастрюли. После того как масса становилась равномерной и при этом достаточно плотной, чтобы за полдня превратиться по вязкости в подобие мокрой глины, она накрывала крышкой и относила её в уже опустевший после выезда отца гараж. Когда эта задача оказывалась выполненной, Кимка вместе с другой остывшей за ночь кастрюлей отправлялась в небольшой пристроенный к задней стене гаража коридорчик, недавно начавший свою службу в качестве нутрятника.

Как только Кимка начинала греметь ключами, всё в расположенных в два яруса вдоль стены клетках приходило в движение. Десятки больших, средних и маленьких крысopodobных тел сбивались в клубки, вылетали из гнёзд и закатывались в ближайšie к входу углы клеток. Но стоило кастрюле с кашей коснуться бетонного пола нутрятника, как меховые шары отлетали от углов и тут же рассыпались вдоль обращённых к окну, а следовательно, и к еде решётки, и десятки страшных оранжевых челюстей впились в железные прутья в безумном стремлении прогрызть их. Войдя внутрь, Кимка начинала действовать по отлаженной схеме. Она ставила кастрюлю либо рядом с клеткой, либо наверх клетки, если та была на втором ярусе, но всегда в ближайший к двери угол. Тут же образовывался новый шар, который возвращался в исходное положение, а она резко открывала задвижку и быстро вытаскивала кормушку. Шар вновь распадался на отдельные несущиеся к дверце тела, но было уже поздно. Кормушка уже была вне клетки и равномерно, чтобы максимально снизить толкотню, наполнялась кашей. Потом уже наполненная кормушка вновь подносилась к углу, и трюк повторялся, но это был, пожалуй, самый опасный момент: у многих своих одноклассников Кимка рядом с большим пальцем видела шрамы от, как у них говорили, «крысиных» укусов, но ей всегда удавалось вовремя убрать руку.

Каждый раз, заходя в нутрятник и наблюдая голодные шараханья этих, по сути, несчастных зверьков, она задавалась вопросом: неужели они так голодны. Неужели даваемая им два раза каша, набиваемые с горкой кормушки порезанной тыквой, свёклой и арбузными корками, целые снопы сочной травы и картофельные очистки не могли ублажить их не такие уж и большие утробы? Одно время Кимка склонялась к мысли, что им чего-то не хватает, а потому нужно как-нибудь увеличить и сделать разнообразным их рацион. Но чем больше Кимка наблюдала за ними, тем крепче становилось её убеждение, что насытить их в принципе невозможно. Если они будут сытыми и довольными, они перестанут быть сами собой. Поэтому, бросив удовлетворённый взгляд на ровно колышущиеся горбики спин, цепко держащие куски каши лапки, до ужаса напоминающие человеческие руки, и работающие со скоростью центрифуги челюсти, она отправлялась в дом мыться.

Она расставалась с ними до пяти часов, когда жара немного спадала и можно было выходить во двор. В это время она начинала самую странную работу своего дворового хозяйства – купание нутрий. Необходимость проведения данной процедуры была вызвана несовершенством нутрятника, который стал им чисто случайно. Кимкины родители не собирались заводить нутрий, но однажды осенью отец, работая в огороде, поймал сбежавшего от соседки детёныша нутрии. Гнавшаяся за беглецом соседка объявила, что над судьбой не властна, в какой дом он прибежал, в том ему и жить. И детёныш,

получивший имя Сюня, поселился в фанерном ящике, поставленном в коридорчике между кухней и ванной. Первое, что он сделал на новом месте проживания, – искупался в консервной банке, наполненной молоком. Это стало символом всей его дальнейшей жизни. Он рос, свободно ходил по двору, подружился с Жуком, через некоторое время ему пришлось покупать самку, появилось потомство, и пошло-поехало. В результате отец переделал сарайчик в нутрятник, но канализационная труба пролегла далеко, и потому пришлось отказаться от установок ванночек в клетках – не было возможности для слива воды. По этой причине каждым летним днём Кимка их купала.

Надев панаму (солнце ещё было жарким), галоши, поскольку возиться приходилось в воде, взяв дворový веник и совок, которыми предстояло убирать продукты жизнедеятельности, она спрыгивала с высокой крытой площадки на бетонную поверхность двора. Занеся совок и веник в нутрятник, Кимка начинала, по своему собственному выражению, «городить». Выглядело это так: в небольшой простенок между колодцем и гаражом ставилась большая, сделанная из жести ванна, проходы между ними перекрывались волнистыми листами пластикового покрытия для крыш, каждый из них был снабжён специальными крючками. При этом второй лист ставился наискось, так, чтобы нутрии, выпущенные Кимкой на бетонный пол сарая, могли через раскрытую дверь дойти до ванны и при этом не сбежать. Для того чтобы нутрии, особенно детёныши, могли добраться до краёв, как выражалась Кимка, плескалица, ею устанавливались конструкции из кирпичей. Выпускала она их так, как они жили – семьями, и нижних просто выпускала, верхних брала за хвост и передние лапы и опускала на пол, иногда для придания направления она использовала веник.

Пока то или иное семейство нежилось в набранной из колодца воде, она чистила их клетки и наполняла овощами кормушки. Потом выходила, добавляла им воды, следила за малышами, баловала сидящих у стены гаража купальщиков и купальщиц сочной травой и просто любовалась тем, как малыши ныряют и плавают, а старшие покачиваются на поверхности воды, держа лапками за край ванны. Вымытые и остывшие от летней жары, они не без помощи веника возвращались сначала в сарайчик, затем в клетки и принимались за овощной обед. Кимка же для новой семьи полностью меняла воду в ванне. По методу, предложенному матерью, она половину воды должна была вычерпать дворovým ковшом, а потом только переворачивать ванну в сторону гаража. Но Кимке этот процесс казался долгим, и она, используя лопату и кирпичи в качестве рычага, приспособилась переворачивать ванну целиком.

Последним она выпускала Сюню. За неприлично долгую для нутрии жизнь он набрал колоссальный вес. Горб его мерно покачивался, чёрный мех лоснился, когда он медленно выходил из ближайшей к двери клетки и осторожно спускался с импровизированных кирпичных порожков на бетон двора, то казался Кимке каким-то древним млекопитающим, ровесником мамонтов. Самым забавным было смотреть, как он, словно нож в масло, плавно погружался, а вернее, входил в переполненную ванну. Доплывая до противоположного края, он выливал до четверти воды, и Кимка тут же добавляла новой. Пока он купался, Кимка разбирала ограду – по поводу побега Сюни можно было не переживать, своё он уже отбежал. Потом их величество выходили из ванны и направлялись с дружественным визитом к Жуку, запертому в сарае. Сначала общение происходило через широкую щель внизу железных ворот, друзья снюхивались, Жук жалобно скулил, требуя свободы, Сюня кряхтел. Потом Кимка открывала одну половину ворот и давала им

возможность вдвоём побродить по двору. Они ходили вдоль длинной толстой металлической проволоки, протянутой почти по всему двору, к которой крепилась собачья цепь. За Сюней по бетону оставался длинный влажный прямой след, а вот если бы удалось зарисовать следы Жука во время этой прогулки, то они были бы не только на бетоне, но и в воздухе, причём рисунок их по своей запутанности был сопоставим с арабесками. Удивительно, но за всё время прогулок бешено прыгающий Жук ни разу не ранил цепью своего товарища.

«Сюнечка, надо идти», – говорила Кимка, разобрав купальню и вымыв двор. Достаточно было одного лёгкого прикосновения веником, чтобы он, елозя длинным крысиным хвостом, чинно направился в клетку, устланную толстым слоем свежих опилок.

Но до обеденного купания было ещё далеко, поэтому, выполнив утреннюю часть дворовых работ, Кимка сама отправлялась в дом мыться. Когда она выходила из ванной комнаты, в домашнем халате, мягких тапочках, с тюрбаном на голове, сделанным из полотенца, то сразу отправлялась на кухню, где её уже ждал приготовленный матерью завтрак. Она усаживалась на табуретку, ела, пила и смотрела на сидящих рядом с нарочито безразличным видом двух кошек. Первую из них, ту, что покрупнее, звали Крохой, она была пепельно-синей и поспокойней, но зато упрямей и злей. Вторая, ярко-рыжая, орущая истошным голосом при малейшей возможности получить еду, откликалась на Тихоню. Эти клички были даны им, когда они были милыми котятками, но теперь звучали как насмешка. Когда они лежали вместе на деревянном полу, то казались единым языком пламени, стелющимся по полу. Их цвета перетекали друг в друга, как цвета зажжённой свечи: чёрный, синий, потом красный и, наконец, ярко-жёлтый. Вели себя сестрички спокойно не потому, что были довольны тем, что дала им мать Кимки, когда готовила завтрак, а потому, что ждали, когда та окончательно уйдёт. Если бы они закатили голодную истерику сейчас, то зашедшая попрощаться с дочерью хозяйка без зазрения совести выгнала бы их во двор.

Кроха и Тихоня были сёстрами с разницей в один помёт, их старую, прожившую лет двенадцать мать звали Кариной. Предчувствуя смерть, она ушла из дома, и больше её никто не видел. При ней они не смели и пикнуть, но теперь чувствовали себя вольготней. Сестрички ненавидели друг друга, и время от времени между ними случались короткие стычки, поэтому увидеть их сидящими вместе было большой редкостью. Секрет их теперешнего дружелюбия заключался в том, что летом и только летом, они умудрялись котиться одновременно, с разницей в неделю, и на этот период между ними воцарялось прямо-таки «сестринское взаимопонимание». Смотреть на проявление этой любви Кимка приглашала друзей и подруг, потому что если бы ей самой рассказали о том, что между ними происходит, она бы точно не поверила. А выглядело это так.

Они вытаскивали своих детёнышей, взяв за загривок, из специально оборудованных Кимкой родильных углов и складывали их в центре самой большой комнаты дома, называемой залом. Потом одна из них отправлялась спать или разбойничать по соседским дворам, а вторая укладывалась кормить и своё, и сестрино потомство. Спустя некоторое время они менялись ролями. И вот здесь-то и происходило самое интересное. Сестрица-отпускница входила в зал и останавливалась прямо в проходе. Заметив её долгожданное появление, дежурная сестрица резко вставала и буквально стряхивала с себя сосунков. Часто можно было видеть, как один из них разжимал челюстёнки, падал на подороги между входом и лежбищем, кормилица при этом, не

обращая на него ни малейшего внимания, подходила к выходу и, блаженно закрыв глаза, укладывала свою морду на передние лапы, а сестрица, исполненная благодарности, с полминуты лизала ей нос. После этого отбывшая смену сестрица отправлялась отдыхать, а новая дежурная, подобрав по дороге визжащего сосунка, отправлялась исполнять материнский долг.

Со второй половины лета сестрички переживали время завершения периода взаимопонимания. Котята уже начинали лакать молоко, лежбище из зала перемещалось в коридорчик между кухней и ванной, потребность в постоянном дежурстве отпадала, поэтому они начинали посматривать друг на друга косо, но ещё могли позволить себе, сидя бок о бок, спокойно ждать второго завтрака, который должен был последовать после ухода хозяйки. И действительно, примерно в одно и то же время дверь, ведущая из гостиной на кухню, распахивалась, на пороге появлялась разодетая и надушенная хозяйка, это окончательно убеждало сестричек в том, что всё идёт по плану. Мать говорила Кимке: «Ну, я побежала» или «А чего это Жук морду от чашки воротит, ты его, что, опять котлетами кормила?» Стерев поцелуем с лица дочери удивлённую гримасу, она через передний двор уходила на работу.

Как только Кимка, окончив завтрак, вставала, сестрички тоже поднимались и поочерёдно начинали своими пушистыми боками тереться о её ноги – пройти к раковине и вымыть посуду не было никакой возможности. Если бы она сразу занялась мойкой посуды, то сестрички начинали бы применять против неё санкции, принимавшие форму нежных поглаживаний её голых ног выпущенными из мягких лап когтями. Даже поход к холодильнику, которого они, по сути, добивались, напоминал номер Куклачёва, когда каждый шаг сопровождался прошмыгиванием кошки между ногами. Кимке приходилось тяжелее, чем Куклачёву, во-первых, потому что кошек было две, во-вторых, они двигались не по ходу движения, а вокруг делающей шаг вперёд ноги. Но все эти сложности в конечном итоге были лишь весёлой игрой, поднимающей ей настроение.

В тот миг, когда она, оттесняя пушистые тела, открывала дверцу холодильника, раздавалось не мяуканье, а душераздирающий визг, который можно было бы перевести так: «Ну теперь только попробуй не дать! Мы, что, зря унижались?! Только попробуй!» Их глаза блестели уже совсем недобрым светом, хвосты поднимались вверх, шерсть вздымалась, увеличивая их тела вдвое, в этот миг для них всё было серьёзно. Кимка же не в силах сдерживать смеха, с двумя кусками мяса в руке – ничего другого они просто не стали бы есть – неслась на задний двор. Теперь сестрички смотрели только на еду и под ногами уже не пугались, они охраняли её, они были готовы порвать когтями любого, кто осмелился бы позариться на пострадавшую ими добычу. Раскидав куски по разным сторонам крытой бетонной площадки, ведущей на задний двор, и разбудив при этом искреннее возмущение Жука, вынужденного лицеизреть, как эти две мажорки уничтожают свой второй завтрак, который по праву мог бы быть его третьим, она возвращалась на кухню.

Если Жук показал Кимке, что отцовские чувства появились в человеке не из пустоты, а перешли к нему по наследству из животного мира, то эти две пушистые красотики поведали ей ещё более важный секрет.

Произошло это поздней осенью, когда огород был уже пуст и требовалось, расчистив и перекопав землю, подготовить его к зиме. Кимка сгребала граблями вырванные с корнем, высохшие стебли помидоров в одну кучу, которые затем нужно было нести в компостную яму, когда лязгнула калитка.

Бросив грабли, она нырнула под проволоку виноградной беседки, оказалась на переднем дворе и бросилась к калитке. Причина её поспешности заключалась в том, что, когда всё на огороде увядало, с цепи спускали Жука, который, промаявшись всю весну и лето на цепи, сломя голову носился по обоим дворам и огороду, отдыхая душой и телом. Если бы во время этого праздника свободы ненароком появился посторонний, то итог этой встречи для пришедшего был бы плачевным.

– Не входите, собака! – что есть силы крикнула Кимка скрытому высоким забором гостю и в тот же миг увидела, что из-за дома со стороны фасадной стены на звук металлической щеколды полный решимости выполнить свой собачий долг вылетел Жук.

– Фу! – закричала Кимка.

Поздно – калитка широко распахнулась в сторону улицы, в проёме двери никого не было. Не веря своему счастью погулять среди бела дня – его выпускали со двора только вечером на два-три часа, – Жук рванул на улицу. Кимка застыла в недоумении. Вдруг из-за прижавшейся к забору калитки вышел человек.

– Думаю, ему не помешает проветриться, – с кривой усмешкой произнёс пришедший и деловито добавил: – Батя, дома? Позови.

Гостя она не знала, но во двор пустила.

– Вы на порожках подождите, сейчас он выйдет, – ответила Кимка и вызвала по сотовому телефону отца, работавшего в гараже.

Перешагнув через проволоку виноградной беседки, она опять юркнула в огород и продолжила работу. Незнакомец же расположился на порожках и, лузгая семечки, ждал отца. Через некоторое время она оторвала глаза от земли, бросила взгляд в сторону дома и обомлела.

Незнакомец по-прежнему сидел на порожках и ждал отца, но он был не один, к нему, распушив шерсть и высоко подняв хвосты, буквально липли Кроха и Тихоня. Первая тёрлась о его ноги, вторая же, поставив лапы ему на колени, судя по всей её напряжённой фигуре, заискивающе заглядывала ему в глаза. Кимка была сражена этой картиной наповал. Капризные, чопорные сестрички, которые давали себя погладить, только когда им это было выгодно, теперь стелились перед неизвестным человеком. Он же, казалось, не обращая на них никакого внимания, продолжал лузгать семечки. Вдруг он встал, подошёл к краю залитого бетоном двора, к огороду, и страхнул с ладони на землю шелуху, которую всё это время собирал в кулак. Кошки тут же последовали за ним, стараясь лишний раз потереться боками о его ноги, явно призывая его что-то сделать. Выкинув мусор, гость медленно повернулся и спокойно направился к порожкам; сестрички, одна справа, другая слева, шли вместе с ним, прижимаясь к его ногам. Наконец незнакомец обратил на свой навязчивый эскорт внимание и резким, сильным и грубым движением против шерсти погладил – если это можно было назвать поглаживанием – шедшую с левой стороны от него Тихоню. Пройдя через всю её спину, рука гостя остановилась только около ушей, а потом так же резко пошла по той траектории, но в обратном направлении, к хвосту. Даже на расстоянии ощущалось, как огромная для кошки сила катается взад и вперёд по её спине, но она, буквально прогибаясь под ней, испытывает от этого нескрываемое удовольствие. Через несколько повторов этой процедуры Тихоня заплетающейся походкой, словно налакавшись валерьянки, отошла от гостя, её место тут же заняла Кроха, и всё повторилось.

Наверно, никогда до этого Кимка так остро не испытывала чувства омерзения. На миг ей показалось, что она подглядывает за извращенцами, она

отвернулась и постаралась не думать о странном госте, кто он и как ему удаётся иметь такую власть над животными. Она даже не стала расспрашивать о нём отца. Что возмутило её в этой сцене больше всего? Предательство. Да, предательство. На её глазах эти две пушистые шалавы предали всё сокровенное, что хранилось в тёмных, влажных, тёплых и при этом совершенно нечувственных недрах женской натуры, то, что делало женщину загадкой, то, что нельзя было показывать никому, то есть мужчине, чтобы быть самой собой, чтобы не превратиться в рабыню. Она отвернулась и продолжила работу, совершенно выкинув увиденное из головы.

АПОКАТАСТАСИС

Этот маленький триумф не состоялся бы, не слушай она аудиокниг, с ними объёмы усвоенного ею увеличились в разы. Поэтому аудиокнига вместе с русским роком и классикой стала главным наполнением её плеера.

Когда она пришла к этой священной триаде, её душа, наконец получив равные возможности развлекаться, учиться и рассуждать, более-менее успокоилась.

Летом она чаще всего слушала романы и лекции перед обедом, а вернее, в процессе его приготовления. Накормив животину, позавтракав, полазив по Интернету, она возвращалась на кухню и принималась готовить обед. Необходимость чуть ли не ежедневной обеденной готовки заключалась в том, что в холодильнике всегда должно было находиться два борща или супа: один – мясной, для заезжающего пообедать с работы отца, и второй – вегетарианский, для неё самой. К ужасу родителей, Кимка, будучи от природы и так худая как спичка, уже два года как не ела мяса. Пришла к ней эта идея после того, как мать позапрошлым летом уехала на несколько дней к тётке в Беловодск, а отец решил, что именно сейчас – за это он получил отдельный нагоняй от матери – нужно рубить кур.

Процесс этот был непростой, предстояло ни много ни мало как за несколько утренних часов, пока степное солнце не набрало силы, захоронить в шестисотых банках почти сотню бройлерных тел. Справедливости ради надо сказать, что отец рвался всё сделать сам. Он хотел порадовать приехавшую мать вестью о решении тяжёлой хозяйственной задачи. Но уклоняться от такой объёмной работы Кимке не позволяла совесть, и, как только забрезжил рассвет, натянув рабочую одежду, она вышла на помощь к отцу. И опять он говорил ей, что всё сделает сам, и гнал её со двора, но она осталась. Процесс был несложным, но достаточно долгим.

Сначала отец шёл в курятник, брал пару приговорённых, нёс их во двор за сарай, подалее от взглядов будущих жертв, связывал им ноги, потом укладывал на деревянную колоду, служившую плахой, и одним точным ударом топора отделял голову от тела. Кровь обагряла дерево, алые гребешки становились белыми, вечно сосредоточенные на какой-то одной им известной цели глаза меркли и полузакрывались веками. Тело, не сознав произошедшей катастрофы, несколько мгновений продолжало дёргаться и хлопать крыльями. Отцу требовалось значительное усилие, чтобы удержать его. Из сочащейся раны вместе кровью отходил еле заметный пар, казалось, простая, незамысловатая куриная душа наконец-то осуществила свою извечную мечту и отправилась в полёт к одной ей видимому солнцу.

Тем временем наступала очередь отвёрнутого от уже обagrённой плахи, лежащего со связанными лапами напарника. Он не видел произошедшего, но весь его взгляд, всё его объятное ужасом тело говорило о том, что

он не то что осознаёт присутствие смерти, а просто смотрит ей в глаза. Передать степень его ужаса не представлялось возможным, поскольку даже его братья и сёстры, запертые в курятнике, оцепенели от невидимых волн чистого небытия, расхोдившихся от плахи. А он лежал в нескольких метрах от неё. Ну отвернул его добрый палач головой в сторону, и что? Смерть стала от этого менее зримой? Чудак, что этот оторвавшийся от всего подлинно земного полубог понимал в жизни? Что он знал о нитях, образующих её ткань? Они, рождённые, жившие и теперь обречённые умереть, все вместе были единым целым.

Да, у каждого из них был свой желудок, потребность в своё время есть, пить, испражняться и спариваться, они чётко отличали своё тело от другого тела, настолько чётко, что дрались до крови. Но все они принадлежали к невидимому полю, все они: сильные и слабые, мужские и женские особи – чувствовали друг друга. Это невидимое, но абсолютно достоверное для них поле и было их подлинным телом, а они его частями. И когда в нём возникла чёрная дыра, они все почувствовали это и почувствовали задолго до того, как двоим из них на заднем дворе скрутили ноги. Да, сейчас ему, лежащему у самого края пропасти, тяжелей всего. Но до него уже миллионам таким, как он, пришлось пройти через это, а за ним уже выстроилась очередь его братьев и сестёр. И потому он и все они, хоть со страхом и трепетом, но пройдут через это, потому что то тело, к которому они принадлежат и которое является частью другого, ещё более великого тела, уничтожить нельзя.

Величие и ужас происходящего с жертвой передалось и Кимке. Посмотрев на заклание первой пары, она молча взялась за работу. Не дожидаясь, пока отец вынесет ведра кипятка, стоящие на кухонной плите, она, несмотря на свой маленький рост, тщедушное телосложение и реальную опасность обвариться, каким-то чудом стянула одно из них с газовой плиты и вытащила во двор. Там, на сушильной проволоке напротив колодца уже висели подвешенные за ноги два первых обезглавленных тела. Отец только что зашёл в курятник за следующей парой, и она, поставив ведро на бетон рядом с открытой сливной трубой, сама не зная почему, наверное, видела, как это делала мать, взяла с колодца ковш, зачерпнула им кипятка и, прихватив дворовый веник, совок, отправилась мыть плаху.

То, что она увидела в незабетонированном углу двора, где стояли наглухо закрытые мусорные баки и где сейчас была поставлена плаха, ошеломило её больше, чем два истекающих кровью, раскинувших крылья, словно в первом и последнем полёте, петушиных тела. Прямо на плахе, куда был воткнут одним углом топорик, в луже свежей крови и запёкшихся в них белых перьях стоял Борька. Статный, вертикально вытянутый, как вышколенный солдат на плацу, он прямо и внимательно смотрел на неё, а она, застывшая от удивления, с ковшом в одной руке, веником и совком в другой, смотрела на него и не могла понять, что это значит. Она была уверена, что своим видом он что-то ей говорит, но что?

За одно мгновение в её голове промелькнуло три варианта: «Вы гнали, вы клевали меня, а я терпел, и за это мне дано стоять теперь в вашей крови», «И в жизни, и в смерти мы будем вместе» и, наконец, самое простое: «Смерти больше нет». Какой из этих вариантов был истинным, она, глядя ему в немигающие глаза, понять не могла. Справившись с оцепенением, она бросилась к плахе, он перелетел через её голову и, плавно размахивая крыльями, один раз почти коснувшись земли, направился к вольеру, уселся на железном уголке, которым обрамлялась двухметровая железная сетка. Не поворачиваясь к ней, он смотрел на дверь курятника, за которой скрылся отец.

В полном смятении чувств Кимка с трудом вырвала топорик, к острию которого прилипли окровавленные белые перья, и уже хотела окатить дерево кипятком, как вновь застыла, уставившись бессмысленным взглядом на растёкшуюся вокруг плахи кровь. Часть её, превратившись на земле в чёрно-красную корку, свидетельствовала о мерзости смерти. Часть, уже застыв по краям, в центре была словно бордовое вино, налитое в бокале под мениск. Часть еле заметным паром поднималась ввысь. Растворяясь в утренней прохладе, она порождала еле осязаемое тепло.

«Мир всем», – пронеслось вдруг в кимкиной голове. Она удивилась своей первой пришедшей после долгого оцепенения мысли и продолжала смотреть на застывавшую кровь. Ещё через несколько мгновений в её мозгу всплыли слова из песни о душе невинно убитой девушки:

*Взлетев, на прощанье кружась над родными,
Смеялась я, горя их не понимая.
Мы встретимся вскоре, но будем иными.
Есть вечная воля, зовёт меня стая.*

Кимка вымыла плаху, смела перья, посыпала песком ещё не успевшую запечься кровь и воткнула орудие казни обратно.

Еле успев сделать всё это, она увидела отца, принесшего следующую пару петухов, он удовлетворённо кивнул – всё правильно, но потом нахмурился:

– Ты чего ведро притащила, тебе, что, делать нечего, такие тяжести таскаешь? Нам только ожогов не хватает... – Потом мягче: – По времени кровь должна уже стечь, посмотри, если так, то начинай щипать и побыстрей, а то потом с одной час возиться будем, я здесь справлюсь, приду помочь.

Она кивнула и пошла к колодцу, рядом с которым висели петушиные туши и дымилось ведро кипятка. Там царил если не праздник, то уж точно его предвкушение. Жук, пригнув уши к голове, вертя хвостом по бетону, как сумасшедший крутился у будки. Кроха и Тихоня, противоположными курсами ходили взад и вперёд по накрытой навесом площадке и призывали хозяев перестать шататься по двору и заняться наконец делом. Они не подходили к подвешенным тушкам, им это было неинтересно, они знали, что главное будет происходить здесь, под навесом, на столе. Поэтому они предоставили несчастному псу думать, что он ближе к желанной цели, нежели они.

«Кому война, а кому мать родна», – зло подумала Кимка, глядя на всё это веселье. Но времени на размышления и оценку ситуации у неё просто не было. Поэтому она надела тонкие прозрачные резиновые перчатки и, сняв первую тушку с проволоки, аккуратно погрузила в наполненное до краёв кипятком ведро, вода тут же хлынула через края и понеслась по залитому под уклон бетону в канализационную трубу. Стараясь действовать как можно быстрее, она, поддерживая тушку за лапы у края ведра, другой свободной рукой, захватывая перья целыми пучками и выдёргивая их в направлении, противоположном их росту, начала ощипывать жирное бройлерное тело. Вдруг она бросила взгляд на стоящий возле ведра маленький, переделанный из раскладного стула столик и вспомнила слова матери: «В кипятке забитую птицу долго держать нельзя» – и, бросив щипать и поднявшись с корточек, она резко вытащила тушку из ведра. Лишь в последний момент, осознав последствия своего действия, она еле успела отстранить руку, держащую тушку, от своего тела, как потоки кипятка хлынули в ведро и на бетон. Держа подальше от себя ощипанного на четверть бройлера, она дала

воде несколько секунд стечь с несчастного жертвенного тела, а затем плюнула его на обитый толстой плёнкой столик. Сев опять на корточки, она что было сил заработала одной рукой, другой тем временем поворачивала тушку за ноги. Хвост, крылья, живот, грудка – перья выходили легко и падали вокруг столика мокрыми кучками. Она ещё не окончила работу, как отец, привязав стекать ещё двух обезглавленных бройлеров, окунул в кипяток второе тело и, пристроив его на краю ведра, ловко ощипал почти наполовину.

Она щипала и краем глаза видела, как рядом с ней из надрезанных обрубков петушиных шей не капает, а сочится кровь, собираясь в большую красную лужу. Она работала, думая только о том, чтобы не подвести отца, чтобы сделать всё быстро и качественно, не пропустить ни одного пёрышка, ни одной пушинки, не позволить двум висящим рядом телам закоченеть и затруднить ощипывание.

Но её сердце без всяких слёз, без всяких обвинений и даже без отвращения просто считало. Считало каждую каплю петушиной крови, как казалось ей, со страшным шумом, ударявшуюся о бетонное покрытие двора. И казалось, через каждый удар, через каждое не замеченное разумом и памятью число осуществлялось принятие этих струек и капель в Кимкино сердце, где они перемешивались с её кровью и пронизывали все её существо. Что принимала она с ними? Боль страшную, бесконечную и бессмысленную боль. Боль всего мира, боль, объединяющую всех, кто когда-либо родился, дышал и умирал под этим небом. Боль настолько сильную, что она уже не порождала обиды и поиска своей причины, не вымещала на ком-нибудь зла, она требовала только одного – прекращения. Но всё это протекало в ней настолько глубоко, что, казалось, никак не отражалось на поверхности океана её души.

– С этим вроде всё, – сказала она, вставая с корточек и критично осматривая свою работу. – Смолить надо. Можно я сама?

– Нет, закончи за меня, – сказал отец, бросив взгляд на Кимкину работу.

Затем он обмыл из шланга руки, взял тушку Кимкиного бройлера и отправился на кухню. Но чтобы пройти в дом, ему пришлось отпихнуть ногой истошно орущих сестричек. Через минуту он появился во дворе снова со свежим ведром кипятка. Пока он выливал, обмывал и наполнял свежей водой старое ведро, окунал в кипяток новую тушку, Кимка ощипала второго петуха, отдала ему, и он вновь прорвался сквозь пушистый заслон на кухню. Через некоторое время из открытой форточки кухни раздался звук: отец явно точил ножи. Этот звук поверг всю дворовую публику в ужас. «Так что?! Всё будет в доме?! А мы? Как же мы?»

Только когда она закончила с четвёртой тушкой, в дверях под теперью уже радостное мяуканье и лай появился отец. В его руках она увидела большой таз, в котором один в один были вставлены эмалированные чашки и в них одна на другую были положены две с ещё не обрезанными лапами тушки. На первом плане всей этой конструкции Кимка увидела деревянные рукоятки зажатых между тазом и чашками ножей. У края таза виднелась разделочная доска.

Разбирая на столе вынесенную конструкцию и грубо отпихивая путающихся под ногами кошек, отец, преодолевая животные вопли, громко сказал:

– Смолить рвалась? Давай жарь своих, иначе до китайской пасхи не управимся, тщательно, но без фанатизма, чтобы черноты не было.

Когда Кимка принесла тушки на кухню, то увидела, что решётка с белой прямоугольной плиты уже была снята, одна из конфорок горела ярким синим пламенем. Стоял противный запах палёной плоти. Оттягивая то ноги, то крылья, проводя тушку то спиной, то грудкой над синим пламенем, она

прижигала оставшиеся невыдернутыми основания перьев, нещадно уничтожала оставшийся незамеченным пух. Для Кимки эта процедура оказалась значительно более тяжёлой, нежели ощипывание, ей явно не хватало помощника, она никак не могла приспособиться, и поэтому одну тушку отец вернул на доработку.

Когда она вышла на площадку, то пир жизни за счёт чужой смерти был в самом разгаре. Первое, что она увидела, так это, как Кроха пожирает куриные кишки, которые отец осторожно вытаскивал из тушки и которые медленно спускались вниз, в специально поставленную чашку. Но, увы, длинной светло-зелёной ленте достичь поставленной цели не удавалось. От одной этой картины Кимку чуть не стошнило. Преодолевая отвращение, она подошла к столу и положила осмоленную тушку на стол.

– Что теперь? – спросила она отца.

Он тем временем вытащил кишки из тушки и бросил их в большую дворовую чашку, стоящую под столом. Вместо ответа он ловко подцепил Кроху носком ноги и плавно даже не отбросил, а перенёс в сторону от чашки. Кимка среагировала мгновенно и, схватив чашку, быстро бросилась к мусорному ведру в конце двора, выкинула туда содержимое и плотно закрыла ведру крышкой. Когда она вернулась к площадке, отец стоял на её краю и обмывал руки. Кошки, задрвав головы, ходили вокруг стола. Она поставила чашку на исходную позицию, стала рядом с отцом и подставила под ковш руки.

– Ты их по возможности отгоняй, – сказал отец, – обожрутся – тебе убирать.

– Может, их в доме или в сарае закрыть? – предложила Кимка.

– Думал уже, – ответил он. – Помнишь, что Кроха по зиме устроила, когда мать дверь в комнаты закрыла и оставила её ночевать в кухне?

– Помню, – с ужасом вспоминая ликвидацию последствий кошачьего протеста, отозвалась Кимка.

– Так это её ночевать не там положили, а представляешь, что будет, если ты у неё мясо заберёшь? И, думаю, Тихоня её не только голосом поддержит. Так что отпихивай её от миски и, как наполнится, сразу же выноси, другого способа я не вижу.

Кимка понимающе кивнула.

– Ну всё, пошли, – сказал отец, когда она вытерла руки полотенцем.

Они подошли к столу, и Кимка увидела, что, пока она возилась на кухне, отцу удалось выпотрошить одну тушку.

– И что мне делать? – спросила Кимка, бросая взгляд на аккуратно раскрытое и наполовину распотрошённое тельце бройлера.

– Держать – разводи ножки в стороны и прижимай спинку к столу, чтобы не ёрзала.

– И всё? – обиженно спросила Кимка, она рассчитывала на более ответственное поручение.

– Не дуйся, – отозвался отец, засовывая одну руку в тушку, а другой, надавливая на грудку, прижимал её к столу. – Это большая помощь, вдвоём дело быстрее пойдёт. Ты мне лучше скажи: как думаешь, что в этом деле главное?

– В потрошении?

Она почувствовала, что без давления с её стороны нижняя часть тушки ходит из стороны в сторону, и осознала свою важность в этом процессе.

– Ну да, – отозвался отец, наклоняясь к тушке, медленно вытаскивая пупок и отрезая его от всех связующих его с внутренними органами.

– Думаю, не разлить желчь, – сказала Кимка, вспомнив рассказы матери о тонкостях потрошения кур.

– Неплохо, это, пожалуй, самое сложное, – сказал он, протягивая ей желудочек. – Держи, поиграйся.

Кимка отцепилась от тушки, взяла нож и отправилась к ведру с тёплой водой, поставленному отцом для обмывки потрохов.

– Но, думаю, главное, – закончил свою мысль отец, – это диета.

– В смысле? – удивилась Кимка и от неожиданности уронила желудочек в ведро, но, быстро подхватив его, принялась тщательно обрезать жир, а потом аккуратно разрежала его вдоль.

Тем временем отец, не отрываясь от работы, продолжил:

– Если накануне забоя накормишь, то потом и с кишками, и с зобом будут проблемы. Зоб, например, если он полный, не вытащить, приходится его не вынимать, а надрезать на месте, частично вытряхивать, а потом только тянуть. Естественно, стоит сделать разрез, как что-нибудь попадёт внутрь. А набитый и повреждённый кишечник вообще может всё дело испортить, страшнее только разлив желчи.

Тем временем Кимка с усилием, двумя руками развернула желудочек и увидела крошечные камушки и остатки корма.

Не отрывая взгляда от соединённых друг с другом половинок желудочка, Кимка спросила:

– Так, всё-таки главное – это желчь?

– Нет, – упорствовал отец, – здесь, как в любом деле, главное – предварительная стадия, подготовка, если на ней допускается ошибка, всё дело идёт наперекос.

Тщательно промыв желудок, она поддела плёнку длинным накрашенным ногтем, ухватила за край и потянула на себя. Медленно, цепляясь за каждый миллиметр, плёнка последовала за её миниатюрными пальцами. Вместо жёлто-белой поверхности она увидела серую, испещрённую даже не прожилками, а скорее застывшими волнами поверхность. Кимка смотрела на неё, и ей вдруг вспомнилось, что в древности было принято гадать по внутренностям животных, ей всегда этот обычай казался диким суеверием. Ну какая может существовать связь между печенью какого-нибудь агнца и исходом битвы или судьбой закладываемого города? Но теперь при виде бугристой поверхности этот обычай не казался ей таким уж бредовым. На секунду увиденные бороздки показались ей каким-то загадочным шифром, говорящим если не о мире, то, по крайней мере, о самой птице уж точно.

Через некоторое время Кимка наконец-то получила свою специализацию, это – обрезка, обработка и обмывка потрохов. Она помогала отцу в начале разделки, а затем отправлялась возиться с потрохами, сначала у стола, а затем в ведре. Потом опять был забой, ощипывание, смоление, потрошение. И так повторилось сорок шесть раз. Как они ни старались работать быстрее, но поднимающееся с каждым часом степное солнце давало им ясно понять, что забить всех кур за один день они просто не успеют. Поэтому отец отдал приказ на разделку.

Для Кимки это означало кардинальную смену занятия. Она переоделась, зашла в дом. В коридоре, ведущем к двери на передний двор, находился вход в подвал. Кимка откинула половик, открыла лаз и полезла в подвал. Там рядом с деревянной лестницей лежала упаковка банок, которым предстояло стать последним пристанищем бройлерных тел; их, во избежание взрывов, предстояло вымыть с песком и содой под краном на переднем дворе. После

этого уже на кухне их предстояло обдать струёй горячего пара, поднимающегося через носик бурлящего кипятком чайника.

Тем временем отец, орудуя маленьким топориком и огромным ножом, разделявал тушки на составные части: крылья, голени, бёдра, разделённая надвое грудка. Но прежде чем начать возиться с этими пятьюдесятью телами, он вслед за Кимкой слазил в подвал и, надрываясь, вытащил автоклав – небольшой чугунный котёл с датчиком температуры на завинчивающейся гайками крышке. Увидев, как отец, распахнув дверь, выносит его один во двор, Кимка бросила мыть банки и рванулась к отцу помогать.

– Не лезь! – грозно сказал отец и, продолжая движение вниз по порожкам и явно к чему-то прислушиваясь, добавил: – Слышишь, таз упал – это они до кур добрались.

Кимка бросилась опрометью на задний двор. Там на столе возвышалась конструкция из двух тазов, внутри которой помещались выпотрошенные, но ещё не разделанные тушки. Верхний перевернутый таз был придавлен двумя кирпичами, а вокруг него уже кругами ходила Тихоня, время от времени толкая конструкцию лапой. Кроха же, задрав голову, бродила около стола, тут же валялась перевернутая большая эмалированная, к счастью, пустая чашка.

– Господи, ну когда вы нажрётесь? – зло сказала Кимка и, согнав Тихоню со стола, отправилась на передний двор мыть поднятую чашку.

Тушки явно были недосыгаемы для кошачьих когтей и зубов, и Кимка снова пошла к крану. Отец, вымыв автоклав, затащил его в дом. Всё время, пока она возилась с банками у крана, до неё доносились звуки разделки.

Тем временем на дворе с каждой минутой становилось всё жарче. Если с той стороны дома на площадке была крыша и приходилось испытывать неудобство большей частью от духоты, то здесь, на переднем дворе, солнце имело полную власть. Прикосновение к воде даровало прохладу рукам, но не более того. Неподвижная спина, открытые ноги и, главное, голова чувствовали обжигающее прикосновение огня, пот ручьями тёк по телу. Но скрыться от палящего солнца Кимка не могла, оставалось только одно – мыть быстрее. И она что есть сил старалась ускорить процесс мытья. Однако скорость не должна была влиять на качество, иначе это создавало угрозу взрыва. Поэтому каждую банку и изнутри, и извне нужно было обсыпать мелким жёлтым песком, растереть его с обеих сторон тряпкой, тщательно сполоснуть, снова обсыпать, теперь уже содой, губкой отереть каждый миллиметр стекла и особое внимание уделить краям. Только после этого можно было окончательно споласкивать и, перевернув, ставить банку на столик сохнуть.

Когда Кимка стала заносить вымытые банки через коридор на кухню и ставить их на маленький столик рядом с плитой, на которой уже возвышался автоклав, дом показался ей прохладной пещерой. И как только она перетащила последнюю партию банок, рука сама потянулась к ручке двери, ведущей из кухни в комнаты. Она уже знала, что сделает: зайдёт в прихожую и как есть, не переодеваясь, не моюсь, растянется на полу гостиной, застланном старым паласом, и заснёт сразу же и беспробудно. Она уже почти открыла старую деревянную, плотно закрытую дверь, как на пороге кухни с тазом в руке появился отец. Он поставил его на стол, и у Кимки от этих синих, жёлтых, белых и бледно-красных разрубленных и сваленных в бесформенную груду частей тел зарябило в глазах. Ещё полминуты – и под столом стоял точно такой же таз.

– Ну, теперь ваш выход, девушка, – сказал отец, – я на дворе приберусь, ты здесь.

Кимка с тоской посмотрела на два огромных таза, наполненных искалеченными куриными телами. От безнадежности своего положения ей захотелось расплакаться. И вдруг в её голове промелькнула фраза: «без фанатизма». Не надо ничего драматизировать, главное уже всё сделано: птица забита, выпотрошена, разделана – часок она может постоять, дверь на улицу закрыта – кошки не заберутся. Отец провозится на дворе долго, нужно просто изобразить работу в указанном им направлении – и можно немного поспать, ну хоть полчаса, а для верности завести будильник на телефоне. Окрылённая этой идеей, она решила сделать две простейшие операции: выложить на стол лавровый лист вместе с пачкой чёрного перца в горошинах и посолить курицу в обоих тазах.

Собрав в кулак остатки воли, Кимка бросилась осуществлять свой замысел. Первую часть она выполнила молниеносно. Казалось, что и со второй тоже не будет никаких проблем. Вообще-то у неё было три варианта просолки мяса. Первый – поставить перед тазом чашку с солью, просаливать каждый кусок и укладывать его в банку. Второй – насыпать немного соли в каждую банку. Третий – просолить всю массу сразу. Её устроил третий вариант, только он давал право на отдых – пусть с полчаса пропитается солью. Поэтому она смело равномерно посыпала солью лежащие перемешку крылышки, половинки грудок, бедра, окорочка и своими тонкими, немного, совсем немного короткими, но изящными пальцами, осторожно нащупывая пространство и зазоры, постаралась перемешать всю эту массу.

Но как только её плотно сжатые пальцы, подобно авангарду, пробрили брешь в обороне противника, а ладони ощутили тяжёлую массу мёртвой плоти, которую им предстояло переворачивать, она с ужасом вспомнила, как в конце зимы эти же пальцы и ладони ощущали совсем другое.

Это было в воскресенье, ранним морозным утром. Она проснулась от стука в окно, это были родители, вернувшиеся с рынка, они звали её помогать. Прямо в ночной рубашке она выбежала в коридор, надела приготовленную с вечера шубку и открыла дверь нараспашку, закрепив её специальным крючком за стену, и прямо в домашних мягких тапочках стала на нижней ступени порожек. Калитка во двор тоже была открыта и закреплена. Мать стояла на улице у задней двери машины и время от времени открывала её. Отец же хватал картонные ящики, стоящие на заднем сиденье, и бегом нёсся к распахнутой двери, где их аккуратно подхватывала Кимка и несла в глубь коридора. Когда вся операция была завершена, а дверь закрыта, она заглянула в одну из коробок: там, сбившись в угол, сидела кучка только вчера вылупившихся цыплят.

И тут Кимка с ужасом вспомнила: «Обогреватели!» Она должна была проснуться раньше и включить обогреватели. Дело в том, что тут же, в коридоре, на деревянных скамейках стояли фанерные ящики с приделанными отцом лёгкими металлическими сетками, их днища, в надежде на удачную покупку, уже были устланы опилками. А под ящиками располагались обогреватели, старые, металлические, чудом найденные на чердаке и медленно работающие, их надо было включить заранее. В коридоре стояла старая маленькая батарея, так как дверь на улицу часто открывалась (зима выдалась особенно холодной), внизу находился подвал, и поэтому родители решили обогреть днища ящиков. Кимка уже слышала, как через заднюю дверь заходили родители, им не терпелось рассмотреть свою покупку. Кимка резко обернулась к стене и увидела штепсель, воткнутый в розетку – мать, подозревая, что дочь может забыть про задание, на всякий случай их включила. Облегчённо выдохнув, Кимка быстро открыла первый попавшийся ящик, при-

слонив сетку к стене. Потом, пододвинув коробку, стала осторожно, по два цыплёнка, пересаживать их в ящик. Кимка осторожно запустила обе руки в ящик, сомкнув и слегка согнув пальцы, стала ловко по двое-трое захватывать крошечные пушистые тела, быстро переносить их на покрытое опилками днище ящика. Когда родители вошли в коридор, первая партия цыплят уже была пересажена с холодного пола в тёплый ящик.

И вот сейчас, спустя примерно семь месяцев, смертельно уставшая, пытаясь побыстрее просолить расчленённые тела бройлеров, она вдруг вспомнила этот момент, момент первого прикосновения к их телам. Что она тогда ощущала, прикасаясь к ним? Она могла ответить самой себе чётко и однозначно: трепет. Трепет, который испытывает бесконечно малое тело, каким-то чудом прикасаясь к чему-то непостижимому и большому и потому внушающему ужас. Кем она была для них тогда? На это тоже можно было дать простой и ясный ответ: богиней.

Она была для них заботливой хозяйкой, можно было с уверенностью сказать, что у её цыплят был самый разнообразный, если не королевский, рацион. Что они у неё только не ели! И творог, и пропущенные через мясорубку и смешанные с комбикормом арбузные корки, картофельные, морковные и свекловые очистки и специально запаренную кашу. А чего стоили добавки для укрепления костей – сваренные и перекрученные на той же мясорубке мясные субпродукты, а специально пооборванная, сочная, мелко порубленная трава, а искрошенные стебли и листья свёклы! И всё для того, чтобы им не только сытно, но и удобно было есть. Сколько же было возни с этими цыплятами, столько, что она не могла сказать об этом в классе. Её бы просто подняли на смех: столько времени возиться с птицей было просто не принято. Но она, слушаясь своих родителей, была права.

Однажды её спросили, почему она не вышла, как договаривались, на улицу, – она ответила, что перекручивала очистки цыплятам. Тогда последовал новый недоуменный вопрос: зачем, можно же было просто бросить их в кормушки. На секунду Кимка растерялась, а затем спросила:

- А сколько из сотни у вас обычно дохнет?
- Ну, штук двадцать-тридцать, – последовал ответ.
- Понятно, – не без ехидства в голосе протянула Кимка.

У неё не сох ни один, даже тот, которому она нечаянно наступила на голову, когда ставила поилку в загон. Она их всех выходила, даже «группу инвалидов».

И вот, засунув свои ладони под куски их тел и ощутив весь ужас произошедшего этим утром, она стояла и думала. Её мучил вопрос о том, как она из доброй, заботливой богини могла превратиться в автоматически действующего палача. Как она могла во всём этом участвовать? Да, она хотела помочь отцу, но разве это её оправдывало? Нет! Но разве было бы справедливо повернуться на другой бок, подождать, пока отец сделает всю грязную работу, а потом по зиме решать проблемы с готовкой обеда и ужина простым вытряхиванием содержимого стеклянной банки на сковородку? Нет, тысячу раз нет, на такую мелочность и низость Кимка пойти не могла! Тогда что, отказаться есть мясо, чтобы не нести за всё это ответственность? Нет, тоже нет! Почему?

Да потому, что, хотя они и отдали ей себя полностью, они не были жертвами. Неосознанно, но она как человек и они как животные заключили сделку. Они поменяли свои тела на беззаботное существование и лёгкую, почти безболезненную смерть. И были правы, тысячу раз правы, потому что этим они раскрыли смысл своего животного существования, смысл, недоступный

для их диких собратьев. Те живут для себя и только для себя, а они живут для существа, более совершенного, чем они сами, – для человека.

Согласившись жить с человеком бок о бок, они заключили с ним завет и не прогадали, поскольку получили не только лучшие условия существования, но и то, что дикому животному недоступно – осмысленную жизнь, жизнь в служении. Поэтому всё честно, все стороны выполнили свой долг честно, ни человек, ни животные не виноваты, что в мире есть голод, болезни, старость, смерть; преодолевая их по мере сил и возможностей, они додумались пусть не до самой совершенной, но вполне оптимальной формы сосуществования друг с другом. Теперь оставалось только одно – попрощаться по-человечески.

Кимка вытащила руки из таза, вымыла их под краном и, обхватив вафельным полотенцем банку, стала обдавать её струёй пара, исходящей из бурлящего на огне чайника. Потом бросила туда лавровый лист, несколько горошинок чёрного перца и принялась выбирать куски, комбинируя постные и жирные части, наполнять банки, прикрывать их замоченными в кипятке крышками. Скоро пришёл отец, и дело пошло веселее. Теперь в её задачу входила только укладка, а отец стерилизовал и закручивал банки. Часам к восьми вечера банки были вытащены из автоклава и выставлены остывать рядом с подвальным люком вниз крышками на старом, сложенном в несколько слоёв покрывале. Задача была выполнена, душа её, несмотря на всё пережитое, спокойна.

Но ночью ей приснился странный сон. Сначала она видит огромное тёмно-синее небо, красивое настолько, что захватывает дух. Но потом, опустив глаза, видит, что всё ровное пространство под ним наполнено куриными окорочками, бёдрами, голеньями, крыльями. Их столько, что и шагу ступить невозможно. И вдруг с неба она слышит чьи-то крикливые голоса:

- Это всё она!
- Это всё из-за неё, из-за таких, как она! Отрубить ей голову!
- Правильно! Так, чтобы метра на два отлетела.
- Смерть ей, смерть!

Тут же вокруг неё появляется пространство, свободное от расчленённых тел, в его центре она видит маленькую фигурную плаху, а рядом воткнутый в небольшое бревно топор. Таких плах Кимка ни на одной картинке и ни в одном фильме не видела. «Какая красивая, – мелькает у неё в голове, – прям королевская».

Вдруг какая-то сила бросает Кимку к плахе и прижимает её голову к ней. В её мозгу снова проносится странная мысль: «Как удобно, ну прям для меня».

Топорик сам вырывается из дерева и заносится над её головой, в ужасе она замуривает глаза в ожидании удара, но вместо него раздаётся новый, спокойный и насмешливый голос:

– А кто вас отсюда вытащит, вам что, здесь нравится, это что – ваше место?

И снова слышатся первые, но уже менее решительные голоса:

- Да так, неплохо, конечно, но там было лучше.
- Конечно, лучше. Скукота здесь страшная, нам бы обратно.
- А как?
- Надо что-то придумать.
- Нет, мы думать не умеем.
- Братья, помогите.

Пауза.

Чувствуется, что за вторым голосом скрывается какая-то группа, которая каким-то неслышным образом совещается. Потом второй голос спрашивает:

– Так вы по-прежнему хотите её смерти?

– Да нет, зачем, это мы так, нам бы самим отсюда убраться. Поможет, так пускай живёт хоть здесь, хоть там.

– Хорошо, – раздаётся второй голос.

– Пусть поможет, другие для этого не созданы.

И вдруг тот же голос её спрашивает, да так спрашивает, что Кимка чувствует, что лучше бы ей топор по шее ударил:

– Согласна всё исправить?

Она не в силах разомкнуть зубы и лишь про себя говорит:

– Да!

И тут же всё меняется: она по-прежнему на поле, заваленном куриными телами, но теперь в центре круга стоит не плаха, а стол и стул. Она оказывается за столом, перед ней части разделанной тушки, включая голову, а в руках у неё появляется иголка с ниткой. С бешеной скоростью она начинает шить тушку, а та тут же покрывается перьями, оживает, вскакивает на ноги и взлетает в небо, потом яркая вспышка – и курица исчезает. На столе появляется новая тушка, и так снова и снова.

Склонив голову над столом, она работает, а сверху доносится разговор. Говорят двое, явно из второй группы:

– Ну что это за цирк?

– Почему цирк – школа, самая начальная школа.

– И чему тут учат?

– Восстановлению.

– А почему так по-идиотски?

– Так они же идиоты и есть, всё сразу не бывает, себя вспомни.

– Стойте, «восстановление»... так вы... А мне авва полжизни твердил: не суди его строго, не суди, он хороший.

– Так что... всё по-вашему вышло?

– По-моему? Господи, помилуй! Ты что такое говоришь! Ну, пойдём, пойдём, не будем мешать.

Она всё это слышит, но из-за страха не может поднять голову к небу. Лишь краем глаза она видит, как на горизонте во вспышке света исчезает очередная курица или петух. Через некоторое время ей становится невозможно, она больше не смотрит, как оживают и улетают тушки, она видит только иголку и стежки. Пристально всмотревшись, как иголка прокалывает толстую, покрытую пупырышками кожу, а белая нитка стягивает края, она вдруг просыпается.

Вся покрытая холодным потом, Кимка с полчаса сидела на кровати и, ни о чём не думая, смотрела на полную, чуть ли не падающую на землю луну. Потом она легла спать. Утром всё развивалось по привычному летнему сценарию. Через сутки операция с оставшейся частью кур была повторена. Ещё через два дня вернулась из Беловодска мать. Прошло какое-то время, и однажды на своей тарелке Кимка увидела красиво поджаренное, аккуратно уложенное рядом с картофельным пюре куриное бедро. В этот раз она ела непривычно медленно. Наконец, дождавшись, когда родители выйдут из гостиной, она подняла крышку стоявшей в центре стола кастрюли с обжаренной курицей и ловко закинула туда нетронутое бедро со своей тарелки.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

После помывки посуды, как правило, следовал короткий отдых в виде лазанья по Интернету. В это время она обычно смотрела Википедию, скачивала себе на плеер музыку и аудиокниги и, заткнув уши наушниками, отправлялась либо убирать дом, либо снова на кухню, готовить обед. Пришла она к идее делать и слушать одновременно не сразу. С каждым новым летом Кимка остро ощущала, как череда домашних забот всё увеличивалась и усложнялась, поначалу это её сильно раздражало. Но со временем она приспособилась всё делать в наушниках, и русский рок, который она слушала, помогал воспринимать эти заботы спокойнее. Кимка стала слушать рок по двум причинам: во-первых, он ей просто нравился, это было её, а во-вторых, было приятно ощущать себя выше безмозглых подруг, которым было всё равно что слушать. При этом на практике «всё равно что» означало попсу и клубную музыку, в которых не было и намёка на какой-нибудь смысл. А в роке, по крайней мере, в русском, он был всегда, и, улавливая его, она внутренне возвышалась над сверстниками. Кроме того, спайка смысла и ритма, присутствующая в нём, помогала смотреть на домашние хлопоты как на вызовы, отвечая на которые она становилась сильнее, поэтому при появлении новых и неожиданных задач она не раздражалась, а закачав в «эмпэтришник» новый альбом, спокойно приступала к их решению. Объёмы прослушанного впечатляли: «Аквариум», «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Наутилус», «Агата», «Пикник», «Би-2» – да всех и не перечислишь, и, самое главное, не урывочно, а, как правило, все альбомы от начала до конца.

Но со временем в её душу начинали закрадываться разочарование и неудовлетворённость. Феерия звуков и полнота смыслов со временем улетучивались, и она осознавала, что потратила время, пусть при этом и работая, на развлечение. Разочарование было таким сильным, что себе самой она представлялась ребёнком, который расшалился настолько, что попал в полицию и теперь сидит в одиночной камере и кусает себе локти. И она волевым усилием запретила себе слушать рок, но попытка же делать домашнюю работу в тишине рухнула в одночасье – ей было скучно и нудно.

Тогда она попыталась перейти с рока на классику, из всего услышанного она выбрала Вивальди, Бетховена и Чайковского. Больше всего понравилось «Лебединое озеро». Совершенно оторвавшись от сюжета, она слушала его как сказку о гадком утёнке, вернее, как историю превращения заморыша в принца, рассказанную им самим, причём не о произошедших с ним событиях, а скорее о тех чувствах, которые он переживал во время этого внутреннего тайного чуда. Она сама себя ощущала таким утёнком. Но слушать классику запоем, так, как слушала рок, она не могла. Классика была величественным храмом, на фоне которого рок выглядел базарным рождественским вертепом. Находясь в этом храме, она отчётливо понимала, что должна здесь не развлекаться, а чему-то учиться, чему-то, безусловно, хорошему, но настолько сложному, что усвоить это в одночасье было невыносимо. А постоянно быть ленивым школьником с невыученными уроками она не могла. Кимка была взрослой и рассудительной, слушать нотации, воспринимать критику она могла, но не целый же день. Поэтому она стала совмещать рок с классикой, но эти переходы были похожи на резкие шатания из одной крайности в другую. Тогда она задала себе простой вопрос: что ей не нравится в классике. И однозначно ответила: текста, ей до ужаса не хватало текста. Но тогда, может быть, опера? Нет, только не опера. Оперу она категорически не воспринимала. И тут её осенило попробовать слушать аудиокниги.

Сначала она слушала просто известные вещи без разбору, без выяснения, кто, когда и как писал, как это связано с тем, кто писал до или после него. И главное, когда она случайно натолкнулась на лекции по истории русской литературы, она поняла, что её представление о смысле прослушанного текста чаще всего оказывается либо поверхностным, либо вообще ложным. И тогда она разработала тактику прослушивания: текст, о тексте, вокруг текста. В результате такие понятия из учебника по литературе, как классицизм, модернизм, символизм, стали для неё родными и понятными, произнося их, она знала, что, а вернее, кто за ними скрывается. Эта тактика наконец-то дала или, вернее, раскрыла то, чего ей так не хватало, то, что не могло заменить ни придумывание клипов на сюжеты песен, ни чистые переживания, возбуждаемые в ней классической музыкой. Аудиокнига давала пищу не для воображения и не для эмоций, она, как сказочный кощей, набравшийся сил от выпитой воды, оживила то, что было в ней от рождения, – рассудок.

Кимка могла сколько угодно молчать, не выражать своё мнение, даже внешне соглашаться, признать себя неправой, но она не могла не рассуждать, ничто не могло быть внутренне признано ею нормальным, если она в этом сама не убедилась. Поэтому она не верила никому и ничему – ни тому, что говорили герои книг, ни оценкам героев самим автором, ни критикам, ни даже самой себе. Более того, она проверяла всё сама, потому что самой себе не верила, она искала то, что всё в себя включает и всё себе подчиняет, что в ней же самой над нею возвышается, – ей нужна была логика.

Но вожденная ею связь событий, действий, мнений сыграла с ней злую шутку. Кимка перестала воспринимать книги как нечто простое, ей везде мерещилось второе дно – знаки, коды, шифры. Пару раз её из-за этого поднимали на смех, поэтому она старалась лишний раз не выпячиваться и помалкивать, но редко и резко выходить из тени, бросать фразу и вновь уходить в тень, наблюдая за тем, как её суждение восприняли окружающие, не предпринимая попыток отстоять его. Это ей было не нужно, она потом спокойно приходила к внутреннему решению, была ли она права или нет. Внешне же такие атаки из засады были очень эффективны, и в классе за Кимкой прочно установилась слава тайной королевы литературы. Она это знала и работала над приумножением этой славы денно и ночью. Воспоминания о каждом удачном выходе из тени она не то что прокручивала, а буквально лелеяла в своей душе. Это были одни из её тайных сокровищ. Одним из самых дорогих для неё воспоминаний была история с «Унесёнными ветром».

Быстро уяснив, что новый учитель наивен и к тому имеет в «голове пунтик», Кимкин класс пришёл к выводу, что его «нужно развести на базар». Поэтому на перемене, когда быстро выяснилось, что никто толком к уроку не готов, было принято единогласное решение поднять тему «Унесённых ветром» и позадавать ему вопросов – пусть сам с собой разговаривает, лишь бы не спрашивал. Роман прочитали человека три, но фильм посмотрела добрая половина класса – для начала разговора этого было вполне достаточно, а дальше требовалось лишь изображать неподдельный интерес и оттягивать начало опроса по теме урока. Надо было только решить, кто будет застрельщиком. Кимка, обожавшая фильм и ещё больше книгу, помалкивала. Выбрали Галку Корзун, специалистку по втиранию в доверие. Та сразу взяла поводья в свои руки и объявила, что в этом случае нужно применить нестандартную схему.

Как только учитель расположился за столом и отметил отсутствующих, Галка подняла руку.

– Корзун, ты что – отвечать? – спросил её учитель и, не дав ей ответить, с лёгким раздражением добавил: – Подожди, у меня десяток человек без оценок сидит, чуть позже.

Класс напрягся, все почувствовали, что их учитель явно не настроен проводить время в праздных беседах. Особенно зашевелились задолжники по предмету, понимая, что план провалился и отпущенное им время пошло на секунды, они судорожно стали листать учебники. Но Галка, которая что есть сил пыталась оправдать оказанное ей доверие, тоже не собиралась сдаваться. С невероятной степенью искренности в голосе она умоляюще произнесла:

– Не могу я позже, Валентин Петрович, еле урока дождалась, у меня к вам вопрос, буквально одна секунда – и я ниже травы.

– Секунда! – грозно предупредил он. – Времени в обрез!

– Я вот вчера закончила читать «Унесённых ветром», – быстро заговорила Галка, как будто изо всех сил стараясь сэкономить драгоценное время, – хорошая книга, но одно непонятно: что Скарлетт нашла в Эшли? Она такая волевая, пусть и капризная, но целостная, а Эшли – чистый слизняк, как она этого не понимает?..

Говоря это, она видела, как по лицу учителя бегают тени раздражения. Галка знала, что, с одной стороны, она влезла не туда, куда надо, но, с другой стороны, именно этого ей и хотелось: если сейчас удастся резко его переключить с негатива на позитив, то дело будет сделано. Он начнёт сеять благое и вечное, и тогда можно будет спокойно подбрасывать ему вопросы и слушать до конца урока. Проблема заключалась только в том, что она не знала, как этот переход к позитиву осуществить. И вдруг она поняла, что всё значительно проще, не нужно из себя ничего изображать, а надо свою проблему сделать его проблемой – он же умный, не она, ну и пусть думает. И она вкрадчиво добавила:

– Я думаю, что здесь всё значительно сложнее, она одержима им по какой-то причине, а вот по какой, я не могу понять. А как вы думаете, Валентин Петрович, почему она его так любит?

Тень раздражения на лице учителя осталась прежней, он уже было разжал губы, чтобы ответить. Наблюдая за ним, Кимка ясно поняла, что его раздражает не столько боязнь потерять драгоценное время – чихать ему на это хотелось, надо будет, нарисует оценки авансом, да и баста, кто из его учеников на что тянет, он уже разобрался, – сколько то, что ему сейчас придётся давать idiotский ответ на idiotский вопрос. И вдруг Кимка совершенно неожиданно для себя тихо произнесла:

– Потому что она – земля, он – воздух, то есть небо. Земля всегда смотрит вверх, видит только небо, может любить только его, но никогда не сможет с ним соединиться. Небо может смотреть только вниз, оно всё знает про неё, любит её, но может только сожалеть о том, что им никогда не быть вместе.

Оторопевшая от удивления, Галка резко обернулась и чуть ли не с жалостью в голосе произнесла:

– Гриневиц, скажи, какая сволочь тебе дала травы покурить?

Класс грохнулся от смеха. Ни один мускул на Кимкином лице не дрогнул, она сидела неподвижно. Учитель, невзирая на бедлам, воцарившийся в классной комнате, спокойно снял очки и, подышав на линзы, стал их тщательно протирать. Когда гул немного стих, Кимка уверенным голосом, не обращая внимания на происходящее, спросила:

– Я что, неправильно раскрыла логику их отношений?

– Об этом пока рано говорить. – Не поднимая глаз и не отрываясь от своего занятия, произнёс Валентин Петрович. – Где ты это вычитала?

В классе воцарилась полная тишина.

– В тексте. Даже в фильме это есть.

Учитель спрятал протирку в футляр очков и внимательно посмотрел на Кимку. Помолчав, словно взвешивая все «за» и «против», он тихо произнёс:

– Докажи.

Весь класс сел вполоборота и наблюдал, как учитель и ученица, словно теннисный шарик, через всю комнату перебрасывают друг другу какой-то им одним понятный смысл.

– Скарлетт – это земля.

Кимка говорила медленно. Она была убеждена в истинности своей идеи, пришедшей ей в голову, когда она в третий раз смотрела фильм. Идея эта состояла в том, что герои романа символизируют определённые стихии, но до целостной картины произведения в её голове было ещё далеко. Кроме этого, имелось много сцен, которые она могла бы включить в свою аргументацию, но их предстояло без всякой подготовки вспомнить. Сейчас перед её внутренним взором с сумасшедшей скоростью проносился сюжет, а она выхватывала из него необходимые ей факты и при этом держала в голове вопрос, на который она никак не могла дать себе ответ, а он с неизбежностью возникнет, когда она проговорит всё, что знает. Тогда она повиснет в воздухе, и спасти её сможет только внезапное озарение, но надежды на него у неё не было, поэтому приходилось говорить медленно, находясь в глубоко противном её натуре образе сомнамбулы.

– Скарлетт имеет ирландское происхождение, её отец, как большинство ирландцев, приехал в Америку ради земли, он прививает дочери любовь к земле. Ей приходится работать на земле, все её неблагоприятные поступки связаны с желанием приобрести землю, вся её сила для продолжения жизни берётся от земли.

Тут она чётко увидела вздымающуюся в проклятии, сжатую в кулак руку Скарлетт и внутренне затрепетала от восторга: она может объяснить одну из важнейших сцен романа.

– Даже её клятва не голодать, её проклятие небу и отречение от морали – это знак принадлежности к земле.

– А что, похоже на правду, – раздался в тишине голос Ирки Одинцовой, отличницы и первой красавицы класса, да, пожалуй, и всей школы. – Помните, в конце фильма, когда от Скарлетт уходит Батлер и она не знает, что ей делать, в её голове возникают воспоминания обо всех знакомых мужчинах, от отца до Рэтта, и все они говорят о Таре, о земле.

В классе опять на некоторое время воцарилась тишина, но в ней уже не было страха присутствующих, что среди них находится душевнобольной, с которым нужно что-то делать, а они не знают, что. Молчала и Кимка, судорожно выстраивая в голове ассоциации и в сотый раз убеждаясь, что ей либо не хватает одного звена либо она что-то перепутала. «Эшли – воздух, Батлер – огонь, Мелани – вода. Но почему с её смертью всё рассыпается, почему она завещает поддерживать отношения между всеми героями именно Скарлетт? Значит, мировой порядок не рухнет, значит, она не вода, а кто? И кто этот четвёртый, если он – вода, то он должен быть на всём протяжении сюжета».

Передышка закончилась так же внезапно, как и началась. Галка Корзун, которой, с одной стороны, было стыдно за свою реплику, но, с другой, всё

услышанное было для неё малоубедительным, вновь развернувшись к Кимке, спросила:

– Ну, хорошо, Скарлетт – это земля, не будем спрашивать, как это возможно, ладно, пусть так. А Эшли почему воздух, а не вода, он же весь такой аморфный?

– Нет, Эшли именно воздух... – Кимка хотела уже добавить: «Вода – это Мелани», но что-то в ней заёрзало, и она решила не спешить. – У него голубые, цвета неба глаза, кажется, что он слабый, но это не так, он воин, командует полком, он имеет мужество стоять перед лицом смерти, ведь смерть – это встреча с вечностью, с небом. На поле боя он в своей стихии, поэтому он вместе со всеми идёт мстить за Скарлетт и получает ранение, он не трус и не слякоть, то есть влага. Он – небо, которое надо всеми, всё видящее и понимающее, но бессильное в земных делах небо. После войны он чувствует себя павшим на землю ангелом, он не умеет ничего делать. Он умный, но бессильный.

– Рэтт Батлер, как я понимаю, огонь? – внезапно вмешался учитель.

Все уже и забыли о его существовании. Для Кимки это была последняя отсрочка.

– Да, – согласилась Кимка, – с ним всё просто. Во время разговора со Скарлетт и Эшли он прячется около камина. Именно он вывозит её из пылающей Атланты, затем уходит служить в артиллерию. Он сидит в импровизированной тюрьме, располагающейся в пожарной, Скарлетт постоянно видит в его глазах дьявольские язычки огня.

– Ну, раз пошла такая пьянка... – весело сказал уже начавший немного погуливать хорошист Ромка Крылов (Все помнили, как однажды математичка во время контрольной работы, проходя по рядам парт, пронюхав за Крыловым, воскликнула: «Рома, ты что, пьёшь самогон?» – «Вера Петровна, с чего вы взяли!» – «Да у тебя руки трясутся!»), – то нужно объяснить, почему Рэтт Батлер подходит Скарлетт О'Хара больше, чем... как его...

– Эшли Уилкс, – договорила за него Галка.

– Да тут думать нечего, – ответил за Кимку самый низкорослый парень в классе, отличник Вася Храпов.

«Думать нечего, – повторила про себя Кимка. – В этом он весь: как только у меня возникает проблема, как из пустоты появляется Вася и решает её в две минуты. Задай мне сейчас этот простой вопрос, и всё кино закончится. И ничего ему от меня не нужно. Или нужно? Нужно, только он никогда не скажет даже взглядом».

– Если в Ретте Батлере есть дьявольское начало, то он не небесный огонь, не солнечный свет, а вулканический, подземный огонь. Ну, дальше пошла эротика, я замолкаю.

По классу прошёл лёгкий смешок. Но Кимке стало страшно. Теперь Мелани и вода, никуда уже не деться. Конечно, можно это сказать, все уже в идею поверили, никто и подмены не заметит, но внутри, внутри что-то не то, внутри что-то говорит, что эта ложь исказит красоту идеи. А в чём она – эта идея – заключается? Четыре классических стихии и четыре главных героя, всё вроде правильно.

– Гриневич, ты с нами? – весело спросил учитель. – Остаётся доказать, что Мелани – это вода и, как говорят в конце игры, – партия!

Она уже собиралась произнести: «Доказательством того, что Мелани связана с водой, служит...» – как ей стало нестерпимо противно, и она как бы случайно, на одну секунду, закрыла глаза, и в тот миг, когда она их открывала, мимо неё проскользнуло лицо. Это было взвешенное и вместе с тем вполне реальное лицо, лицо женщины, которую она втайне считала своим

идеалом. «Йовович. Йовович. При чём здесь Йовович? – проскользнуло в её голове». И вдруг она поняла. Это не Йовович – это Лилу, её роль. Теперь она чётко видела стихии вокруг распластанного на алтаре женского тела.

– Нет, – тихо произнесла она, но ей показалось, что в этом её еле слышном «нет» собрался воедино рык всех оставшихся на этой земле львов. – Мелани не вода, она пятый элемент, либо эфир, либо душа, это как угодно, но не вода. Она душа общества южан, сердце Юга, она центр всех посясторонних стихий и проявление божественной любви в мире. Её смерть – это подлинный конец романа, распад всех связей между героями. Это призыв к Скарлетт преобразиться, стать вместо неё эфиром и служить всем людям так, как она служила земле. Но Скарлетт не в силах выполнить этот призыв, она слишком эгоистична. Поэтому союз любви-ревности четырёх стихий распадается. Юг гибнет уже не физически, а духовно, что намного страшнее, выжившие теряют свою природу, они становятся янки. А всё оттого, что не нашлось человека, способного отдать себя другим, наподобие того, как во время войны южане гибли за аристократическую идею. Душа мертва, идея, как зная, упала во прах, и поднять её некому.

Кимка замолчала, то, что сейчас произошло, было чудом, чудом рождения чего-то маленького, изящного и, главное, истинного. Это почувствовали все.

– Блиц, а красиво-то как... – задумчиво произнесла Галка. – Ким, классно ты всё придумала, а вода тогда кто?

В напряжённом поиске природы Мелани, ошарашенная возникновением и разгадкой образа Лилу, она совершенно забыла, что остался не соотнесённым последний, но, как ни странно, по-прежнему четвёртый элемент.

– Честно говоря, понятия не имею, – призналась Кимка, никому не видимая эпопея с Мелани её порядком вымотала.

– Ну вот, начала за здоровье, кончила за упокой, – поддразнивая Кимку, весело сказал Валентин Петрович, всё происходящее ему явно нравилось.

Потом, обратившись к классу, он произнёс:

– Ну что, господа присяжные заседатели, надо найти недостающее звено. Готовы?

– Да, да, – раздалось несколько голосов.

Класс уже торжествовал победу, литератор принял её игру.

Учитель встал и начал ходить между рядами парт.

– Так, Карпов, сформулируй то, что мы ищем, – сказал он, останавливаясь у парты Васиного соперника, тоже отличника и атлета, но без резкого перекося в своих способностях в сторону математики, как у Серёги Карпова.

Привыкнув во всём быть первым, и в спорте, и в учёбе, Серёга никак не хотел уступать Васе-математику, изо всех сил стараясь, часто не без успеха, если не превзойти, то, по крайней мере, быть с ним на равных. Но в целом победа здесь была на стороне Васи, он не просто решал задачи по схемам, он постоянно предлагал что-то оригинальное. Васька отдал Карпову все гуманитарные предметы, лидерство в классе, спорт, но в математике первенство было за ним. Особых свершений у Карпова в литературе не было, но школьную программу он выполнял, элементарные направляющие видел чётко.

– Это должен быть персонаж, действующий на всём протяжении романа, находящийся в устойчивых связях с основными героями, ну и, конечно же, в его описании должны быть знаки, символы, предметы, связанные с водой, – отчеканил Карпов.

– Принято, – одобрил рапорт отличника Валентин Петрович и вновь без конкретного адреса продолжил: – Теперь начинаем называть персонажей романа, соответствующих данным требованиям.

И тут в классе повисла тишина, ни у кого предложений не было. Кимка внимательно посмотрела на учителя и всё поняла. Да, он прекрасно знал, что его «разводят», но пошёл на это, заметив талантливого ученика, а теперь, когда всё полезное из ситуации было им извлечено, он решил покончить с балаганом. Удовлетворившись тишиной, он произнёс:

– Раз предложений нет, то Гриневич получает пять, и приступаем к уроку.

Уже на перемене, оформляя свою пятёрку, она спросила:

– Валентин Петрович, а по-вашему, кто может быть водой?

Расписавшись в дневнике, он взглянул на неё и улыбнулся:

– Красотка Сю.

– Точно! – чуть не вскрикнула Кимка. – Когда она встречается с Мелани, после того как спасла Эшли, то говорит: «Вы меня словно водой окатили». – Но, мгновенно оправившись от эйфории, она засомневалась: – Но тогда выходит, что вода – это Мелани.

– При интерпретации литературного произведения может выйти что угодно, – улыбнулся учитель. – Здесь главное не то, что задумал автор, а согласованность элементов самой интерпретации. Её красота, оригинальность, способность решить или поставить какую-нибудь проблему. Интерпретация сама по себе есть литературное произведение, и одновременно самим фактом своего существования она доказывает, что предмет интерпретации имеет художественную ценность, поскольку он порождает творческую мысль читателя или критика. Помнишь, Корзун сказала: «Красиво».

Кимка покраснела от удовольствия. Не заметив румянца на щеках ученицы, Валентин Петрович продолжил:

– Поэтому думаю, что для красоты твоей интерпретации следует признать Мелани душой, а Красотку Сю водой, так сложнее, да и плодотворнее.

– Но тогда становится непонятным смысл фразы Мелани.

– Во! – грубовато воскликнул учитель. – Во! В этом-то и заключается искусство интерпретации: нужно не просто придумать новое значение событий произведения, но и включить в своё толкование текста то, что явно ему противоречит.

– И как это сделать? – удивлённо спросила Кимка и растерянно добавила: – В данном случае.

– Ну, тебе лучше знать, это же твоя идея, – лукаво отозвался Валентин Петрович, – но я бы на твоём месте сказал, что Красотка Сю этой фразой говорит Мелани примерно следующее: «Среди всех людей ты одна узнала, кто я есть на самом деле, одна ты не стала меня презирать, одна ты поняла, что я равна им, и за это я всегда буду тебе признательна». Ну, а если коротко: «Ты верно узнала мою природу, я – вода».

– Если честно, – выдавила из себя Кимка, – как-то неубедительно. Так можно любого героя признать главным и назвать его водой.

– Не скажи, – оживился учитель. – Далеко не каждого. Смотри сама. Хотя Красотка Сю и не стоит в повествовании на первом плане, но она действует на всём протяжении романа. Она связана с другими героями теми же узлами любви и ревности, она любит Батлера и ревнует его к Скарлетт так же, как сама Скарлетт любит Эшли и ревнует его к Мелани. Подобно тому как Скарлетт-земля не способна соединиться с Эшли воздухом-небом, так и Красотка Сю – вода – не может быть вместе с Батлером-огнём. Он возбуждает в ней любовь, согревает её, как огонь нагревает воду. Но Ретт не может её любить по-настоящему, потому что ему нужно что-то преодо-

левать, что-то завоёвывать, а она, будучи доступной, убивает в нём страсть, как вода тушит огонь.

— Гм, — с интересом хмыкнула Кимка, — а женщина лёгкого поведения она потому, что вода принимает различные формы, она не принадлежит никому и всем?

— Конечно, — подтвердил учитель, — эта её, с позволения сказать, профессия — один из главных аргументов в пользу того, что она — вода.

— Спасибо, — сказала Кимка, — теперь я по-настоящему поверила. Вот только понять не могу, почему она мне сразу в глаза не бросилась? Ведь разговор с Мелани даже в фильме есть.

— А потому, что искала неправильно, — отрезал Валентин Петрович. — Я вообще удивляюсь, как ты до Мелани-души додумалась. Наверное, «Пятый элемент» любишь, — обречённо добавил он.

Кимка ошарашенно посмотрела на учителя.

— Не особо, Йовович нравится.

— Это значительно лучше. А пятого главного героя надо было искать не по признакам стихии, а по отношениям между героями, это надёжнее, а потом уже определять, к какой стихии он принадлежит. Ну ладно, давай, мне ещё сегодня кучу отчётов заполнить надо.

— До свидания, — сказала Кимка и направилась из класса, но вдруг остановилась.

— А можно ещё вопрос? — тихо спросила она.

— Ну? — отозвался Валентин Петрович, внимательно глядя в какой-то лист.

Понимая, что отвлекает учителя, Кимка робко продолжила:

— А сама Митчелл, как вы думаете, когда писала, о стихиях думала?

— Убеждён, что нет, — не отрывая взгляда от листа, ответил учитель.

— Тогда получается, что я сама всё придумала? — с печалью в голосе проговорила Кимка.

— Получается, что так... — растягивая слова и думая о чём-то своём, произнёс он и вдруг резко повернул голову к Кимке. — А тебя это расстраивает.

— Если честно, то очень, — призналась Кимка, — ведь если это всё мои выдумки, то получается, что я искажаю текст, придумываю что-то своё, а в конечном итоге лгу.

— То есть тебе нужна истина?

— Да! — почти выкрикнула Кимка.

— Нет, тебе не нужна истина, тебе нужно основание для правоты.

— А в чём разница? — удивлённо спросила она.

— В том, что первая связана с самоотречением, а вторая с самоутверждением. Тебе хочется быть правой, чтобы тебя слушали, тобой восхищались, тебе подчинялись. Истина для тебя только средство или, как это сейчас модно говорить, самореализация. Но, самореализовавшись в своей интерпретации, ты чувствуешь разочарование, потому что твой эгоизм, заложенный в ней, стал для тебя понятным. У тебя ушла почва из-под ног, ты одна, ты хочешь ухватиться за соломинку, то есть за что-то внешнее, за текст, за реальность, а этого внешнего нет.

— Правда, — согласилась Кимка. — А почему так получилось?

— Да потому, что ты хотела убить текст, а он тебе отомстил.

— Это как?!

— Да вот так! — сказал он, разворачиваясь к ней на стуле всем телом. — Ты хотела убить текст своей интерпретацией, ты хотела, чтобы твоё и только твоё толкование было верным, поэтому тебе и надо было, чтобы автор внёс

в него тот смысл, который ты увидела. А когда ты услышала, что всё не так, ты расстроилась. Ты расстроилась оттого, что текст сложнее твоих домыслов. Тебе неприятно, что загадка, живущая в нём, осталась неразгаданной. Ты любишь этот текст, поэтому он и раскрылся тебе, но ты, как все влюблённые, ревнива и поэтому хочешь уничтожить всех соперников. А текст, подлинно художественный текст, не исчерпаем, он восстаёт в своей загадочности и зовёт к себе новых интерпретаторов, и ты, вместо того, чтобы радоваться его вечной молодости, завидуешь им, своим воображаемым соперникам и боишься, что окажешься менее достойной, нежели они. Ты, словно Каин, боишься, что твоё приношение Богу останется менее совершенным, чем приношения твоих воображаемых соперников. Но ты, надо отдать тебе должное, мудрее Каина: ты решаешь убить не соперника, а самого возлюбленного и остаться навек с его телом. Как Хуана Безумная у гроба Филиппа Красивого, или как Рогожин рядом с телом Настасьи Филипповны, или как Ницше с кровавыми руками после воображаемого убийства Бога, ты знаешь, что мёртвый возлюбленный обладает одним преимуществом перед живым – он никуда не денется. А когда покойник вдруг воскрес и ушёл к другой – ты расстроилась.

— И что мне делать? – растерянно произнесла Кимка, совершенно не ожидавшая такого поворота.

— Как что? Девочка спрашивает у меня, что делать? – возмутился Валентин Петрович. – Любить так, как любит Мелани: бескорыстно, видя во всём смысл и добро.

— Кого любить? Текст?

— Конечно, ведь, только любя его по-настоящему, ты можешь позволить ему жить своей жизнью, и он обязательно ответит тебе открытием себя с какой-то неожиданной стороны.

— Так ведь всё так и было, – тихо отозвалась Кимка, а потом, спохватившись, заметила противоречие в словах учителя. – Но раз он себя мне показывает, значит, всё-таки в нём это заложено?

— Нет.

— Как нет?

— Он просто пускает к себе жить того, кто его любит. Желая породить интерпретацию, ты поселяешься в тексте со своим внутренним миром, как невеста переезжает к жениху со своим приданым. Причём приданым твоим являются не тряпки, не барахло, а твоя душа – твоя способность любить, твоё трудолюбие, твой ум, твоя целеустремлённость. Всё это ты, и вот от соединения твоих способностей и смысла, заложенного в тексте, и рождается интерпретация. Какая-то из них похожа на отца, какая-то на мать, твои стихии – явно материнская интерпретация. Но главное после порождения интерпретации – это умение понимать и любить другие интерпретации. Любя своего ребёнка, нужно любить и чужих детей и не ссориться с их родителями, выясняя, какое дитя красивее. Если же ты будешь вести себя иначе, текст выкинет тебя за свои пределы. И правильно сделает.

— Не выкинет! – убеждённо сказала Кимка и вышла из класса.



**Виктор
БРЮХОВЕЦКИЙ**

ПРЕДЗИМЬЕ

ГРОЗА

Она меня настигла за рекой.
Тревожно в темноте заржали кони.
В разрядах луг лежал как на ладони
С мольбой в глазах и тайною тоской.

Косые струи зрелого дождя
Согнули придорожные деревья,
И молнии, кромсавшие деревню,
Взорвали ночь, почти с ума сводя.

Как всё вокруг ничтожно и мало
Перед таким величием природы!
И этот луг, и кони, и село,
И я, стоящий около подводы,

Оцепенели...
Ну куда спешу!
Зачем толкаюсь, ближнего не слышу,
Не замечаю нищего, не вижу
Лица того, кому в лицо дышу!

Смотри, душа, молясь и трепеща.
Ведь нам с тобой нужна такая малость...
А молнии хлестали в край плаща,
И под ногами бездна открывалась.

-
- Виктор Васильевич Брюховецкий родился в 1945 году в г. Алейске Алтайского края. Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения в 1974 году. Работал инженером в Институте прикладной химии. Автор многих поэтических книг. Лауреат Международной Пушкинской премии. Член Союза писателей. Живёт в пос. Кузьмолово Ленинградской области.

*Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить...*

Р.М. Рильке

...Всё это так. Но если за углом
Войдёшь в толпу, как в жуткий бурелом, –
Скрещенье рук и судеб. Толчея.
И ты корявой веткою людскою
Уже горишь. Томит огонь тоскою,
Сравнимую с печалью бытия.

Но если Невский тонкою стрелой
С гранёной золочёною иглой
Отпущен с тетивы, летит в закат,
И ты причастен к этому полёту –
Ты даже не завидуешь пилоту,
Вонзающему в солнце свой снаряд,

Поскольку хорошо, и воздух чист,
И переходы охраняет свист,
И не скрипит в «Икаресе» излом,
И можно сесть к стеклу, смотреть на Думу
И думать о прекрасном – вот найду, мол...
Всё это так. Но если за углом

Отсутствует народ и тишина
Такая, что вселенная слышна,
И светит зыбким жёлтая игла,
И в царском доме зажигают свечи,
И в небесах, где воздух пахнет вечным,
Расправит ангел тяжкие крыла –

Ты повисаешь каплей, невесом!
И площади Дворцовой колесом
Раскручен, до песчинки упрощён...
Россия, Русь! Темно твоё начало...
И где-то катер взвояет у причала,
И чёрный Гоголь прошуршит плащом.

Куда спешит, несёт печаль кому?
И я, вживаясь глубже в полутьму,
Сужаю зренье и смотрю, смотрю...
И вдруг пойму сквозь темноту воронью,
Что камни дышат. Прикоснусь ладонью:
«Воистину живые...» – говорю.

О, как яростно и зримо,
Навеща мой уют,
Плещут крылья серафима,
Губы жаром обдают.

Ледяной водой умоюсь,
Грубой тканью разотрусь,
Выйду в поле, успокоюсь,
Присмотрюсь и разберусь.

Тропы влево, тропы вправо.
Те во льду, а те в огне.
Предо мной стоит отрава,
Предназначенная мне.

Дерева гремят осторожно.
Ветры стелются, скользят...
Яд стоит. И пить не можно,
И не пить никак нельзя.

Жребий тяжкий...
Боже правый!..
Не лекарство, не вино –
Жизни горькая отрава,
И замены не дано.

ПРЕДЗИМЬЕ

Октябрь сошёл. Ноябрь земли вскрыл.
Сверкает свежий пласт грачиным хромом.
И, словно ошарашенные громом,
Сто тысяч белых лебединых крыл
Бесшумно пали на крыльцо, ограду,
И старый гусь, рассыпав серебро,
В сафьяне красном, к серому наряду
Примерил лебединое перо.
Загоготал!
И, клювом полыхая,
Хватает снег и старую зовёт,
А та, крылом подрезанно махая,
Как на смотринах, перед ним идёт.
Огромный шар, позолотив предгорье,
Поджёт дома и замер у ворот...
Дымы прямы.
Декабрь валит скот
И самогоном дышит на подворье.

СЕРГЕЙ

У Сергея над крышей до неба труба,
У Сергея разорвана пулей губа,
Перебито крыло – молоток не поднять.
Но зато от плеча до плеча – не объять.

Он в здоровую руку подкову берёт –
И подкову не видно. Дивится народ,
Видя гнутый металл: ну, Серёга, каков!..
Только жизнь не подкова, хоть вся из подков.

Он медаль, что его наградила страна,
В козью ножку свернул (жидковата цена),
Вставил в ботало. Звук – не сравнится любой.
Хорошо с этим звуком корове рябой!

Ходит в стаде она, а как будто одна.
Мелодична, пестра, и слышна, и видна.
И любовно её деревенский народ
Не Пеструхой, как раньше, – Афганкой зовёт.

А Сергей улыбается битой губой,
Без руки человек, а доволен судьбой.
Вот и стрелян, и взорван, ползёт, но везёт,
И за бабу свою семерых загрызёт.

На здоровой руке, прижимая к плечу,
Он несёт её в горницу, словно свечу!
Смотрят с завистью жёны, кричат старики..
Тридцать лет мужику.
Десять лет без руки.

Уподоблюсь ворону-сычу
И тебя покличу-покричу.
Слышишь ли?!
Но ветры и метели
Замели дороги и пути..
Снег лежит, как взбитые постели,
Снег дымится – тропку не найти.
Грозы ходят,
Молнии – что плети,
Солнце светит яростней и злей.
Где тебя найду, в каком столетье,
У каких расстанных тополей?
Слышишь ли?
О, если б услышала –
Я б оставил песни и дела,
Только б ты рукою помахала,
Локотком бы только повела.

И тогда, устав от этой боли
За тебя, моя больная Русь,
Я зажгу свечу и выйду в поле
И на холм высокий поднимусь.

Будет небо чистым, звёзды – близко,
Дух степной не колыхнёт свечу,
И огонь, как отблескobelиска,
Озарит меня. И прошепчу:

«Я готов к разлуке и расплате,
До оси сносил я колесо...
Я не просто русский, я – в квадрате.
Господи, как просто это всё!

Нужно только верить, и я верил.
И любить. Как сильно я любил!
И на свой аршин страну не мерил,
И не предал я, и не убил...»

Встрепенётся птица на болоте,
Жёлтый шар оплавит бок земли,
И моё дыханье на излёте
Опадёт росой в ковыли...

Меня давно никто не ищет,
Не знают, где я, что и как.
Осенний ветер в поле свищет,
Но не рассеивает мрак.

Озёр задумчивые блюдца...
Шумит камыш, течёт вода,
Деревья горбятся и гнутся
И исчезают в никуда.

Ни добрых звёзд, ни злой кометы,
Лишь вдоль дороги кое-где
Ветрами долгими раздеты,
В осенней горькой наготе

Берёзы с чёрными ветвями,
Белея чистой корой,
Стоят неровными рядами.
И этот свет ночной порой

Тревожит нам и лечит души,
И с этой радостью всегда
Легко шагать и слушать, слушать,
Как длинно воют провода...

УМЕРШАЯ ДЕРЕВНЯ

Подворья, зверем взрытые,
Повсюду стёкла битые,
И ни дымка, ни запаха, ни голоса, ни слёз;
Работы наспех кинуты,
Ограды набок сдвинуты,
И что ни ветер – с запада, что ни пурга – всерьёз.

Такая вот идиллия.
Не плача от бессилия,
Проверю сани – ладны ли, подпругу подтяну.
Пилой кривою светится
Ломоть кривого месяца.
Всю осень сосны падали, разделаю одну.

Скрипи, рыдай, воротина!
Не погибать же, родина,
Под вихрями холодными, что ворожит зима!
Звенит кольцо, печалится,
В лесах январь кончается,
Набив снегами плотными России закрома.

Везёт лошадка дровенки,
Блестящие хреновинки
Из-под полозьев россыпью расцветчивают тьму...
Лежит сосна повалена.
Вот каторга для каина!
А я не каин, Господи, но каторгу приму.

Пила моя певучая,
Рука моя могучая,
Я чурбаны корявые катаю, как хочу.
Поскрипывают дровешки.
Гуляют волны кровушки,
И пар восходит кольцами, и горе по плечу.



**Александр
ЕГОРОВ**

МЕЧТАТЕЛИ

РОМАН

Я очень люблю последние дни апреля, когда высыхают лужи и можно ходить, не глядя под ноги. А если поднять глаза, то видишь сразу много интересных вещей: портовые краны на той стороне канала, буксиры у пристани, вагоны с углем и жёлтый автобус возле самого нашего подъезда.

У него на боку – реклама телесериала: «ПОВЕЗЁТ. Новый сезон».

Если задрать голову ещё выше, то увидишь бетонные опоры скоростной трассы, утыканной крючками фонарных столбов, и солнечные блики на стеклянных щитах. Виадук завис над нашим островом как сказочный хрустальный мост, но до него не долезть и не допрыгнуть. Даже чайки не залетают так высоко.

Хрустальный звон раздаётся в моём кармане. Это пишет Стас, мой друг:

«Ты о чём там думаешь?»

Так сразу и не ответишь, о чём я думаю. Ну вот, например, о новом сезоне на нашем острове. Для меня он семнадцатый. Для Стаса – восемнадцатый, и всё идёт к тому, что следующие полтора сезона он пропустит.

За последние лет десять мы слишком привыкли друг к другу. И всё равно без него будет тоскливо. Кроме Стаса, у меня друзей нет.

«Да так, – пишу я, – о жизни».

«Заканчивай. Ещё успеешь. Лучше пошли на пароход смотреть».

«Это правильная мысль».

Я выхожу из подъезда. Делаю музыку погромче и поднимаю воротник. Свежий ветер дует с залива, и пахнет морем. Климат

-
- Александр Альбертович Егоров родился и живёт в Петербурге. Работал на разных должностях – от водителя трамвая до главного редактора делового журнала и директора рекламного агентства. Много занимался музыкой. Начал писать прозу в 2006 году, с тех пор вышло четыре его романа («Колёса фортуны», «Пентхаус» и др.) и несколько рассказов в журналах. Победитель конкурса «Новая детская книга» издательства РОСМЭН (2014). Роман «Мечтатели» был написан в 2019 году специально для конкурса «Твой текст», посвящённого проблемам людей с инвалидностью. Автор вошёл в число лауреатов этого конкурса. Первая часть романа впервые публикуется в нашем журнале.

у нас петербургский. Как бы вам это описать, чтобы вы поняли? В куртке запарисься, без неё задубеешь. Вот такая у нас весна.

Вы уже догадались: я живу на Канонерке. Это самый суровый район Питера. От других суровых районов он отделён Морским каналом. Дальше к западу – только Финский залив и весёлый остров Кронштадт, а за ним – открытое море.

Каждый день у меня под окном проплывают корабли. Это самоходные баржи с номерами вместо имён; это балкеры и контейнеровозы – длинные, скучные грузовые посудины; наконец, это громадные белые пассажирские паромы высотой с девятиэтажный дом, под разноцветными флагами. Весной их особенно много. Одни выходят в море и плывут в Финляндию, и в Стокгольм, и в Гамбург, и в прочие неизвестные мне города. Другие идут к нам и швартуются в порту, или у «Морского фасада», или прямо у стенки на Английской набережной. Они проплывают так близко, что можно разглядеть лица людей на прогулочных палубах.

Раз в неделю ходит паром до Стокгольма. Часам к семи на нашем берегу собираются зрители – не меньше десятка, а то и больше, если вечер тёплый. Мы со Стасом бываем здесь довольно часто. Можно сказать, что у нас абонемент на все вечерние сеансы.

Пассажиры как раз выбираются из кают полюбоваться заходящим солнцем. Они фотографируют огненно-рыжее небо, виадук скоростной трассы, одинаковые серые шестнадцатипятиэтажки, мужиков с удочками и нас, когда мы провожаем их взглядами, делая вид, что нам всё равно.

Но мы только делаем вид.

Это очень странное чувство. Я попробую объяснить.

Когда ты живёшь на острове, ты не можешь не думать о море. Каждое воскресенье этот чёртов пароход наматывает твои мысли на свой винт, и в голове становится пусто и скучно. Он вытягивает кусок твоей жизни – и всякий раз обещает, что вернёт. Он уходит, а ты остаёшься ни с чем. Это всё равно как если однажды весной ты снял шапку, вынул наушники и вдруг понял, что твоя музыка продолжает играть где-то поблизости, но всё удаляется и удаляется и стихает. И тебя охватывает серый шум города.

В панике ты надеваешь наушники, но музыки больше нет.

Наверно, вы решили, что я завидую этим людям на прогулочных палубах? Это не совсем так.

Мне нравится наш остров, и этот морской ветер, и сонные буксиры, и удушливый запах солянки в тоннеле, по которому идёт автобус до центра. Мне нравится квартира на девятом этаже с видом на портовые краны. Отец говорит, что у нас депрессивный район, и здешняя недвижимость год от года только дешевеет, и этот канал уже сидит у него в печёнках. Хотелось бы знать, зачем тогда он выходит поздно вечером на балкон и даже не курит, а просто сидит на табуретке и смотрит на фонари, и на тёмную воду, и на корабли, как они идут один за другим мимо нашего дома?

Как-то раз, давно, я спросил его об этом. Он не рассердился. Усмехнулся и сказал, что больше всего любит смотреть, как жизнь проплывает мимо. «Но ведь это они плывут мимо нашей жизни», – возразил я, и тут он рассмехался и не пожелал ничего объяснять.

В те годы ещё не было скоростной дороги над нашим островом, этой странной дороги, на которую можно смотреть только снизу вверх. Потом её построили, и отец стал смеяться всё реже. И шутки у него стали несмешные.

Я бы не рассказывал об этом, но иначе вы не поймёте, почему я не люблю оставаться дома. Особенно по выходным.

– Привет, – сказал мне Стас.

Мы уселись на скамейку у остановки. Жёлтый автобус уехал, и вокруг было безлюдно. Солнце клонилось к закату. Западный ветер гнал мелкие, скучные волны с залива. Я поёжился.

– Пиво я не брал, – сказал Стас. – Или надо было взять?

– Не надо. Но спасибо за вопрос.

Он знает, что я это не люблю. Он вообще всё обо мне знает. Просто ему с некоторых пор свободно продают всякие напитки в нашем свиньячем «Пятачке». Наверно, провожают заранее.

– Повестку принесли, – проговорил Стас, глядя куда-то мимо меня. – Бросили в почтовый ящик. Она там три дня пролежала. Ну что за идиоты!

– Отец говорил, это незаконно, – сказал я. – Ты должен сам принять и расписаться.

Стас сплюнул.

– Неделя осталась, – сказал он. – В следующий понедельник на сборный пункт.

– Может, за пивом? – предложил я благородно. – У меня деньги есть.

– Да ладно, так посидим, – сказал он. – Скоро пароход притащится. Мне Кристиночка уже написала: от терминала отошёл.

Так зовут его девушку. Впрочем, она своя собственная девушка, а совсем не его. Мы учились вместе, но в последних классах она переехала на континент.

– Кристиночка плывёт в круиз? – уточнил я. – Без тебя?

Спросил и тут же пожалел об этом.

– С подругой, – отвечал Стас ровно. – У подруги бойфренд в Швеции. Вот они туда и едут. Развлечься.

Стас далеко не такой бесчувственный, каким всю жизнь хочет казаться. Ревностью никого не удивишь, но у Стаса за душой есть ещё кое-что. Я бы сказал, любовь и нежность. И то, и другое остаётся невостребованным.

Он бы, наверно, согласился продать душу дьяволу, или кому там полагается продавать душу в таких случаях, за одну хорошую любовь до гроба. Но получается, что эту душу он просто дарит.

– Крыска смешная такая, – Стас не выдерживает и улыбается. – Обещала меня сфоткать с восьмой палубы. У неё зеркалка с длинным объективом...

Тут он приглаживает волосы – тоже длинные и по-шведски светлые. Недолго им осталось. Это я о его волосах.

– Скажи честно, Денис, – говорит он, – как ты думаешь... у нас ещё может получиться?

– Почему нет, – отвечаю, – бывают же чудеса.

Денис – это я. Денис Шевченко. Я стригусь довольно коротко. Верю ли я в чудеса? Сложный вопрос. Со мной никогда не происходило ничего волшебного или необъяснимого. Я даже не влюблялся ни разу. Ну, то есть не влюблялся до такой степени, чтобы не мог это объяснить.

Лучше сказать так: я легко допускаю возможность, что однажды вся моя жизнь сумасшедшим образом поменяется. Уже который год я жду чего-то от ленивого мироздания. Можно назвать это и чудом, хотя это неточный термин.

Каждый день я думаю: «Может, это случится завтра?»

По каналу пробежал чёрный буксир. В небе заметались чайки. Там, слева, на входе в канал уже появилась высоченная остроносая белая галоша – тот самый паром.

Мы поднялись со скамьи и спустились к воде. Там было довольно грязно. Пахло илом и соляркой. Полупустой баллон из-под пива важно покачивался неподалёку от берега. Стас запустил в него камушком и попал.

– Вот так гасить мы будем шведа, – сказал он. Наверно, в ответ своим мыслям.

Ровный гул приближался. Как зачарованный, я глядел на паром. На его белоснежный нос, трубу и на окна рулевой рубки – ряд прямоугольных стёкол на уровне девятого этажа. Мне никогда не удавалось рассмотреть, кто же управляет этим судном. Издалека было ничего не разобрать, а когда паром подходил поближе, смотреть было слишком высоко.

Я незаметно сунул руку под куртку и прижал к груди. Это была странная привычка. Я никогда ни в кого не верил, но иногда мне хотелось в кого-нибудь верить. Этому кому-то я сказал бы, или поклялся, или пообещал бы одну простую вещь: когда-нибудь, а лучше – поскорее, – так я сказал бы, – я буду стоять на прогулочной палубе вот такого же парохода с девушкой, которая меня любит. Я буду греть её руки в своих ладонях. Мы проплывём мимо нашего острова, мимо каменистой косы, мимо кронштадтского терминала в открытое море и будем стоять на ветру, пока не надоест, а потом вернёмся в каюту.

Что будет дальше, я представлял очень ярко, хотя и не слишком отчётливо.

Надеюсь, мироздание само подскажет, что к чему.

Паром довольно резво плывёт мимо. Что-то я не вижу никакой Кристины среди туристов на восьмой палубе. Ах да, она же с фотоаппаратом.

На всякий случай я машу рукой в чей-то наглый объектив. Стас приглаживает волосы и глупо улыбается. Ему хочется, чтобы его любили, только и всего. Он мой лучший друг, думаю я, но не успеваю сказать это вслух.

– Дениска, ты чего тут болтаешься? – слышу я знакомый голос сзади.

Я оборачиваюсь.

– Посмотрел свой «титаник» – и домой! – говорит папа твёрдо. – Привет, Станислав. Прощайся с другом. Я его сейчас эвакуирую.

– А что случилось? – спрашиваю я.

– Ничего особенного. Мать выйдет на скайп в поддевятого. Так что сегодня у нас вечерний сеанс ностальгии... Даже не вздумай отказываться.

Стас всё ещё улыбается. Деликатно и по-дружески. Он всё про меня понимает. А мне немного не по себе. Я-то думал, что мне вполне удаётся роль взрослого циника. Но раз за разом выходит, что это не так.

Мама третий год живёт в городе Сан-Диего, Калифорния, с новым мужем по имени Джейк. Он хороший парень, я видел. А отец плохой и безответственный. Жизнь проплывает мимо, а он даже не пытается её догнать. А ещё он любит меня, такого же бездельника.

Наверное, поэтому я с ним.

* * *

В понедельник утром мне позвонили с работы.

Надо сказать, работа у меня ответственная. Я – часть международной мафии сетевых контрабандистов. Смотрите сами: мои наушники круглосуточно подключены к телефону. А телефон подключен к офису. В офисе сидит администратор Игорь Трескунов по прозвищу Скунс. Он подключён к порталу интернет-магазина, где продаётся дорогое электронное барахло неясного происхождения, растаможенное под видом детских игрушек и канцелярских принадлежностей. Время от времени люди это покупают. Тогда Игорёк

Трескунов выходит из режима ожидания, протирает очки, принимает заказ и набирает номер службы доставки. То есть – мой номер.

– Проверка связи, – услышал я. – Шевченко, ты жив? Лети срочно в офис. Есть дело на миллион.

Дело на миллион – обычная трескотня Скунса. Не стоит воспринимать это всерьёз. Однако и игнорировать не стоит. Скунс – животное вредное.

– Выезжаю, – пообещал я.

Будить отца не хотелось. Я приготовил себе яичницу. Обжигаясь, выпил кофе и надел куртку.

Скоро жёлтый автобус уже вёз меня через тёмный тоннель на Гутуевский остров, мимо таможенных складов и бывших заводских корпусов из серого кирпича. В одном из таких корпусов за высоким забором и притаилась наша фирма.

Автобус выпустил меня на свободу, взревел и пополз прочь, оставляя за собой шлейф весенней пыли. Я показал пропуск хмурому охраннику на проходной и двинулся наискосок через широченный двор.

Лужи высохли, и солнце жарило по-летнему. Я даже слегка взмок, пока поднимался по лестнице на пятый этаж.

Держать офис на пятом этаже неудобно, зато дёшево.

Игорёк Трескунов встретил меня лучезарной улыбкой, будто и вправду был рад меня видеть. Но я давно знал: он улыбается, только если пахнет наживой. У него рефлекс крокодила.

И ещё он очень болтливый. Ну, это вы уже поняли.

– Есть клиент, – сообщил Скунс. – Клиент, о котором можно только мечтать. Ты же любишь мечтать, Дениска?

– В основном о премиальных.

– Тогда сегодня твой день. Короче, звонит по городскому одна юная девица. Ей нужен смартфон. Модель не волнует. Цена не волнует. Но надо, чтобы непременно с голосовым управлением. А голос у неё, прошу отметить, такой расслабленный... – тут Игорёк изобразил жестами загадочную фигуру. – Короче, гламурная киса. Видел я таких. Им пальцами лень в экран тыкать – маникюр мешает...

Скунс даже языком прищёлкнул. Я попробовал представить, где и когда он мог видеть подобных девушек, но так и не представил.

– Так вот, я её развёл по максимуму, – продолжал он. – Предложил яблочек последней модели. Море гламура. Короче, отвезёшь, включишь, настроишь, налик заберёшь. А повезёт, так и ещё чем поможешь... ты не теряйся...

– Показывай адрес, – прервал я его.

– Смотри. Это Петроградка. Нажористое место.

Он говорил ещё что-то, но я не особо слушал. Забрал коробку и поехал.

Минут через сорок я вылез из метро на Петроградской. Передо мной по узкому проспекту двигался нескончаемый поток машин. Петроградка – тоже остров, но совсем не похожий на наш. Он крепко врос корнями в остальной город. Морем здесь и не пахнет. Зато воняет табачным дымом и пережаренным маслом из «Макдоналдса».

Я достал телефон, привычно сориентировался на местности, спустился в подземный переход и пошёл по солнечной стороне проспекта, глаза на дом с башнями и другие старинные здания, не менее причудливые. Прошёл мимо сквера, где модно одетые парни катались на досках. Прошёл мимо громадного дома с гранитными колоннами, с внутренним двором, уставленным чёрными «мерседесами» на красивых литых дисках, как в автосалоне. Глянул на карту: цель была близко.

Всё же Игорёк кое в чём ошибся. В доме нашей клиентки не было ни подземной парковки, ни прозрачного лифта. Вместо всего этого я увидел обшарпанный подъезд с облетевшей штукатуркой и высокими гранитными ступеньками, чтоб труднее было входить.

Отворив тяжёлую старинную дверь, покрытую миллионом слоёв грязно-коричневой краски, я задержался перед другой – обычной, железной. Набрал две цифры на домофоне.

Прошла минута или две, прежде чем мне ответили. То, что я услышал из динамика, меня слегка озадачило:

– Алло? – раздалось оттуда.

Я вспомнил, о чём говорил Трескунов.

Юная девица с расслабленным голосом. Гламурная киса. Слово-то какое мерзкое...

– Это курьер, – сказал я в домофон. – Привёз вам заказ.

– Прошу прощения, – отозвалась юная девица, – я не ждала вас так скоро.

– Может, я не вовремя? – уточнил я не без сарказма.

– А сколько сейчас времени?

«Хьюстон, у нас проблемы», – решил я. Вслух же сказал:

– Полпервого. Вы дверь-то откроете?

– Сейчас, сейчас, – голос стал слышен хуже, будто вздорная девица отвлеклась на покраску ногтей. – Сейчас. Всё время теряю кнопку.

«Что за...» – успел подумать я, но тут коротко пропищал сигнал, и дверь подалась.

Этажи в этом доме были вдвое выше обычных, а лестничные пролёты – такие широкие, что по ним можно было пронести «Мерседес» средних размеров. Стоит ли говорить, что нужная квартира оказалась на последнем этаже? Я в очередной раз пожалел, что надел утром куртку, но тут лестница наконец кончилась. Я оказался у двери. Дверь была приоткрыта. За дверью никого не было.

«Что за...» – подумал я вторично.

В прихожей пахло старой одеждой и чем-то приторно-сладким, как если бы когда-то давно здесь разбили банку с вареньем. Огромный старинный шкаф громоздился справа от двери, и первое, что я сделал в этой квартире, это приложился к нему боком. Шкаф даже не дрогнул.

– Проходите налево, – произнёс знакомый голос.

– Где у вас свет включается? – спросил я.

– Ах, да. Посмотрите впереди, на стене.

Сделав несколько шагов в полутьме, я ощупал стену перед собой – ту самую, на которой у нормальных людей висит зеркало – и отыскал выключатель. Жёлтый шар под потолком коротко мигнул и засветился болезненно-ярким светом. Я увидел отслоившиеся обои и – вместо зеркала – картину на стене. Картина была непростая: она представляла собой медный лист, на котором кто-то не слишком умело отчеканил голую женщину с неестественно длинными ногами. Эти ноги она сложила наподобие ножниц, а сама манерно откинула голову. Кажется, она сидела на песке у самого моря. Заходящее медное солнце было похоже на половинку блина.

Больше я ничего не рассмотрел, потому что лампочка вдруг вспыхнула и погасла.

– Прошу вас снять обувь, – снова раздался голос. – Мама очень ругается, если в дом приносят грязь.

Я снял кеды и поставил в сторонке, хотя тут же понял, что на обратном пути я их не найду.

Осторожно ступая по скрипучим половицам, я пошёл в ту сторону, откуда доносился голос.

Девушка сидела за столом, застеленным белой скатертью, как на известной картине Серова. В высоком окне за её спиной виднелись верхушки деревьев. Солнце светило мне в лицо, и я старался смотреть в сторону. Вдоль стены были расставлены книжные шкафы, набитые потрёпанными книгами. Ещё там висели часы с маятником, похожие на большой застеклённый скворечник. Часы мирно тикали. Я только сейчас понял, как тихо в этом доме.

Девушка первой нарушила молчание:

– Присаживайтесь. Вам не холодно в носках?

– Они тёплые, – соврал я.

– Только не посадите занозу. Паркет очень старый.

Я уже ничему не удивлялся. Я рассматривал её платье. Домашнее, ситцевое, в горошек. Длинные волосы она небрежно спрятала под заколку.

На меня она не смотрела. Так и сидела, опустив глаза. Ей было лет восемнадцать, не больше. И ещё она была очень симпатичная. Я давно не видел таких симпатичных девушек... так близко.

Может быть, поэтому я сказал максимально сухо:

– Я привёз ваш заказ. Оплата наличными.

Она расцепила пальцы. В ладошках у неё были зажаты деньги. Несколько пятитысячных бумажек, свёрнутых едва ли не в трубочку. Она разгладила деньги на столе.

– Вот, – сказала она. – Этого должно хватить.

Я смотрел не отрываясь на её пальцы. И ещё сам не понимал, почему. Потом протянул руку, чтобы пересчитать деньги – но тут случилось странное. Одним неловким движением она легонько прижала мою руку к столу, словно хотела поймать. Но вместо этого просто провела подушечками пальцев по тыльной стороне моей ладони. Тогда я понял.

Моя рука так и осталась лежать на пятитысячных бумажках, будто её выключили.

– Вы... плохо видите? – спросил я.

– Я практически ничего не вижу. Уже семь лет.

Она даже не изменилась в лице. Только подняла глаза на меня. Глаза у неё были тёмные, большие, но – как бы объяснить? – слишком отстранённые. В них не было жизни. Только усталость.

– Это называется «дистрофия сетчатки», – сказала эта девчонка. – Я ещё различаю кое-что... свет и тень, силуэты предметов... Ваш силуэт тоже вижу. На большее и не рассчитывайте.

– Теперь понятно, – пробормотал я.

– Мне не нужно понимание. Извините. Мне нужен только мой заказ.

– Ах, да...

Я достал коробку. Не удержался и спросил:

– Если не секрет, зачем вам такой телефон? То есть, я хотел сказать... почему именно такой?

– Мне в общем всё равно, – призналась девушка. – Ваш менеджер предложил. Я в этом не разбираюсь. Мне нужно, чтобы он включался по голосу. И ещё... чтобы я могла диктовать ему... что-нибудь...

– Что диктовать? – не понял я.

– Ну... свои мысли. И чтобы он мог их записывать с моих слов в виде текста. Я, знаете ли, мечтаю написать настоящую книгу... Я понимаю, звучит смешно... но больше мне всё равно заняться нечем.

- Она очень мило улыбнулась. Всё-таки сволоочь этот Скунс, подумал я.
- И почему-то спросил – очень вежливо:
- Про что же будет книга?
 - Девушка ещё больше смутилась.
 - Вы не смейтесь. Это такое фэнтези. Для девочек. О том, как жила одна принцесса... и у неё в замке был огромный старинный шкаф...
 - Я потёр бок.
 - В детстве она любила там прятаться от всех. И вот однажды она обнаружила, что это не просто шкаф, а дверь в другой мир...
 - Портал, – подсказал я.
 - Вот именно... И тогда она попадала на волшебный остров Мечтания... Так он назывался. Принцесса часто гуляла там, потом возвращалась.
 - Остров Мечтания? А чем она там занималась, на этом острове?
 - Я не знаю. Ещё не придумала. Там должны быть львы, единороги... драконы...
 - Надо придумать какую-то историю. Иначе непонятно, с чего её туда так тянуло.
 - Её не тянуло. Просто она... могла там видеть. В своём мире она была незрячей.
 - Я вздохнул.
 - Я уже решила, что конец будет хороший, – сказала она. – Появляется принц на белом коне, целует принцессу, и она исцеляется... Осталось написать всё остальное.
 - Может, лучше сразу про принца написать? Чего ждать-то?
 - Вот видите, и вам смешно, – сказала она. – Не надо было вам рассказывать. Я чувствую себя глупо.
 - Почему глупо? Совсем наоборот.
 - Просто вы меня жалеете. Меня все жалеют. Даже врачи.
 - Почему же, – сказал я не очень-то искренне. – Наверно, у вас получится интересная книга. Можно ещё сделать аудиовариант...
 - Тогда, может быть, я поскорее заберу телефон? – перебила она. – Мама скоро вернётся. Боюсь, она будет недовольна. Она не знает, что у меня есть деньги.
 - А кто ваша мама?
 - Она учитель. Учитель русского и литературы. Правда, уже на пенсии. Ей приходится подрабатывать, мы же вдвоём живём... Но она старается вернуться пораньше, чтобы я не сидела дома одна... В час дня должна прийти.
 - В эту минуту часы на стене негромко захрипели и как-то очень меланхолично пробили один раз: «бим-бом».
 - Они отстают, – заметил я.
 - Я знаю. Им лет сто. У нас всё очень старое.
 - Вы сможете подписать счёт? – спросил я. – Вот тут... и вот тут.
 - Мне пришлось взять её руку в свою, чтобы она смогла расписаться. Я ещё никогда не проделывал таких манипуляций с клиентами. Это было... очень необычно.
 - Спасибо вам, – сказала она. – Спасибо, что не смеялись. Я так волновалась, нагородила всякой ерунды... не удивляйтесь. К нам ведь даже гости никогда не ходят.
 - Я заметил, что она и вправду слегка покраснела от волнения.
 - Я... я могу приехать завтра, – сказал я. – Вам будет сложно разобраться с настройками...

Солнце заливало комнату, и было видно, как в воздухе летает пыль. Эта девчонка смотрела – да, я так и оставляю это слово – смотрела прямо на меня. И смущённо улыбалась.

– Да, мне будет трудно, – сказала она. – Если... вас не затруднит...

В прихожей коротко пикнул сигнал домофона.

– Это мама, – сказала девушка, изменившись в лице. – Вам лучше уйти. Скорее, пожалуйста.

Честно говоря, я и сам хотел избежать лишних вопросов. Не забыв прибрать деньги, я выскочил в тёмную прихожую. Лампочка не горела. Я нащупал куртку и поскорее надел. Согнулся и принялся шарить по полу. Нашёл один кед, а второй не нашёл.

Тут я услышал, как в замке наружной двери поворачивается ключ.

– Ч-чёрт, – прошептал я.

Наугад вытянул руку, схватил второй кед и вторично врезался в тёмный шкаф – на этот раз левым боком. Этим самым левым боком я ощутил, что из дверцы шкафа торчит металлический ключик. Я взялся за него, отворил дверцу шкафа и нырнул внутрь в тот самый момент, когда входная дверь распахнулась.

Шкаф был огромен. Вместе со своими кедами я затаился в самой глубине, между древней колючей шубой и зимним пальто.

– Дочка, это я, – послышался голос. – У нас всё в порядке?

– Всё хорошо, мама.

Шаги послышались в стороне. Щёлкнул бесполезный выключатель. Ещё раз и ещё.

– Ты знаешь, дочь, у нас перегорела лампочка! Хорошая советская лампочка! Неужели теперь придётся покупать эту современную дрянь?

Голос у этой учительницы был как у всех старых училок – и даже хуже. Кажется, ей было всё равно, слушают её или нет.

Выходить мне совершенно не хотелось.

– Новые лампочки более экономичные, мама, – донеслось из комнаты.

Половицы проскрипели рядом со мной. Кажется, мать снимала уличный плащ,

– В новых лампочках масса вредных веществ. Они загрязняют окружающую среду. Кстати, почему у нас открыт шкаф? Я помню, что он был заперт. Я лично захлопнула дверцу перед уходом.

Я замер. Шубы и пальто зашевелились, и в шкафу стало теснее. Плащ повис прямо перед моим носом. Я мало знаю о вредных веществах, но в этом шкафу воняло какой-то адской химией. Больше всего на свете мне хотелось чихнуть.

– Шкаф открыт потому, что я проветривала твою шубу, – сообщила девчонка из комнаты, и я удивился и обрадовался. – Хорошо бы упрятать её в полиэтиленовый мешок. Зима-то кончилась.

– Ты у меня помощница, – успокоилась мать. – Может быть, займёмся прямо сейчас, пока не забыли?

Я перестал дышать.

– Нет, мама, – сказала девчонка. – Сделаем это после обеда. Очень хочется кушать.

– Хорошо, – ответила учительница. – Только перестань говорить слово «кушать». Это не слишком культурно, когда имеешь в виду себя. Надо говорить: «Я хочу есть!»

Тут она с недюжинной силой захлопнула дверцу шкафа. А потом повернула ключик в замке.

От неожиданности я всё же чихнул – прямо в этот вонючий плащ. Учительница ничего не заметила. Продолжая что-то говорить, она проследовала вдаль по коридору – на кухню, понял я.

Несколько минут я сидел в тесноте, темноте и духоте. Потом толкнул дверь плечом. Дверь не поддавалась.

Я нахмурился.

Наверно, нужно было просто позвонить. Прямо из шкафа. Но тогда у девушки возникли бы серьёзные неприятности. А мне не хотелось, чтобы её вздорная мамаша учинила ей допрос.

С другой стороны, разве это мои проблемы? Она даже не сказала, как её зовут. Или я не спросил?

Мне было жарко. В ушах шумело. Перед глазами вертелись какие-то оранжевые круги. Наверно, химия уже действовала.

Я достал телефон и включил фонарик. Темнота обрела форму: оказывается, я удачно поместился между кошмарной бурой шубой (в ней хорошо впадать в спячку, подумал я) и длинным пальто из прошлого века. Над моей головой на длинной деревянной штанге висели пустые деревянные плечики, похожие на чьи-то хорошо просушенные рёбра. Я осветил фонариком в глубину шкафа и рассмотрел стенку из тёмных, плотно пригнанных друг к другу дощечек. Этому шкафу было, наверно, лет сто.

Я протянул руку и упёрся в стену. Нет, выход в другой мир не хотел открываться.

Зато дверца шкафа с лёгким скрипом распахнулась.

– Вы здесь? – вполголоса спросила эта девчонка. – Выходите... только тихо...

Я не заставил себя долго упрашивать.

– Вы уже поняли, – сказала она негромко, – это не портал. Просто старый душный шкаф. И из меня принцессы не вышло.

Я стоял в полутьме на холодном полу и смотрел на неё. Я силился понять, шутит она или говорит серьёзно.

– А теперь идите, – сказала она.

Я пошевелил пальцами ног – в носках.

– Кеды там остались.

Она приоткрыла дверцу, нагнулась и извлекла мои кеды – оба сразу. Я поскорее взял их в руки, боясь снова потерять. А она вдруг снова задержала мою руку в своей. И легонько провела пальцами вверх, до запястья. Это было приятно.

– Всё равно спасибо вам, – сказала она. – Страшно даже представить, что было бы, если...

Вдалеке хлопнула дверь, и послышался голос её матери – непривычно ласковый:

– Танечка! Иди уже мыть руки и обедать!

– Меня зовут, – сказала Таня.

– А меня зовут... Денис. Денис Шевченко.

– Очень приятно... Только поспешите. Если я не отзываюсь, мама приходит за мной. Она очень беспокоится. Я открою вам дверь, вы сами не справитесь с этим замком.

Вот так, в носках и с кедами под мышкой, я стоял на залитой солнцем лестничной площадке, на холодных кафельных плитках. Плитки были старинные, белые, разделённые по углам крохотными синими ромбиками.

На часах было всего лишь полвторого. Довольно много событий уместилось в шестьдесят минут, подумал я.

В задумчивости достал из кармана деньги. Пересчитал. Спрятал получше. Спустился на пролёт ниже, уселся на высокий холодный каменный подоконник и принялся зашнуровывать кеды. Зашнуровал, спрыгнул на пол и пошёл вниз по широченной лестнице, все ускоряясь. И последний этаж пробежал уже вприпрыжку.

Теперь отвезти деньги в офис – и обратно на остров.

* * *

– То есть ты даже её не сфоткал? – спросил Стас.
– Не до того было.
– Да, я понимаю... то есть не понимаю, конечно... Говоришь, она красивая?
– Ничего я не говорю...
– Если честно, я завидую. Настоящая романтика. Со мной такого никогда не случилось.

Я покачал головой.

– Ничего и не случилось. Она меня даже не видела. И вряд ли увидит.

– Это неважно, – сказал Стас. – Бывает любовь и без первого взгляда. Просто любовь, и всё.

Я хотел возразить. Но почему-то не решился.

Когда я пришёл домой, отец сидел на диване и смотрел новости. Впрочем, я знал, что ему всё равно что смотреть. Он просто убивает время всеми доступными способами, и этот ещё из самых безвредных.

– Привет, – сказал я.

Отец улыбнулся.

– У тебя странный вид, Дениска, – сказал он, прищурившись. – Может быть, ты влюбился?

«Да что же это такое сегодня!» – подумал я. А вслух ответил:

– Если бы я влюбился, меня бы здесь не было. По-моему, это логично.

Отец не поверил.

– Даже смертельно влюблённый мужчина не сможет отрицать пельмени на кухне, – сказал он. – Любовь, знаешь ли, приходит и уходит. А кушать хочется всегда.

Я вынужден был с ним согласиться.

– Да, я пойду поем, папа, – сказал я. – А кстати, ты согласен, что про себя самого нельзя говорить «кушаю»?

– Про себя – нельзя. Про меня – запросто, – отозвался отец.

– То есть слова «кушаю» не существует? Но ведь оно есть, раз я его говорю.

– Ты чёртов софист. Неужели вас на работе учат нейролингвистическому программированию?

– Ещё и не тому учат. Кстати о работе. Скажи мне одну вещь, и я уйду: когда девушка держит тебя за руку... вот так... что она хочет этим сказать?

– Хочет проверить твой пульс – учащённый или нет. Я же говорю, ты влюбился. Срочно съешь что-нибудь.

Мне стало смешно. Отец, как всегда, был прав.

– Я всё понял, папа, – сказал я, улыбаясь. – Пойду приму белков и углеводов. Завтра буду в порядке.

Ночью, лежа в постели, я попробовал вспомнить Танькино лицо. Вспомнил только, как она улыбалась, а больше и ничего. Если я встречу её на улице, то могу и не узнать, подумал я. Разве можно узнать человека по улыбке?

Хотя почему нет. Можно. Если, например, ты в него влюбился. Совсем неожиданно и без объяснений.

Интересно, думал я, что она там пишет в своей книге?

* * *

Принцессу разбудил бой часов на башне.

Так всегда бывало по утрам. Тяжёлый, однообразный звон проникал сквозь окна спальни – стрельчатые, с цветными стёклами в свинцовых рамах. В ту же минуту первый солнечный луч заглядывал в комнату, и пылинки принимались плясать над широкой кроватью.

– Доброе утро, Хлоя, – услышала принцесса своё имя и ответила с улыбкой:

– Доброе утро, мама.

Королева приблизилась. Присела рядом. Предложила дочери миску с тёплой водой – умыться.

– Как тебе спалось, моя дорогая? – осведомилась она. – У тебя усталый вид.

– Спасибо, мама. Превосходно. Я не устаю от сновидений. Но это гадкое солнце светит прямо в глаза.

– Если хочешь, я прикажу занавесить окна.

– Не нужно. Боюсь, так будет ещё грустнее.

– Не грусти. Мне больно, когда ты грустишь.

С этими словами королева погладила склонённую голову дочери. Поцеловала её в лоб.

– Любовь моя, – сказала она.

Принцесса робко улыбнулась. Тогда королева помогла ей скинуть рубашку и примерить новое платье, которое она сшила собственноручно из тонкого льняного полотна. Пока дочь одевалась, зябко поёживаясь, мать помимо воли оглядела её с ног до головы. «Бедная малютка, – думала она. – Ведь это её шестнадцатая весна, даже самой не верится – уже шестнадцатая. Бедняжка расцветает с каждым днём, как нежная роза в заброшенном саду. Она даже не знает, как она прекрасна. И сказать некому».

– Платье тебе впору, – оценила королева. – Повернись... кажется, я забыла вынуть булавку...

– Спасибо, мама. Булавка добавила бы пикантности. Особенно если на неё сесть.

– Как я люблю твои шутки... Тебе нужно их записывать. Получится весёлая книга.

– Не желаю никого веселить. Впрочем, мне скоро сделают дощечки для письма. Такие небольшие восковые таблички. Я буду вычерчивать на них буквы. А если писать крупно, я смогу даже читать.

– Интересно. Кто же придумал такое чудо?

Принцесса поздно поняла, что проговорилась.

– Не сердись, мама, – сказала она. – Это один мой друг... из деревни... если помнишь, в детстве я сама научила его читать и писать.

– Уж не тот ли пастушок Дафнис, олух царя небесного?

– Да, мама, он.

Королева с трудом скрыла своё раздражение.

– Слов нет, полезное знакомство. Третьего дня я встретила его на кухне. Он с аппетитом уплетал наш копчёный окорок... даже за ушами трещало... Кстати, чего бы тебе хотелось на завтрак?

- Мне всё равно, мама. Я с удовольствием скушаю всё, что мне предложат. Тут королева не смогла сдержаться и прочла принцессе нотацию:
- Ты же знаешь, милая, как это неприлично – говорить «кушаю» о себе. Так говорят вилланы, когда хотят казаться господами.
- Простые счастливые люди, – заметила дочка. – Говорят как хотят, ходят где пожелают.
- Вот и ходили бы подальше от нас. У простолюдинов и сеньоров разные дороги. Пусть наш дом и беден, но всё же это королевский замок.
- Да, мама. Воистину так. Если позволишь, я погуляю одна, пока не накрыли на стол.
- Конечно, дочка. Это даже полезно в твоём возрасте.
- Говоришь ли ты о прогулках или об одиночестве? – не удержалась принцесса, но тут же опустила ресницы. – Прости, мама. Я не хотела тебя обидеть.

Она погладила руку королевы. Та рассеянно сжала её пальцы. По её лицу было трудно понять, о чём она думает. Впрочем, принцесса и не видела её лица.

– Жду тебя к завтраку через полчаса, – наконец сказала королева. – Но прошу тебя не выходить во двор. Не заставляй меня высылать на поиски всю прислугу, как в прошлый раз.

– Но и ты, мама, не следи за мной. Я всё равно услышу.

Замок был не бедным – он был нищим. Только эти каменные стены, пожалуй, и напоминали о королевском величии. Все земли вокруг давно были отданы соседям за долги и вилланам – на откуп. Получалось, что теперь крестьяне терпели бывших господ лишь из милости, да ещё в память о короле-отце. Старик Ричард не отличался львиным сердцем, и премудрый Господь призвал его к себе ровно в тот день, когда он устроил пир по случаю десятилетия дочери Хлои. Ричард отбыл в мир иной не с мечом в руке, но с кубком, прямо во время заздравной речи. Злые языки уверяли, что оттого-то дочка и стала вскоре слепнуть.

Поскольку наследника-мальчика у Ричарда не было, окрестные короли слетелись как вороны и поделили его владения по справедливости. Даже старинная мебель из замка – та, что подороже – была забрана в счёт долгов и вывезена в различных направлениях. Королевский трон из шарантского дуба с изысканной резьбой, мягкие кресла, обитые телячьей кожей, удивительный круглый стол, как у приснопамятного Артура, но поменьше – всё забрали соседи.

От былой роскоши остался только чёрный дубовый шкаф высотой в полтора человеческих роста. Он громоздился в тёмном углу нижнего яруса башни едва ли не с того дня, когда замок покинул последний каменщик. Про этот шкаф говорили разное. Уверяли, что в нём хранится старая горностаевая мантия Ричарда Первого, изрядно побитая молью, а сверх того – платье золотой парчи цены немалой (хотя никто ни мантии, ни платья своими глазами не видел). Говорили также, что непосредственно в шкафу начинается подземный ход, ведущий за стены замка к самой реке. Но свидетелей опять-таки не находилось. Наконец, иные мечтатели уверяли, что шкаф на самом деле вовсе и не шкаф, а дверь в давно потерянный мир, в Эдемский сад, совсем такой, каким он был в первые дни творения – ни больше ни меньше. И что такие двери и по сей день сохранились кое-где на земле, но доступны лишь избранным.

Занятно было вот что: иные гости, посещая вдову по долговым тяжбам, не раз проходили в шаге от шкафа – но словно бы его не замечали. Так

и стоял он в стороне от людских глаз, запёртый на замок, а ключа никто не видел уже много лет.

Принцесса Хлоя не без осторожности присела на массивный дубовый подоконник. В узкой нише под ним нащупала спрятанный там ключ кованого железа размером с пол-ладони. Ещё раз прислушалась: не прячется ли кто за дверью – и, укрыв ключ в рукаве, покинула спальню.

Казалось, в своей вечной темноте она видит путеводный свет – так легко и уверенно находила она дорогу в коридорах замка. Понятно, что эта лёгкость была следствием привычки. За пределами дома принцесса Хлоя становилась несчастной слепой девушкой, на свою беду, слишком привлекательной, чтобы без опаски гулять в одиночестве. О природе этой опасности Хлоя знала лишь понаслышке, однако старалась не искушать судьбу. Как уже говорилось, в помещениях замка она чувствовала себя как рыба в воде, пусть это сравнение и покажется читателю несколько расплывчатым.

Итак, принцесса вооружилась ключом и отправилась прочь из спальни. Если бы кто-то проследил за нею сейчас, то сразу понял бы, куда она идёт. Спустившись по винтовой лестнице в галерею, она остановилась перед старым шкафом.

Помедлив, вставила ключ в замочную скважину.

Ключ повернулся с неожиданной лёгкостью. Раздался тихий звон, как если бы серебряные молоточки пробежались по бронзовым пластинам, и широкие двери – словно сами по себе – отворились.

В шкафу было темно и пусто. Сладко пахло сандаловым деревом. Должно быть, принцесса и не ожидала ничего там найти. Ловко и уверенно, как если бы делала это не впервые, она вытащила ключ из замка, шагнула внутрь (не забыв приподнять краешек платья) и неслышно прикрыла за собой двери.

Тьма темнее самой чёрной ночи охватила её. Но, как мы знаем, принцесса Хлоя не боялась темноты. Сжимая ключ в руке, она терпеливо ждала.

И чудо случилось: в задней стенке шкафа, которой полагалось бы вплотную прижиматься к сплошной каменной кладке башни, вдруг возникло крохотное отверстие – и ослепительный луч света ввинтился оттуда и прорезал темноту. Тогда-то принцесса и улыбнулась в первый раз этим утром. Протянула руку с ключом точно туда, откуда шёл свет.

За дверью открылся удивительный вид, непривычный для здешних мест. Там было много солнца и моря; был пустынный берег и пальмы; ленивые волны с шумом накатывались и отступали, пузырясь в полосе прибоя; на песчаной отмели сохла перевернутая лодка. За спиной же зрителя (если бы он догадался оглянуться) тянулись горные склоны, поросшие буйным лесом, а на вершине самой высокой горы скорее угадывалась, чем виднелась белая колоннада прекрасного дворца.

Это был Остров Мечтания.

Вы уже поняли: мы не в силах описать даже и близко то, что увидела в этой волшебной стране принцесса Хлоя, когда к ней вернулось зрение. Мы только знаем, что она ещё долго стояла на пороге дивного мира, не решаясь сделать шаг.

Она смотрела вокруг и не могла наглядеться. Только прикрывала глаза от солнца ладошкой, чтобы снова не ослепнуть. Узнавала знакомые места – и не могла их узнать.

Наконец она решилась. Скинула домашние туфли и прошла несколько шагов по тёплому песку. Оглянулась: никакой двери за её спиной больше не было.

Принцесса снова улыбнулась. Решительно хлопнула в ладоши.

– Сириус! – позвала она.

* * *

Утром я стоял возле дома вчерашней клиентки (теперь у неё было имя: Таня). В двадцать первый раз нажимал кнопки домофона. После двух минут натужного писка тот отключался, и приходилось набирать номер снова. Всё впусую.

Время от времени я набирал городской номер, записанный на моей бумажке. Никто не брал трубку.

Наконец железная дверь подъезда со скрипом отворилась. Пенсионер с палкой и тележкой на колёсиках выглянул оттуда, неприязненно оглядел меня и прошёл мимо. У него были длинные, седые, всклокоченные волосы, как у безумного профессора из голливудских фильмов. Боком он спустился с гранитной ступеньки, подхватил тележку (я придержал ему дверь) и пошёл прочь, стуча палкой.

Но я уже проник внутрь.

В подъезде было тихо и прохладно. Стараясь не спешить, поднялся на последний этаж. Моё сердце стучало ровно и даже не дало ни единого сбоя, когда я увидел, что дверь Танькиной квартиры приоткрыта.

«Звонить или нет?» – подумал я – и звонить не стал. Просто вошёл.

К удивительным старинным запахам прихожей добавился запах горелого воска, как в церкви. Здесь было так же темно, как и вчера, если не темнее. Я задумался: конечно, в квартире кто-то был. Кто-то ведь отпер дверь. Кто-то был здесь, и (я прислушался) этот кто-то был совсем рядом. Только боялся в этом признаться.

– Таня, – позвал я негромко.

От тёмной стены тёмного шкафа отделилась тёмная фигура.

– Вы приехали, – сказала она Танькиным голосом. – Я держала дверь открытой.

– Почему?

– У нас отключилось электричество. Ничего не работает, даже звонок. Вчера мама залезла на стремянку, чтобы поменять лампочку, потом что-то щёлкнуло, и всё отключилось.

– Вчера-а?

– Вчера вечером. Мы ужинали при свечах. Должно быть, со стороны это выглядело красиво. Но потом потёк холодильник, и пришлось всю ночь вытирать лужи... Утром мама пошла на работу, а я приоткрыла дверь – думала, а вдруг вы придёте...

Я слушал её и даже не знал, чего мне хочется больше: сердиться или смеяться. Мне ещё никогда не приходилось видеть таких удивительных девушек. Я не знал, как себя с ними вести. Я рассмеялся. Она отступила назад.

– Я сама знаю, что это смешно, – сказала она. – Но вы не смейтесь. Моя мама уже пожилая, ей трудно забираться на стремянку... а я... я же не могу ей помочь.

В это мгновение мне стало ужасно стыдно.

– А ещё я подумала, что вот если вы не придёте, это будет самое смешное, что со мной было за всю жизнь: сидеть всё утро с открытой дверью и ждать... Смешно, правда?

– Но я же вернулся, – сказал я виновато.

Кажется, Таня улыбнулась в темноте.

– Значит, я просто вела себя глупо, – сказала она. – Со мной такое случается.

– Со мной тоже, – признал я.

– Теперь всё прошло. Я больше не буду жаловаться. Только холодильник... такая мерзкая вещь. Кажется, он до сих пор течёт. Хотя и пустой.

– Кстати, где у вас электрический щиток? – спросил я.

Через минуту автомат на щитке был включён (было слышно, как на кухне проснулся и ровно зарокотал холодильник). Новая лампочка отыскалась на кухне и заняла своё место под потолком. Когда стало светло, я рассмотрел медную чеканку на стене и заметил, что девушка у моря кое в чём похожа на Таньку. Хотя по возрасту годилась ей в матери: картина вся потемнела от времени.

Таня как будто догадалась, куда я смотрю.

– Это старая советская чеканка, – пояснила она. – Не знаю, зачем её купили. В детстве я её потихоньку снимала, царапала, стучала по ней пальцами – она такая... приятная. Выпуклая. Я имею в виду картину, а не эту тётку... – Тут Таня слегка смутилась, и это показалось мне довольно милым. – Мама всё равно сердилась. Но потом, когда я стала... хуже видеть... она разрешила мне трогать что угодно. Но это было уже неинтересно.

Украдкой я поковырял картину ногтем.

– Оставьте её, – улыбнулась Танька. – Давайте лучше займёмся настройками. Да, и не забудьте снять обувь!

Я не буду долго рассказывать о своей работе, это неинтересно. Скажу только, что мы подключились к сети довольно быстро. Для пробы звонили друг другу. Таня гладила экранчик пальцами и так радостно улыбалась, что мне тоже стало приятно. Она почти сразу научилась работать с голосовым помощником. Чтобы привыкнуть, мы записывали разные мысли и потом заставляли систему воспроизводить их вслух. Когда автоматический голос зачитывал текст, мы, как говорится, покатывались со смеху. Я забыл сказать: всё это время Таня сидела на диване (весьма ветхом, как и всё в этой квартире), а я в одних носках разгуливал по комнате, иногда подсаживаясь рядом, чтобы помочь. Тогда она брала меня за руку, чтобы не потерять, и это было приятнее всего. Незаметно летело время, и вот что я вам скажу: это время не умирало, как всегда бывало раньше, а как будто рождалось из ничего прямо в этой комнате. И мне очень хотелось, чтобы его родилось как можно больше.

Потом часы на стене, поскрипев, отбили двенадцать, а потом на Петропавловке громыхнула полуденная пушка, и за окном вороны взлетели с деревьев и, немного покружив, расселись снова.

– Мама скоро вернётся, – сказала тогда Таня. – У неё сегодня всего три урока. Я очень рада, что вы пришли... Денис.

Так она впервые назвала моё имя.

– Я тоже рад, Таня, – ответил я.

– Мама говорит, что мне нужны друзья... Только у меня нет друзей. И подруг тоже. Как бы это сказать... они есть, но мы давно с ними не встречались... я ведь в основном училась дома, и поэтому...

– Ничего, – сказал я, притворяясь равнодушным. – Надо просто завести страничку «ВКонтакте». Я научу...

– А вы... ещё придёте?

– Это моя работа, – сказал я, чтобы она ещё немного посмеялась.

Я уже летел вниз по лестнице, пропуская по две ступени и цепляясь за перила на поворотах, когда внизу грохнула железная дверь. Отчего-то я сразу понял, кто там. Резко затормозил и придал себе самый серьёзный вид, на какой был способен.

Танькина мать была самой настоящей учительницей из советского фильма. В нелепой юбке и с неопикуемой причёской. Вдобавок она носила очки с толстыми стёклами.

Сквозь эти очки она смерила меня очень, очень подозрительным взглядом. Я так и думал, что сейчас она спросит: «А вы, молодой человек, к кому?» Я постарался разойтись с ней на широком лестничном пролёте, и это почти получилось.

– А вы, молодой человек, к кому? – спросила она за моей спиной.

Я остановился.

В подъезде было всего восемь квартир, и вариантов вранья оставалось немного. Поэтому я решил сочинить талантливую правду.

– Аварийная служба, – отвечал я сиплым басом. – Нам сообщили, что в подъезде проблемы с электричеством. Мы уже устранили неполадки.

Училка поверила. Но не успокоилась.

– Вы очень долго её устранили! – заявила она. – У нас со вчерашнего вечера не было света. Представляете? С вечера! Нет, нет, даже не пытайтесь уйти. Сейчас мы поднимемся в мою квартиру, и я удостоверюсь, что вы меня не обманываете.

– С удовольствием, – отозвался я.

И на этот раз не соврал. А сам уже поднимался вслед за ней по ступенькам опять на четвёртый этаж.

Приблизившись к двери, училка достала из сумки связку из двух громадных ключей. Сперва отперла один замок, потом нажала на плоский ключ-ригель – и дверь отворилась.

В прихожей горел свет. Я же сам и оставил его включённым.

– Как видите, электричество есть, – констатировал мнимый мастер.

– Да, вы правы! – отозвалась училка. – Можете идти!

– Спасибо за разрешение, – сказал я. – Только вот что... объясните, почему случилась авария? Вероятно, вы вносили самовольные изменения в схему... э-э... электроснабжения?

Что-то подобное я слышал на наших тренингах. Такие фразы задвигали наши менеджеры, когда покупатели пытались вернуть им некачественный товар.

– Мы ничего не вносили! – возмутилась училка. – Перегорела лампочка, и я пыталась ввернуть новую. Вероятно, она была бракованная! Она хрустнула в меня в руке. Эти новые лампы...

– Мама, с кем ты там разговариваешь? – услышал я Танькин голос.

– С электриком, дочка!

– Ах, с электриком!

Тут она вышла из комнаты. В ту минуту мне как никогда захотелось, чтобы она меня видела. Потом я заметил, что она тоже надела очки с дымчатыми стёклами (при мне стеснялась?).

Очки её совершенно не портили.

– Конечно, с электриком, – сказал я, – а с кем же ещё?

Танька беззвучно смеялась. Мать ничего не замечала.

– Да, молодой человек из аварийной службы, – представила она меня своим хорошо поставленным учительским голосом. – Он подозревает нас в том, что мы сами устроили эту техногенную катастрофу. Кстати, как вас зовут?

Вот к этому вопросу я не был готов.

– Леопольд, – выдал я. – Леопольд Иванович.

– Ну, допустим, – не сдавалась училка. – Я давно ничему не удивляюсь. Мы привыкли, что все недостатки в работе коммунальных служб списываются на самих жильцов. Но это не значит, что...

– Неважно, – прервал я её речь. – Главное, что всё в порядке. Если в будущем такое повторится, просто позвоните по мобильному.

– Я им не пользуюсь! – заявила училка.

– А надо пользоваться! – сказал я нагло (Танька прислонилась к стене и только головой покачала). – И я попросил бы вас оставаться на связи в ближайшее время. Мало ли что может случиться. Первые дни – они самые критические!

Тут Танька притворно зажала уши руками.

– Хватит, хватит! – сказала она. – Мама, не волнуйся. Я умею обращаться с телефоном. Если у нас перегорит холодильник, я обязательно позвоню Леопольду Ивановичу.

Мать посмотрела поверх очков сперва на неё, потом на меня.

– Что-то вы здесь мутите, молодые люди, – сказала она вдруг. – Кажется, вы держите меня за тупую реликтовую развалину. Отлично. Только давайте договоримся: если случится авария, Леопольд Иванович лично будет на нашей кухне выжимать мокрые тряпки. Идёт?

Мне оставалось только кивнуть. И не рассмеяться.

– Тогда до свиданья, – сказала мать нелюбезно.

Я присел на краешек скамейки в сквере, чтобы получше завязать шнурки, когда в наушниках послышался сигнал вызова.

– Привет, – сказал Танькин голос.

Я очень обрадовался. В который раз за этот день. Не знаю, почему.

– У тебя всё получилось? – спросил я.

По телефону очень просто перейти на «ты».

– Спасибо тебе, – сказала Таня.

– Да не за что.

– У меня в телефоне только твой номер. Смешно, да?

Я пошевелил ногами в кедах. Шнурки были крепко завязаны.

– Позвони ещё кому-нибудь, – посоветовал я. – У тебя же есть голосовой помощник.

– Я понимаю. Но мне хотелось тебя услышать.

Я поднялся со скамейки. Снова сел.

– Мне тоже, – сказал я.

– Просто у тебя красивый голос. Те, кто... плохо видит... обращают на это внимание.

По дорожке мимо меня прокатился чёртов скейтер. Он взлетел на гранитный бортик, проехался и кое-как вернулся обратно на трассу.

– Прости, тут шумно, – сказал я.

– Значит, ты в нашем скверике? Ты видишь моё окно?

Я пригляделся. Высоко за деревьями пряталось несколько окон. В одном я заметил светлую фигуру. Фигура помахала мне рукой.

– Ты мне машешь, – сказал я.

– Даже сама себе не верю. Никогда ещё не делала таких глупостей.

Фигура изменила форму: кажется, она уселась на подоконник.

– Смотри не свались вниз, – сказал я заботливо.

– Ты как моя мама. Она каждый день проверяет, не раскрывала ли я окно. Боится, что простужусь.

– Кстати, где она?

– На кухне. Не нарадуется на холодильник. Как же весело ты придумал с этим электриком... как его... Леопольд Иванович?

– Так точно, – пробасил я. – А что, хозяйка, с проводкой всё в порядке? Когда перегорит, сразу дайте знать. Электричество – это вам не туда-сюда!

Кажется, Танька развеселилась.

– Обязуюсь докладывать каждый день, – самым честным голосом пообещала она. – Кстати, может быть, вас это заинтересует... Вчера что-то случилось с нашим шкафом... там что-то было... внутри... – Танька понизила голос. – Возможно, там завелись пришельцы...

– Очень интересно! – подхватил я. – Очень! Я немедленно передам в Хьюстон. Надеюсь, контакт с пришельцами состоялся?

– Увы, контакт был очень недолгим. Пришельцы улетели. Но обещали вернуться...

– Главное – не теряйте их из виду... – начал я и запнулся.

Таня перестала смеяться.

– Прости, – сказал я.

– Ты тут ни при чём, – сказала она. – Я и сама иногда забываю, что... мне не стоит так себя вести. Это бессмысленно... Нужно вернуться в реальность. Точнее, в инвалидность.

– Не говори так.

– Мама всё ещё на кухне. Скоро придёт. Уже приглашала мыть руки.

– Как ты думаешь, она нас не спалила? – спросил я.

– Ты боишься?

– У тебя могут быть неприятности.

– Теперь пусть будут...

Я поднялся со своей скамейки. Прошёлся по дорожке. Как несправедливо устроена жизнь, думал я. Вы больше всего хотите видеть друг друга – и никогда не увидите.

Нет, не так. Я не увижу, как она улыбается, когда видит меня.

– Можно к тебе приехать завтра? – спросил я.

Танька что-то сказала очень тихо, я не расслышал. Ещё один скейтер разбежался, набрал скорость, взмахнул руками и вскочил на гранитный парапет. Прокатился и прыгнул.

– Таня, – позвал я.

– Ты мне очень нравишься, – повторила она. – Если это тебе не нужно, прости. Я отключаюсь.

* * *

– Как же я соскучилась по тебе, друг мой Сириус! – говорила принцесса Хлоя. – А ты скучал? Скажи, скучал?

Но огромный лев только сопел, жмурился и норовил потереться башкой о её руку. Льву очень нравилось, когда ему взъерошивают гриву. Он был молчаливым, этот добряк Сириус, по одной веской причине: он не умел говорить.

Зато многочисленные эльфы и сильфиды болтали без умолку, треща стрекозиными крылышками. «Мы-то, мы-то ждали тебя, принцесса, – уверяли они. – Без тебя здесь холодно, холодно, холодно... Тебя не было целую вечность, вечность...»

За её спиной раздался мерный стук копыт, и она оглянулась. Белоснежный единорог выскочил из зарослей и замер в десяти шагах, красуясь. Витой рог на его лбу сиял на солнце, как будто был отлит из золота, а может, так оно и было.

– Здравствуй, милый Нексус, – сказала принцесса. – Я рада, что ты не забыл дорогу на этот берег.

Вдруг что-то случилось. Летучий народец словно ветром сдуло, единого поднялся на дыбы, испуганно заржал и умчался прочь, и только бесстрашный лев поднял голову, но не тронулся с места. Он внимательно следил за новым гостем.

Гигантский змей спускался с горы. Его мускулистое чешуйчатое тело то казалось абсолютно чёрным, то отливало синим и зелёным, смотря по его изгибам. Змей был крылат, но летать не хотел – а может быть, просто куда не торопился. Свои перепончатые крылья он сложил на спине, и в таком виде они стали похожи на капюшон странствующего монаха-францисканца. Его голова была немногим меньше львиной, жёлтые глаза светились недобрим светом.

Наконец он протасил свои кольца по каменистому склону и остановился. Обратил немигающий взгляд на принцессу.

– Приветствую и тебя, Оберон, – сказала принцесса.

Видно было, что Хлоя не рада этой встрече и уж точно хотела бы, чтобы она поскорее закончилась. Она бросила тревожный взгляд на солнце, и это не укрылось от глаз змея.

– Ты спешишь? – тихо прошипел он, показав раздвоенный язык и зубы, изогнутые, как сабли. – Ты всегда спешишь. А ведь я тоже скучал по тебе, принцесса. Не меньше, чем эти глупые звери.

Лев еле слышно заворчал.

– Умолкни, Сириус, – сказал змей. – Всё же нужно было проглотить тебя, пока ты был котёнком. Теперь, пожалуй, ты встанешь поперёк горла...

– Зачем ты пришёл, Оберон? – спросила Хлоя. – Что ты хочешь сказать мне?

– Ты удивись, принцесса. Я хочу сказать, что я рад тебя видеть. Ты ещё немного подросла. Или мне кажется? Ты стала такой красивой. Ты стала очень красивой девушкой, Хлоя. Хотелось бы мне оказаться первым, кто скажет тебе об этом.

Мы бы ошиблись, если бы предположили, что принцесса осталась равнодушной к таким словам. Она смутилась и зарделась. Ей было приятно, хотя она и старалась не подавать виду. А ещё она задумалась над последними словами Оберона: увы, но его желание уже сбылось. Никто за все эти шестнадцать лет не говорил ей ничего подобного. То есть никто из мужчин, подумала Хлоя, ещё немного покраснев.

Неужели змей читал её мысли? Его жёлтые глаза сверкнули торжеством, но Хлоя этого не заметила.

– О да, ты прекрасна, принцесса, – продолжал Оберон. – Но мне жаль тебя. Ты вернёшься туда... в ваш тёмный мир... выйдешь замуж за мужа-на-рыцаря с пивным брюхом... если только какой-нибудь развратный король не захочет сделать тебя своей игрушкой, слепой и беспомощной. Заметь: я не предполагаю, я предсказываю.

– Не хочу даже слышать об этом!

– И всё же выслушай, Хлоя. Ты знаешь, что я не лгу. Наступает время выбора. Придёт день, и остров Мечтания для тебя навсегда закроется. Ты же не хочешь остаться во тьме навеки? Там, в стране вечной смерти?

– Нет, – прошептала Хлоя.

– Это правильный выбор. Здесь твоё место, принцесса. Здесь, со мной. Ты ещё не знаешь силы моего волшебства! Хочешь, я превращу тебя в кры-

латую змею? Твоя чешуя будет из чистого золота. А хочешь, мы оба станем драконами?

– Какая мерзость, – сказала Хлоя с отвращением.

– Остынь, Оберон, мне противен твой вид. Твои глаза, твой язык, твой голос. Грешно даже слушать тебя.

Змей ухмыльнулся во всю пасть. Его раздвоенный язык затрепетал и убрался.

– Да что ты знаешь о грехе?.. – произнёс он.

* * *

Ближе к вечеру небо над нашим островом нахмурилось, посерело, отсырело и наконец пролилось поганым холодным дождём. Дождь скоро кончился, но на дорогах остались лужи. Гулять не хотелось. Я сидел на диване с компьютером и читал про глазные болезни. В большой комнате телевизор рассказывал о проблемах мигрантов в Европе. Мне стало тоскливо. Я слез с дивана и пошёл общаться.

Отец поднял на меня глаза. Молча указал на кресло рядом.

Он знает, что иногда он мне нужен, хотя обед я могу приготовить и сам.

– Что-то грустно, – сказал я.

Отец прищурился.

– Грусть – нормальное состояние человека, – ответил он. – Для всего остального нужны стимуляторы.

Банка пива в его руке как бы подтверждала это.

– Утром было весело без всяких стимуляторов, – сказал я.

– Что ты опять натворил?

– Да ничего особенного. Помог красивой девушке. Ввернул лампочку. Изображал электрика.

– Да-а, – сказал отец. – Если бы у тебя были ключи от моего кадиллака, я бы их у тебя отобрал. Боюсь даже думать, что ты там ввернул бедной девице... электрик...

– Кажется, её мама меня разоблачила.

– Тебя разоблачил бы даже слепой прадедушка.

– Кстати... – ещё минуту назад мне не хотелось ему рассказывать о том, о чём хотелось рассказать больше всего. – Кстати о слепоте. Ты когда-нибудь дружил с кем-нибудь... ну, кто плохо видит?

Отец посмотрел на меня внимательно.

– Я не дружил, – сказал он. – Но у меня были такие знакомые. Я делал про них несколько репортажей. Ну, когда ещё работал на ТВ. С ними трудно дружить, Дэн. Ты их не понимаешь и никогда не поймёшь.

– Как же ты делал репортаж, если ты их не понимал?

– Это как раз нормально, – сказал отец и покосился на экран телевизора. – Чтобы врать, понимание не требуется. Но вот если кто-то тебе действительно небезразличен... Тогда всё становится тяжелее. И в первую очередь не для тебя. А для неё.

– Почему?

– Ты станешь для неё самым важным в жизни. А она для тебя нет. И это никак не изменить, разве что ослепнуть самому. Но на это мало кто готов пойти.

– Ты эгоист, папа.

– Это да. Прививку в детстве забыли сделать.

– Ну, а если мне она очень нравится – эта девушка?

Отец потянулся ко мне. Потрепал по затылку.

– Пора стричься, – сказал он. – Конечно, не как твоему другу Станиславу, но всё же... Интересно, он тоже придумывает себе проблемы? У вас это возрастное?

– Я серьёзно.

– Ладно. Ты сам напросился. Когда тебя через год заберут туда же, куда и Стаса, с кем останется твоя подруга?

– Она будет ждать, – сказал я.

– Ждать и надеяться? Ну и кто после этого эгоист?

Я задумался. Что-то во всём этом было неприятное. Но он опять был прав.

– Значит, всё бесполезно? – спросил я.

– В сущности, да. Но это моё мнение. У тебя может быть другое.

Он поднялся с дивана. Откинул занавески. Распахнул балконную дверь. Прошёл на застеклённую лоджию и уселся на табуретку. Предложил мне банку пива, я отказался.

Просто встал рядом.

На улице стемнело. По небу бродили тучи. Длинные грузовые причалы на той стороне канала осветились множеством фонарей. Со стороны залива прошёл знакомый кургузый буксир. Мы проводили взглядами его ходовые огни – сперва белые, потом красные.

– Когда мы сюда въехали, этот дом был совсем новым, – сказал вдруг отец. – Представь: огромная пустая квартира. Ни из одной щели не дует. Даже лифт без надписей. Я был совсем мелким. Первую надпись, кажется, я и написал...

Он хмыкнул и глотнул из своей банки.

– И что это была за надпись? – спросил я.

– Да какая-то херня из области поп-музыки. То ли Metallica, то ли Ассерт. В общем, пометил территорию.

В полутьме мне показалось, что он краснеет.

– По-моему, все так начинали, – сказал я, чтобы сделать ему приятное.

– Начинали-то все одинаково. Закончили по-разному.

Он потянул воздух носом и умолк. Это была сложная тема, и, если её продолжать, мы могли договориться до многих неожиданных вещей. Можно подумать, я не помню их разговоров с мамой на кухне, когда все думали, что я сплю. Я много чего помню.

Разговоры кончились тем, что мама уехала в солнечную Калифорнию – сперва на три месяца, потом ещё на три, а потом навсегда.

– Ты просто не понимаешь, Дэн, – говорит отец. – Шанс сбежать с этого острова даётся один раз. Я буду рад, если ты перестанешь тупить и его используешь.

Это он про Калифорнию. Уехать туда для меня – пара пустяков. По крайней мере, пока мне не исполнится восемнадцать. У матери есть вид на жительство. Достаточно просто подать прошение на воссоединение семьи. Проблема в том, что мама и её новый Джейк – не моя семья.

– Ты не будешь рад, – говорю я. – Все кончится плохо. Ты без меня сопьёшься и когда-нибудь свалишься с этого балкона.

Он сидит на своей табуретке сторбившись.

– Может, и так, – говорит он, не оборачиваясь. – Это к делу не относится. Подумай о собственной судьбе. Не трать время на всякую ерунду. В том числе я имею в виду и твою бедную девчонку.

– Но она мне верит.
– Ты не ангел, чтобы в тебя верить. Ты безгрешен. Ты слишком долго сидишь в ванной – и я знаю, зачем. Ты даже как минимум один раз курил какую-то дрянь. Я заметил.

– Но я...
– Не продолжай. Ты не сможешь спасти всех, поэтому не спасай никого. Будь эгоистом, Дэн. Это безупречная позиция.

– Мне больше с ней не встречаться?
– Почему же. Встречайся... иногда. Не говори мне, что у вас всё серьёзно, я не поверю. Отмотайте назад и оставайтесь друзьями.

– А если я тебя не послушаюсь?

– Значит, влипнешь по уши.

– Как ты?

Он молчит. С хрустом сжимает пустую банку в руке.

– Вот именно, – говорит он. – Как я.

– Тогда прости. Я не буду ничего отматывать. Пусть идёт как идёт. Я не предатель.

...На часах почти полночь.

Ночью её мир становится и вовсе беспросветным.

Я тронул экран.

– Алло, – сказала Таня очень спокойно.

– Привет, это я.

– Мама, я пойду к себе, если ты не против, – сказала она, прикрыв рукой микрофон, но я всё равно слышал. – Нет. Да. Мама, перестань. Мне уже почти восемнадцать, между прочим. Нет, не жалуюсь... Не волнуйся, пожалуйста. Спокойной ночи.

Наверно, я сопел в трубку, потому что она проворчала – уже в мой адрес:

– И ничего смешного в этом нет.

– Можешь теперь говорить? – спросил я.

– Могу. Я уже в своей комнате. Я пришла сказать маме доброй ночи, а тут ты звонишь.

– Ты ходила к маме, взяв с собой телефон?

Танька помедлила.

– Он лежал в кармашке. У меня есть такой махровый халат с кармашком.

Было бы неправильным сказать, что я не был взволнован, когда я представил её в этом халатике. Дальнейшее представление было опасным, и я решил сменить тему.

– Теперь твоя мама будет подслушивать, – сказал я.

– Нет. У неё слабый слух. Это профессиональная болезнь. Зато я слышу прекрасно. Такая вот никчемная компенсация от Бога... Я даже слышу, когда ей не спится. Когда она ночью ходит по комнате и смотрит в окно.

«Интересно, зачем», – подумал я, но промолчал.

– Ты знаешь, что она мне сказала про тебя? – спросила Танька, посмеиваясь. – «Что-то слишком молодой этот наш электрик Леопольд Иванович...»

– Я? Да... то есть молодежав, конечно...

– А сколько тебе лет?

Я немного смутился и ответил.

– Так ты ещё ма-аленький... Хорошо, тогда я буду с тобой старой и мудрой. Как сова. И тоже в очках.

– Тебе они идут, – сказал я.

– Не ври... И ты ещё не знаешь, что сказала мама дальше. Она сказала, что если ты сама позвонишь этому Леопольду Ивановичу, то он решит, что ты сумасшедшая дурочка. И будет слишком много о себе думать. Причём это касается всех мальчиков, а не только юных электриков... уж я-то, говорит, на них насмотрелась в школе, будь она неладна...

Я слышал, что Таня улыбается. Может, мне и не следовало наглеть, но всё получалось само собой, и останавливаться не хотелось. Я улёгся поудобнее.

Таня пошуршала микрофоном.

– Расскажи мне о себе, – попросила она.

– Это скучно. Ты уснёшь.

– Всё равно расскажи. Если я буду засыпать, ты пожелаешь мне доброй ночи.

И тогда я рассказал ей о себе. Наверно, сейчас расскажу и вам, иначе никогда не соберусь. Это не слишком долгая история, послушайте.

Когда я родился, у моих родителей всё было хорошо. Может быть, поэтому я и родился. Лет до десяти я думал, что так и будет всегда. Отец работал журналистом на телевидении, мама занималась международными связями в экономическом университете. Маме работа нравилась, а папе – нет.

Я долго не мог понять, как можно заниматься делом, которое не любишь. Но отец смеялся и ничего не объяснял. Только в шутку переозвучивал для меня те самые репортажи, которые делал сам, причём получалось гораздо интереснее, чем в оригинале. Особенно ему нравилось играть чиновников и депутатов. Он шикарно изображал очкастого депутата по фамилии Филонов: даже не помню, чем тот занимался на самом деле, но в папином исполнении он был анонимным вампиром, который очень хотел бросить свою пагубную привычку. Я смотрел на этот цирк и залиvisto смеялся, а мама сердилась.

Потом на телеканале сменилось руководство, и началась, как говорил папа, большая зачистка. Вместе с мусором выбросили и людей. Мне было тринадцать, и подробностей я не запомнил. Накануне мы ездили отдыхать в Грецию, где мне (и моим новым приятелям) больше всего нравилось подсматривать за девочками в бассейне. Так что моя голова была занята многими интересными вещами, о которых я не стал рассказывать Таньке, да и вам не расскажу.

Оставшись вне штата, отец писал рекламные сюжеты и занимался, как он сам говорил, генерацией белого шума в соцсетях. Денег за это платили мало. Летом вместо Греции мы сидели дома. На второе такое лето мама забеспокоилась. И уже осенью отправилась в длительную зарубежную командировку. Вернулась она загоревшей и энергичной. Я никогда не расставался с ней больше чем на неделю, а тут её не было три месяца. И, когда она пару раз по ошибке назвала меня Джейком, я даже не удивился. Вот что было печальнее всего: я не слышал ни споров, ни упрёков – не то что раньше.

Таня, услышав про это, спросила печально:

– Ты когда-нибудь читал Анну Каренину?

– Так, взял у отца и пролистал, – сказал я. – От нас не требовали.

– А я слушала диск. И плакала почему-то.

– Над чем там можно плакать? Там даже про поезд совсем мало.

– Ты ещё маленький, не поймёшь.

Я не обижался на такие слова. Зачем она вспомнила про Анну Каренину, тоже не вполне понял. Никакого романа из нашей тогдашней жизни не получалось. Вот в семье моего друга Стаса – это да, там кипели насто-

ящие страсти. Чего стоила одна разборка между двумя его молодыми отчи-
мами – с беготнёй, криками и гонками по ночным улицам на подержанных
иномарках. Помню, отец вышел на улицу с газовым пистолетом и прогнал
обоих. Вся Канонерка потешалась над этой историей, только Стас ходил
красный как рак. Тогда мы с ним особенно сдружились.

Ещё одну зиму мы с отцом прожили вдвоём. Это было даже занятно,
потому что мать присылала деньги – такие деньги, каких он никогда не зара-
батывал сам. Помню, как в новогоднюю ночь мы с ним выпили шампанско-
го, и он взялся озвучивать речь президента, но получилось несмешно, и ещё
было неудобно за него – а может, просто мы оба поняли, что прошлое боль-
ше не вернётся.

Впрочем, он и сам знал об этом.

Потом я пошёл к Стасу, и мы до рассвета играли в танчики. Вот такой
у нас получился Новый год, да и следующий был не лучше.

Потом я закончил школу (не приходя в сознание, как едко отмечал отец).
И очень скоро занял «высокопрестижную» должность менеджера службы
доставки электронных гаджетов, а проще говоря – курьера, в непосредствен-
ном подчинении у Игорька Трескунова по кличке Скунс.

Когда моя нехитрая история закончилась, я попросил Таньку рассказать
свою. Поначалу она не хотела, но я пригрозил обидеться. Наверно, это было
немного жестоко.

Я узнал, что она была поздним и желанным ребёнком, наверно, даже
слишком желанным (так она сама сказала с грустью). Своего отца она нико-
гда не знала. Мама-учитель никогда не рассказывала ей, кем он был. Вместо
ответа она поджимала губы и меняла тему.

Свою дочку она очень любила – наверно, одну в целом свете. Эта любовь
заменила ей весь мир. Правда, не принесла особого счастья никому, и осо-
бенно Таньке.

Потому что лет в восемь или девять она понемногу начала слепнуть.
Болезнь заметили поздно, и время для операции было упущено. Её пришлось
перевести в интернат для слабовидящих. Это было невесёлое место, к тому же
интернатские девчонки почему-то сразу её невзлюбили. Воспиталки – те
и вовсе называли её высокомерной дрянью, а её мать – старой ведьмой.

– Почему ведьмой? – спросил я.

– Она их предупредила, что... если со мной что-нибудь случится, то им
несдобровать. Так и получилось. Заведующая на меня наорала однажды,
а на следующий день сломала ногу. Так она потом всем рассказывала, что
это мама наколдовала...

– Может, и правда наколдовала?

– Может, и правда.

В общем, Таня была даже рада, когда мать забрала её из школы и стала
заниматься с ней сама. Тогда ей было лет тринадцать.

Следующие пять лет прошли как будто в тумане. Сравнение было мрач-
ным и точным. Её зрение ухудшалось, и даже яркие сны она видела всё
реже, а когда видела – просыпалась и плакала.

Мне тоже стало грустно.

Таня ничуть не скучала по бывшим одноклассникам. Она училась дома,
слушала радио и аудиокниги. Думала поступать в университет по особой
льготной программе. Мечтала полазить по интернету, но её старый ноут-
бук никак не получалось подключить (а может, мама и не торопилась это
делать). Тогда она решила купить хороший мобильник с голосовым управле-
нием. Тут-то и услышала рекламу нашей фирмы.

– Я с первого раза запомнила телефон, – сказала Таня.

– Да ты не оправдывайся...

Пока мы так беседовали, наступила глубокая ночь. Тучи ступились над нашим островом, и только прожекторы на причалах разрывали темноту. Светлые пятна ползли по стенам. Так бывает, когда какое-нибудь большое судно проходит по каналу. Я слез с постели и подошёл к окну. Длинный контейнеровоз, вышедший в ночь, бесшумно двигался в сторону залива. Тёмная вода расходилась волнами за его кормой.

– Ты не спишь? – спросила Таня.

– Нет. Смотрю на корабль.

Я уже рассказал ей, где мы живём, и она не удивилась.

– Ты мечтаешь плавать на таком корабле? – спросила она вдруг.

Наверно, она тоже умеет колдовать, подумал я. И уж точно владеет ясновидением.

– Не на таком, – сказал я. – Но это неважно. Я всё равно не поступил в мореходку.

– Почему?

– Там обучение платное. А кредит отцу не дали. Он же не может указать источник доходов: Сан-Диего, Калифорния...

– Будешь поступать ещё?

Я смотрел вслед контейнеровозу. В кормовой надстройке светились все окна, как будто она была пустая внутри. Наверно, там у них было весело. Наверно, это всегда весело, когда выходишь в рейс.

– Обязательно, – сказал я. – Только найду деньги.

– Какой ты молодец, – сказала Таня. – Вот у нас с мамой ничего никогда не получается... Мы хотели получить грант на лечение, но с этим тоже ничего не вышло...

Внезапно мне стало стыдно за своё бахвальство. Но оправдываться было глупо.

– Что же вам сказали? – спросил я.

– Какую-то ерунду. Что я уже не ребёнок. И что я просто мечтаю уехать за границу и выйти замуж. Вот и на здоровье, говорят. Только не за государственный счёт.

– Что за дерьмо, – не выдержал я, – а для чего тогда вообще государство?!

– Не злись. Я, например, не злюсь. Я верю, что чудеса иногда случаются. Одно ведь уже случилось.

– Чудо? Какое?

– Такое, как ты.

Я со всего размаху прыгнул на кровать. Пружины скрипнули. Один наушник вывалился из уха. И мне показалось, что я не расслышал те слова, что она сказала мне после.

– Только не проси повторить, – сказала она. – У меня второй раз не получится.

– Таня, – перебил я. – У нас всё будет хорошо. Я тебе обещаю.

В три часа ночи так легко стать добрым волшебником. Наутро наши обещания сбрасываются в ноль. Но в ту секунду я и сам верил, что я всемогущий. Может быть, потому, что мне в первый раз признались в любви, хотя я слушал вполнаушника и до сих пор не уверен, что это мне не приснилось.

* * *

На башне часы пробили восемь.

Принцесса Хлоя села на постели. Что за напасть: она никак не могла запомнить сон, который снился ей уже не впервые.

Кто-то звал её с собой неведомо куда, звал и очень огорчался, что она не идёт. Вероятно, это был прекрасный принц на белом коне, наследник далёкого королевства. Хотя если судить по голосу – просто мальчишка, не старше Дафниса. Но не мог же ей сниться глупыш Дафнис?

Увы, рассмотреть зовущего никак не получалось.

Кажется, он протягивал ей руку, чтобы посадить впереди себя на лошадь. Но тут – во сне – принцесса вспоминала, что ничего не видит. И промахивалась. Топот копыт затихал вдали, не слышен был и голос.

Её сердце готово было выскочить из груди. Она даже не услышала, как вошла мать.

– Совсем забыла: твой юный друг, пастух Дафнис, вот уж битый час дожидается тебя во дворе. Кажется, он принёс, что обещал. У него в руках был холщовый мешок.

– Так что же ты молчишь, мама! – воскликнула Хлоя (на взгляд матери, излишне горячо). – Пусть скорее заходит.

– Теперь настала моя очередь шутить, – сказала мать. – А что если я прикажу не пускать его дальше порога?

– Но мама... ты же не думаешь, что он может быть опасен? – Хлоя даже рассмеялась. – Это же первый дурачок во всей деревне. Но мне нужны эти его таблички. Ты и сама будешь рада, когда я снова смогу писать и читать.

Королева погрозила дочери пальцем.

– Я буду ещё больше рада, когда этот дурачок наконец попадёт в солдаты, – сказала она. – Ты выйдешь во двор и заберёшь то, что он принёс. И тотчас же прогонишь его прочь.

Дафнис переминялся у дверей и насвистывал весёленькую песенку. Принцесса улынулась, что-то припомнив. Потянула за ручку и приоткрыла тяжёлую дверь. Гость проскользнул внутрь.

– Пол холодный, – пожаловался он.

– Просто кто-то не заработал на башмаки, – отвечала Хлоя.

– Не дразнись. Думаешь, если принцесса, так тебя и не тронь?

Кажется, дерзкий пастушок дополнил свои слова действием – в полумраке галереи было не видно, каким именно. Принцесса хихикнула и шлёпнула его по рукам.

– Дурак, – сказала она. – Когда же ты поумнеешь?

– Не знаю. Мне и так нравится.

Они уселись на лавку под окном и принялись болтать ногами и болтать о пустяках. Тот, кто посмотрел бы на них сейчас, принял бы их за обыкновенных крестьянских подростков, беззаботных и недалёких. Этот наблюдатель усмехнулся и пошёл бы прочь по винтовой лестнице, решив, что у него есть дела поважнее, чем надзирать за детьми.

Хлоя прислушалась. Толкнула Дафниса локтем.

– Ушла, – сказала она только одно слово.

Парнишка повернулся к ней, и в полутьме она ласково провела кончиками пальцев по его лицу – по носу, губам и подбородку.

– Милый Дафнис, – сказала она, – тебе пора бриться. Иначе твои овечки могут принять тебя за барашка.

Дафнис даже фыркнул от смеха.

– Ты чего, я не по этой части, – сказал он. – У нас на деревне найдётся с кем погулять.

– И что, часто ты с ними гуляешь?

– Да сколько захочу.

– Ой, догуляешься! – вздохнула принцесса, стараясь говорить по-простонародному. – Отдадут тебя в солдаты, будешь знать.

– Ничего, везде люди живут, – отозвался пастушок.

– Дафнис...

– Да, Хлоя...

– Мне иногда кажется: вот если бы ты мог однажды превратиться в прекрасного принца... на белом коне... ты забрал бы меня отсюда, и...

– И что тогда, Хлоя?

– И, возможно, мы смогли бы любить друг друга... где-нибудь в далёком королевстве.

– А сейчас? Сейчас, скажи, Хлоя, разве ты меня не любишь?

– О, нет, Дафнис... я не готова ответить.

– А если я спрошу получше?

С этими словами негодный мальчишка протянул свои длинные руки к принцессе и изо всех сил прижал её к себе. Очень неловко и неумело, что бы там он ни болтал про деревенских девчонок. Принцесса хотела воспротивиться, но это было не так-то просто... Как вдруг Дафнис отпрянул и спросил с испугом:

– Что это у тебя с рукой?

Хлоя окаменела.

– Тебе не надо этого знать, – сказала она. – Но, если угодно, у меня в рукаве спрятан ключ.

– Он от твоей спальни? Вот бы мне такой!

Хлоя только головой покачала. Она поняла, что отделаться от этого наглеца будет не так-то просто. Но она поняла не только это. Она вдруг подумала, что волшебный ключ слишком тяжёл для неё одной. Ей вдруг до смерти захотелось поделиться своей тайной с кем-нибудь.

Король Ричард предупреждал, что однажды такое случится. Но в детстве она слишком часто пропускала его слова мимо ушей.

Она высвободила руки.

– Если ты пообещаешь молчать, то я расскажу тебе кое-что.

– Клянусь, я буду нем как могила, – пообещал Дафнис, его глаза так и светились любопытством.

– Это фамильная реликвия. Моё единственное наследство.

– Ключ от сундука с золотом? Вот это здорово! Давай как-нибудь туда залезем.

– Нет, Дафнис. Это ключ от двери, которая ведёт на волшебный остров. Я назвала его «Остров Мечтания». А вот отец когда-то говорил, что это ключ от Эдемского сада... Понимай как хочешь.

– Какой остров? Какой сад? Тот, про который бормочут монахи? Не обманывай меня, принцесса. Нет никаких райских садов. Все эти сказки господа придумали для нас, крестьян, чтоб мы работали и не бунтовали.

– Я не стану тебе объяснять. Ты всё равно не поверишь. Нужно иметь больше воображения, чтобы поверить... А у тебя в голове совсем другое...

– Отведи меня в этот свой рай, Хлоя, – попросил Дафнис. – Вот я и проверю, правда ли в нём лучше, чем... когда ты меня обнимаешь...

* * *

Когда принцесса с Дафнисом залезли в волшебный шкаф, парень едва не пожалел, что напросился на это приключение. В полной темноте он был ещё более слеп, чем Хлоя. Бедный пастушок не выпускал руки принцессы. Он весь похолодел и вздрагивал от каждого шороха.

Хлоя понимала, что с ним происходит. Шесть лет назад она вот так же впервые вошла в этот шкаф, сжимая в руке ключ – подарок короля Ричарда. Впрочем, детское любопытство победило страх. Тогда она ещё не знала, что больше никогда не увидит отца.

– Не бойся, – сказала принцесса своему другу, – здесь никого нет, кроме нас. Даже мышей нет.

– Может, вернёмся? – спросил Дафнис не очень-то твёрдым голосом.

Принцесса промолчала, только сжала его холодную ладонь. Не могла же она сказать ему, что вот только сейчас незаметно толкнула входную дверь – и та не поддавалась, хотя никто её не запирает.

– Ты знаешь, принцесса, – начал вдруг Дафнис, – если нас найдут тут вдвоём, будет не слишком-то весело. Особенно для меня. Ох, как меня выдерут! И уж точно забреют в рейтары в первый же набор...

– Ты этого боишься? – спросила Хлоя.

– Нет, нет... Ты прости, я очень плохо умею говорить...

Принцесса в темноте дотронулась до его носа, и он вздрогнул.

– Продолжай, – сказала Хлоя.

– Да. Вот... Я хочу сказать, что сегодня всё равно был хороший день. Лучше всех предыдущих. У меня останется кое-что на память. Даже если я больше тебя никогда не увижу, оно у меня останется.

Принцесса слышала, как Дафнис полез за пазуху. Она уловила запах воска.

– Вот, – сказал он. – Ты, Хлоя, пишешь смешными буквами... хуже, чем раньше... но всё же ты написала, что меня любишь. Я этого вовек не забуду. Потому что... я тоже тебя люблю крепче жизни. Ты так и знай.

В это мгновение в дальней стене шкафа как будто засветился светлячок. Ещё немного времени спустя свет усилился, и стало понятно, что солнечный луч пробился внутрь сквозь замочную скважину. Этот луч словно ударил Дафниса в сердце, и тот вздрогнул и застыл на месте. Он только и успел, что выставить вперёд деревянную дощечку, которую всё ещё держал в руке, будто хотел защитить их обоих.

На восковой табличке было написано неровными буквами: «j'aime daphnis».

Дверь распахнулась, словно её унесло ветром. Солнечный свет на миг ослепил обоих. А потом в уши ворвались новые звуки: птичье пение и шум прибора.

Хлоя вспомнила, что говорил король Ричард.

«Однажды, – сказал он, – тебе захочется открыть кому-то дверь в Эдем. Я открыл её одной девушке... очень давно, когда мне было семнадцать... Мне очень жаль, но это была не твоя мама».

Маленькая Хлоя не поняла, почему отец спустя столько лет жалеет об этом. Но спрашивать не стала.

«Твоё сердце может ошибиться, и не раз, – продолжал король. – Эта дверь не ошибается никогда. Она откроется только перед тем, кто тебя действительно любит».

Так он сказал, а потом добавил с улыбкой:

«Только вот что, дочка. Не таскай в этот шкаф всех кавалеров подряд, чтобы проверить».

Тем временем Дафнис стоял разинув рот и озирался вокруг.

– Не может быть, – проговорил он, изумлённый. – Я просто сплю. Наверно, я заснул в том шкафу. А может, и раньше.

«Что же, – подумала принцесса. – Может быть, он и прав. Может быть, это единственное объяснение. Тогда получается, что мы с ним спим вместе».

Но эту мысль она не стала произносить вслух.

Ей просто нравилось смотреть на Дафниса.

Оказывается, он очень изменился с тех пор, когда они были детьми. Теперь он был очень недурен собой, этот пастушок. Принцессе захотелось пригладить тёмные непокорные завитки на его лбу. Хотелось прикоснуться к губам. Потрогать пушистый подбородок. Конечно, ни на что подобное она не решилась. Какая жалость: что разрешено простой девчонке, не позволено принцессе!

Спору нет, Дафнис не был похож на принца. Его кожа была довольно смуглой – должно быть, от многолетнего загара, однако на носу всё равно были заметны самые простецкие веснушки. Тёмные глаза он прикрывал от солнца ладонью. Руки у него были мускулистые, но пальцы – тонкие и красивые. Ведь он был музыкантом – Хлоя не раз слышала, как красиво он играет на пастушьей свирели.

Оставалось признать: бедняжка Хлоя в жизни не встречала никого милее.

– Какой ты славный, Дафнис, – проговорила она. – И у тебя веснушки на носу.

Он посмотрел на неё удивлёнными глазами.

– Теперь ты видишь меня, принцесса? Здесь ты видишь? Значит, монахи не врут, и случилось чудо?

– А разве всё остальное – не чудо? – спросила принцесса.

С этими словами она шагнула вперёд и потянула его за собой.

– Смотри и ты, – сказала она. – Смотри, как тут красиво! Просто мечта... поэтому я так и назвала этот остров...

Но пастушок и сам зорко всматривался вдаль. Там, впереди, на морском берегу гарцевал белый единорог и прохаживался лев с золотой гривой. Крылатые эльфы перелетали с цветка на цветок.

Близился полдень. Солнце поднималось к зениту, и бескрайнее море сверкало расплавленной бронзой. Спокойные волны накатывались на песок и отступали, смывая на обратном пути цепочки следов единорога. Этот мир выглядел удивительно древним, и легко верилось, что вокруг и вправду райский сад.

– Иди сюда, Сириус, – позвала Хлоя. – И ты иди, Нексус. Я познакомлю вас с моим лучшим другом.

Сириус подошёл, мягко ступая по песку когтистыми лапищами. На львиной морде изобразилось настоящее дружелюбие. Он склонил голову и зачем-то обнюхал Дафнисовы ноги. Тот стоял ни жив ни мёртв. Никогда в жизни он не встречал льва, да ещё такого общительного.

– Погладь его, – велела Хлоя.

Дафнис запустил пальцы в львиную гриву. Лев заурчал и с удовольствием выгнул спину (львиная спина была Дафнису по плечо).

– Как котяра у нашего мельника, только побольше, – оценил парень.

Прискакал и единорог. Но этот Дафнису не дался. Он только посмотрел на него задиристо и улёгся рядом с Хлоей. Принцесса схватила его за позолоченный рог, покачала слегка, будто хотела оторвать, и сказала с укоризной:

– Какой ты противный, Нексус. Уж ты-то должен слушаться Дафниса. Он же не какой-нибудь хилый принц, он – пастух. Он прекрасно умеет укрощать всяких излишне гордых жеребцов.

Нексус привстал и поклонился, словно приветствуя гостя, и тихонько всхрапнул. Кажется, он поверил.

Тем временем целое облачко эльфов и сильфид окружило наших героев, воздух наполнился смехом и щебетаньем. Дафнис встревожился: то ли он поначалу принял крылатых человечков за особый род мух, докучных и кусачих, то ли боялся задеть кого-то неловким движением. От греха подальше он уселся на песок, опершись на льва, как на спинку дивана, а несколько эльфов сразу же опустилось ему на колени.

– А ты не такой, как принцесса, – заговорили они наперебой. – Ты ведь мальчик? Мальчик? Ты будешь с ней танцевать? Давайте танцевать все вместе! Мы будем кружиться с утра до вечера, с утра до вечера!

Хлоя рассмеялась.

– Танцевать? А ведь и правда! Как это весело! Мой милый Дафнис, ты умеешь танцевать?

Она протянула ему руки и повлекла за собой. Восторженные эльфы вились вокруг.

– Неужели мне это снится? – пробормотал он. – Когда уже будет по-настоящему?

– Попробуй не думать об этом, – посоветовала принцесса не слишком уверенно. – Остынь.

– Тогда, может, искупаемся? – спросил он.

– Но как же... а платье? Кроме того, я не умею плавать.

– Сейчас я всё устрою, – сказал Дафнис и хлопнул в ладоши. – А ну! Лошадка!

Нексус вскинул голову, но повиновался. Скромной поступью он подошёл к Дафнису и тихонечко заржал, будто хотел сказать: «Рад стараться».

Тогда пастушок ласково потрепал его по холке.

Это было чудесное купание. Единорог плыл навстречу волнам, как океанский корабль, ничуть не удивляясь своей необычной роли.

Так они шалили бы и дальше, плескаясь и брызгаясь, но единорог наконец развернулся и поплыл обратно. Волны, отступавшие от берега, тянули их в открытое море, но Нексус был силен. Вот он ступил ногами на твёрдую землю и залиvisto заржал.

Дафнис и Хлоя вышли на берег, прячась за бока единорога и в тени пальм. Тогда Нексус отбежал в сторону и отряхнулся, рассыпав вокруг капли воды, тяжёлые, как жемчужины. А лев Сириус подошёл и остановился поодаль. Он беспокойно втягивал носом воздух.

Единорог заржал ещё раз, но уже испуганно. Сорвался с места и унёсся прочь.

– Берегись, змей! – испуганно вскрикнул Дафнис. – Да какая огромная!

В десяти шагах чёрный змей поднял голову из травы и теперь не сводил с них глаз. Его опасный язык то показывался из пасти, то пропадал.

– Это Оберон, – сказала Хлоя упавшим голосом. – Про него говорят, что он был здесь всегда. Даже в самом румяном яблоке водятся черви.

– Спасибо за представление, – отозвался змей. – Да вы присаживайтесь. В ногах правды нет.

Только теперь принцесса почувствовала, как она устала. Она без сил опустилась на поросшую травой кочку. Дафнис не последовал её примеру. Он встал рядом, готовый её защищать.

– Кто же это с тобой, принцесса? – поинтересовался Оберон. – Держу пари, что это именно он, твой верный друг Дафнис. Какая приятная встреча!

Дафнис посмотрел на Хлою. Он сомневался, что эта встреча для неё приятна.

– Зачем ты снова пришёл, Оберон? – спросила принцесса. – Ты взялся отравлять каждый мой день здесь?

– Что такое «каждый день»? – возразил змей. – Ты имеешь в виду ничтожные отрезки вечности, что ты проводишь в моём мире? Так я не отравляю их. Я их создаю.

– Ты нам язык-то не заговаривай, – сказал Дафнис грубовато. – Мы не для того сюда пришли, чтобы слушать твою болтовню. Да и вообще, полз бы ты куда подальше, а?

– Мне некуда уходить, – сказал Оберон как будто даже с грустью. – Это мой мир, милые дети. Когда-то я вышел из этого моря, а может, сам его создал – уже и не помню. Я пребываю тут от начала времён. Мало кто может скрасить моё одиночество. Обратная сторона всемогущества – это мёртвая скука... Впрочем, это вам неинтересно... Есть ещё кое-что, и оно касается вас.

Последние слова он произнёс медленно и веско. Хлоя вздрогнула. Даже смелому Дафнису стало не по себе.

– Впереди вас ждут большие испытания, – сказал он. – И даже если вы их выдержите – кто знает, будет ли это победой?

Дафнис нагнулся, как если бы хотел подобрать камень. Но камня не нашёл.

– Не спеши, мальчишка, – прошипел Оберон. – Запомни, мы ещё встретимся. Скоро, скоро. И это будет наша с тобой история.

Сказав так, змей развернул свои кольца и исчез в высокой траве.

* * *

Хоть я и уверял Таньку, что всё у нас будет хорошо, однако провидец из меня вышел хреновый.

Да и продавец тоже.

Но давайте я расскажу обо всём по порядку.

Утром Трескунов вызвал меня на работу. На этот раз он был немногословен. Требовалось отвезти клиенту последний айфон (в розовом золоте), причём непременно в подарочном пакете и с красным бантиком. Хорошо ещё, шёлковая лента завалилась у нас на складе.

Самое обидное, что этот поганый бантик завязывал я сам. Почему это было обидно? Сейчас узнаете.

С пакетом в зубах я выехал на адрес.

Прямо от метро я позвонил клиенту, как и было условлено. Уверенный голос сообщил, что идти куда и не надо. Они с девушкой не вытерпели (так он и сказал) и приехали к метро на такси. Сидят и ждут меня. «Тут двадцать штук тачек», – сказал я. «Наша двадцать первая», – ответили мне.

Говоря проще, всё с самого начала пошло не по инструкции.

Вдобавок ко всему всю дорогу я думал о чём угодно, только не о работе.

Тёмная машина, забрызганная пригородной грязью, ждала в стороне от метро. Я уселся рядом с водителем. Он равнодушно покосился на меня и закурил. Я немного удивился. Обернулся к парочке, что сидела сзади.

– Едем? – спросил я.

– Зачем ехать, – сказал молодой человек в шерстяной шапочке. – Давай здесь рассчитаемся.

– Проверка? Подключение? Настройка? – спросил я, как у нас положено.

– Здесь и проверим, – сказал человек. – Любимая не может ждать.

С ним рядом сидела черноглазая девушка с тяжёлыми золотыми серьгами и серьёзным макияжем. Услышав такие слова, она подняла глаза и улыбнулась.

– Да, где же мой подарок? – спросила она очень нежным голосом. – Я вся горю от нетерпения.

Меня как будто ударило током – легонько, но ощутимо.

Я достал из пакета коробку с бантиком. Ну и хорошо, что всё кончится быстро, думал я. Может быть, ещё успею заехать к Таньке в гости.

А вслух сказал:

– Тогда подписываем договор.

– Легко, – сказал этот парень.

После всех формальностей он передал мне деньги в бумажном конверте.

Девушка взяла в руки коробку. Постучала по ней ногтями.

– Буду тебя любить, – сказала она вдруг. – Ты такой красивенький.

Я уже полез было прятать конверт, но при таких словах отвлёкся.

– Очень красивый, – повторила девушка. – Ты тоже красивый, мальчик.

Как тебя зовут? Денис? Посмотри на меня, Денис.

Здесь я должен рассказать странную и необъяснимую вещь. С того момента, когда я взглянул ей в глаза, и до самого турникета в метро я ничего не помню. Возле турникета меня окликнул полицейский, потому что я стоял как столб и не знал, что делать, и только после этого я опомнился. Достал карту и приложил к датчику.

Платформа была пустой. Поезд только что отошёл.

Усевшись на лавочку, я вспомнил про конверт.

Конверта нигде не было. Денег тоже.

Подписанный договор остался у меня – в качестве доказательства, что я вообще куда-то ездил. На месте подписи стояла размашистая закорючка.

Дрожавшими руками я вытаскил свой телефон. Набрал последний принятый номер. Конечно, телефон был отключён.

Тем временем пришёл поезд, постоял пару минут, забрал людей, захлопнул двери и уехал. Я остался на платформе один.

Тогда я позвонил в офис.

– Игорь, – сказал я, еле ворочая языком. – Меня только что на деньги кинули. На всю сумму.

– Чего ты мне-то звонишь, – ответил мне Игорь Трескунов по прозвищу Скунс. – В полицию звони.

– А что я им скажу? Я ничего не помню. Как отрезало.

– Во-о-о как, – протянул Скунс. – Амнезия. Гипноз. Ну, тогда я не знаю, чем помочь. Ищи деньги. Накосычил, так оправдывайся.

В трубке послышались гудки. Я опустил голову. Платформа снова заполнялась народом, но никто не спешил садиться со мной рядом.

Следующий поезд уже выезжал из тёмного тоннеля. Он коротко свистнул, и я чуть не потерял сознание.

Я встал, как зомби, и двинулся к краю платформы. Хорошо ещё, что я двигался медленно и оказался как раз напротив раскрытых дверей. Проехав пять или шесть станций на синей линии, я не заметил, как оказался на «Петроградской». Ноги сами принесли меня к Танькиному дому. Как я туда добрал – не знаю, и не спрашивайте.

Я стоял у железной двери, разглядывая кнопки домофона, и пытался сообразить, какие же две из десяти нужно нажать, когда дверь с загробным скрипом отворилась, и вышел смутно знакомый лохматый старик с тележкой. Теперь я понимаю, что старик регулярно выбирался из дому по своим делам, и не было ровным счётом ничего удивительного в этой встрече, но тогда мои мысли тянулись тяжело и медленно, как это предложение в тексте, и я удивился. Но, удивлённый, я вовремя догадался толкнуть тяжёлую дверь, которая вот-вот захлопнулась бы перед моим носом, и зашёл в подъезд.

Ткнул пальцем в кнопку звонка.

– Кто там? – раздался голос – хорошо поставленный, учительский.

В этих старинных дверях не было глазков.

Я молчал.

– Кто там? Я не открою, – продолжал голос. – И ещё через минуту звоню в милицию!

– Это я, – сказал я тихо.

Шкворча обшивкой по кафельным плиткам пола, дверь отворилась.

На пороге стояла Танина мама-училка. Я смог заметить, что она была одета в строгий тёмный костюм. Наверно, только что вернулась из своей школы.

Она смотрела на меня в упор.

– Ах, вот же это кто, – сказала она насмешливо. – Вчерашний Леопольд Иванович. Могу я узнать ваше настоящее имя?

– Моё?

– Ваше. Соблаговолите представиться.

– Денис, – сказал я послушно. – Шевченко Денис.

– А я – Мария Павловна. Что вы здесь забыли, Шевченко Денис?

– Я не забыл. Я х-хотел бы видеть... Таню.

– А вот с Таней повременим. Давайте сперва с вами разберёмся. Вы как будто не в себе. Вы наркоман?

– Н-ничего подобного...

Тут Мария Павловна цепко ухватила меня за подбородок и заглянула в глаза. Кто-то уже смотрел на меня вот так раньше, утром – я не мог вспомнить, кто. Я отшатнулся и оттолкнул её руку.

– Мама, кто это к нам пришёл? – спросила Таня из полумрака прихожей.

Мария Павловна молча посторонилась, дав ей дорогу. Таня остановилась прямо передо мной, не дойдя полшага.

– Денис, – сказала она. – Я знаю, это ты.

– Не спеши с выводами, дочка, – сказала мать за её спиной. – Ты можешь ошибиться.

– Но это правда я, – попробовал я выговорить.

– Кто – я? Мы знаем уже два имени. Может, услышим и третье?

– Мама, перестань, – сказала Таня. – Пусть Денис войдёт.

– Мне всё равно. Делайте что хотите. Только заставь его снять обувь. Я не допущу, чтобы в наш дом проникла грязь...

Помню, что я прислонился к шкафу и кое-как освободился от кед. Потом Таня взяла меня за руку и проводила в комнату, где стоял белый стол и висели настенные часы с маятником.

Мы сели рядом на диван.

– Хочешь чаю? – спросила Таня. – Или поесть?

– Нет.

Она провела пальцами по моей руке. Я уже знал этот жест. Она как будто заново со мной знакомилась.

– Что с тобой? – спросила она.

– По-моему, и так всё ясно, – сказала её мать, появляясь в дверях. – Кто-то вчера слишком долго беседовал по телефону. И сегодня спит на ходу. Может, уложим его на кушетку?

– Ну ма-ама...

– Со мной что-то случилось, – сказал я. – И деньги пропали...

– Вот как, – сказала мать. – Значит, ты к нам за деньгами?

– Нет. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что это было. Я ничего не помню. Помню, как вышел из метро на Парнасе... Люди сидели в машине... Я отдал им телефон. По прайсу полторы тысячи долларов. Больше ничего не помню. В метро сел... смотрю, а денег нет.

Таня нахмурила брови. Обернулась к матери. Хоть она и не могла её видеть, но мать-то её видела.

– Полторы тысячи долларов? – спросила Мария Павловна. – Это сколько же в деньгах?

– Много, – сказала Таня.

– Ты запомнил номер машины? Лица этих людей?

– Ничего не помню, – ответил я. – Пакет был с красным бантиком. Подарочным. Я же сам его и завязывал.

– Что и говорить, ценная информация.

– Ма-ама, – повторила Таня умоляющим голосом.

И тогда Мария Павловна сделала очень странную вещь. Она велела дочери освободить место (я остался сидеть на диване один, в недоумении). Она протянула руку и снова приподняла мой подбородок, чтобы я мог смотреть только на неё. Её глаза под очками были похожи на дочерины, такие же тёмные и отстранённые, будто невидящие, но от них никак не получалось спрятаться. Левую руку она положила мне на лоб и ощутимо взъерошила пальцами мою чёлку, не такую длинную, как у Стаса, но всё же, – и я отчего-то подумал, что таким приёмом она управляет с ленивыми учениками, которые засыпают на сочинении.

– А ну проснись! – и вправду сказала она. А заодно от всей души щёлкнула меня по лбу.

У меня, что называется, искры полетели из глаз.

– Ч-чёрт, – прошипел я. – Больно же.

– До свадьбы заживёт. А теперь скажи, что ты видел.

– Это была серебристая «Лада Приора», – выпалил я. – Шесть семь семь, сто девяносто восьмой регион.

Наверно, я запомнил номер, когда вылезал, пока меня не накрыло окончательно. Как он всплыл в моей памяти – было совершенно непонятно.

– Ещё?

– Там были люди. Один молодой, в чёрной шерстяной шапке. Девушка с накрашенными губами. Пальцы тонкие. Золотые кольца на них. Голос... я запомнил голос. Очень приятный голос. Я ей сам отдал деньги. Идиот.

– Не ты первый, не ты последний. Чего не сделаешь ради приятной девицы. А, дочка? Что скажешь?

Но Таня ничего не говорила. Она сидела за столом и едва заметно улыбалась, как девочка с картины Серова.

– Мамочка, спасибо, – сказала она.

– Не за что. У меня на экзаменах и не такие молчуны откровенничали... по крайней мере, теперь мы видим, что он не врёт.

– Он не врёт, – подтвердила Таня. – Но что же теперь делать?

– Ума не приложу. Решайте сами. Я старая больная женщина. Пойду к себе, отдохну.

И она скрылась.

– Таня, – сказал я.

– Да?

– Я чувствую себя полным идиотом.

Таня вышла из-за стола. Приблизилась.

– А ты не забыл, о чём мы говорили вчера... ночью? – спросила она.

Хоть мне и было хреново, я улыбнулся.

– Не забыл, – ответил я.

– Я сказала, что верю в чудеса. Теперь я ещё больше верю.

– Почему?

Таня прикоснулась пальцами к моей макушке. Провела по волосам сверху вниз. Она как будто не слышала вопроса.

– Я даже не знаю, какой ты, – сказала она грустно. – Я ведь тебя не вижу. Мама говорила про тебя, что ты смешной... наверно, это не совсем так... А я даже не могу проверить.

– Мама говорила? – удивился я.

– Да, вчера. Она сказала, что ты врёшь и сочиняешь, как семиклассник. Надо же было такое придумать: юный электрик Леопольд Иванович! Да, и ещё она сказала... – тут Таня смущённо улыбнулась, – что никогда не нужно доверять своему сердцу. Оно часто ошибается.

– А ты доверяешь?

Она приложила ладонь к груди.

– Конечно, – сказала Таня. – Уже второй день. А ты?

Я не ответил. Мои мысли путались. Моё собственное сердце готово было выскочить или взорваться. Это было странное чувство. Никогда раньше со мной не случалось ничего подобного.

То есть, если честно, случалось многое. Но сердце всегда оставалось на своём месте.

– Наверно, тебе сейчас не до этого, – сказала Таня. – Я опять говорю глупости.

– Нет, что ты...

Я шагнул вперёд и остановился. Она попятилась. За её спиной был старый книжный шкаф. Дальше отступать было некуда.

– Ты любишь книги? – спросила она.

– Да как-то так, не очень, – сказал я. – Мне кажется, жизнь интереснее.

Она сдвинула стеклянную дверцу. Провела пальцем по корешкам книг. Вытащила наугад одну. Кажется, это был Чехов.

– Мама иногда читает мне вслух, – сказала она. – Она говорит, что в книгах люди лучше, чем в жизни. Мне трудно судить. Я мало видела настоящих людей.

Я вспомнил тех, кого мне довелось видеть за последние семнадцать лет.

– Твоя мама права, – сказал я. – Настоящих людей вообще немного.

– Ты настоящий, – проговорила Таня, не оборачиваясь. – Если тебя вдруг не будет, я тоже исчезну.

– Зачем же так, – сказал я. – Мы просто будем вместе.

– Правда? Ты не врёшь и не придумываешь?

– Это Леопольд придумывал. Я никогда не буду тебе врать, Таня.

Она обернулась. Сунула мне книжку. Теперь мои руки были заняты. А Таня чуть привстала на цыпочки и прикоснулась губами к моим. Вслепую это вышло неловко. Точнее, не сразу. Но так меня ещё никто не целовал.

Я поискал, куда положить книгу, не нашёл и кинул на диван.
– Что за молодёжь пошла! – услышал я голос за своей спиной. – На пять минут их нельзя оставить без присмотра. Сразу возникает... звенящая тишина.

– Ой, – сказала Таня, – мама, прости. Мы просто хотели почитать вслух. Мария Павловна подняла с дивана томик Чехова.

– Конечно, похвально, что вы читаете вслух пьесы Антона Павловича... там есть полезные мысли... но я бы советовала обратить внимание на финал.

– Это ты к чему? – насторожилась Таня.

– Это я к тому, что занавес всегда опускается вовремя. Я доступно излагаю?

– Очень доступно, – подтвердил я.

– Тогда я аплодирую стоя. И вот что, дочка, когда будешь провожать гостя – проследи, чтобы он снова не ошибся дверью и не попал в шкаф.

В метро я улыбался так, что на меня оглядывались.

Я забыл сказать: когда мы прощались (у самых дверей таинственного шкафа), я спросил у Таньки:

– Неужели твоя мама и правда колдунья?

– Правда, – ответила она.

– А ты?

– Ну и я тоже. Немножко. Это у нас наследственное.

– Ты и меня можешь заколдовать?

– Глупый ты. Нельзя колдовать... на любимого человека.

– Да... я глупый, – согласился я. – Только не надо превращать меня в умного.

* * *

Утром позвонил мой друг Стас.

– Поехали кататься, – сказал он. – Отчим всё равно в отъезде. Так я ключи от машины взял.

– Да мне бы на работу надо, – отвечал я.

– Забей.

– Это, конечно, правильная мысль. Других пассажиров берём?

– Ты про свою девчонку с Петроградской?

– Про неё.

Он мог и отказать, а я мог и не настаивать. Только я-то знал, что он очень любопытный.

– Возьмём, не вопрос, – согласился Стас, сделав паузу, будто долго раздумывал. – Никогда не видел девчонок с Петроградской.

Я улыбнулся.

Чуть погодя набрал Таньку.

– Можно, я тебя сегодня украду незаметно? – сказал я.

– Как это?

– Увидишь. Не убирай далеко телефончик.

Таня даже не успела ничего ответить, как я отключился.

Наверно, я оставался всё тем же дураком, но мне очень хотелось её удивить.

Дальнейшие события показали: если ты нарочно хочешь удивить кого-то, для начала готовься удивляться сам. Это так же верно, как и старая добрая поговорка: «Не торопись, а то успеешь».

Через двадцать минут старый чёрный «Фокус» ждал меня под окнами. «Форд» был ровесником Стаса, но ещё ездил, да и Стас за рулём выглядел шикарно. Он зачесал свои шведские волосы назад, чтоб не мешали, и даже нацепил на нос абсолютно ненужные хипстерские очки в тёмной оправе.

Я специально не стал сразу садиться, чтобы он смог насладиться моментом.

– Сфоткаешь меня? – спросил он, опустив стекло. – Крыске послать.

– Сделай умное лицо, – сказал я.

Стас напрягся и устремил взоры вдаль. Я сделал несколько фоток. Когда я закончил, Стас успокоился и сразу стал симпатичнее. Тогда я украдкой снял его ещё раз.

– Я подумал: все равно в армию забирают, – пояснил он, – когда мы ещё соберёмся... поразвлекься. Опять же, селфи сделать. Я правильно подумал?

– Абсолютно, – сказал я, обошёл машину и уселся рядом.

Я уже говорил, что за рулём Стас выглядел шикарно, особенно пока машина не двигалась. Пару раз с непривычки он заглушил двигатель, потом всё-таки тронулся и набрал скорость. Мы миновали «Пятачок», где уже собирались местные гопники, с шиком пронесли мимо автобусного кольца и нырнули в полутёмный тоннель (отец ласково называет его прямой кишкой). Навстречу пронеслось сразу несколько фур, и кишка наполнилась сизым вонючим дымом. Стас поморщился, отцепил руку от баранки и стал шарить по щитку в поисках какой-то кнопки на климат-контроле. Кнопки он не нашёл, зато чуть не врезался в стену.

– Ста-ас! – сказал я. – Ты лучше двумя руками за руль держись. Ты ещё не в БТРе.

– Я тренируюсь, – пробормотал Стас.

«Форд» вылетел из тоннеля и направился по Двинской. Я проводил глазами забор, за которым прятался наш офис. Среди припаркованных машин что-то зацепило мой взгляд, что-то неприятное.

Да ну, не может быть, решил я. Мало ли в нашем городе посаженных серебрястых «Приор».

С другой стороны, все самые идиотские загадки объясняются чрезвычайно просто.

– Погоди-ка... – сказал я Стасу.

Я пригляделся. Номер у этой машины был простой и незатейливый: шесть семь семь, сто девяносто восьмой регион.

«Ах ты, чёртов Скунс», – подумал я.

Достал телефон и сделал пару фотографий.

Стасу я не стал ничего объяснять, и мы поехали дальше.

Мы развернулись возле дома с башнями и с понтом припарковались у самого Танькиного подъезда. Стас включил аварийку. Я вытащил телефон.

– Принцесса, вы одеты? – спросил я тихим голосом заговорщика.

Таня уже не удивлялась.

– Подожди, – сказала она. – Я сейчас спущусь.

И всё же первым, кто показался из парадной, был традиционный старикан с тележкой. Он смерил наш «Фокус» равнодушным взглядом и потащился куда-то, стуча палкой и шаркая подошвами. Следом за ним вышла Таня – и остановилась на крыльце, прикрыв глаза от непривычного солнца.

Я вышел из машины, но тоже почему-то остановился.

Никогда ещё я не видел свою девушку такой красивой. На ней были винтажные тёмные очки, серое короткое пальто и небрежно повязанный белый шарф, а также удивительные красные сапожки на высоком каблуке –

словом, вся она как будто вышла из французского фильма прошлого века. Не хватало только длинного зонтика и перчаток. Я оглянулся и заметил, что Стас изо всех сил вытягивает шею, чтобы получше рассмотреть Таньку. Два чёртовых скейлера тормознули на тротуаре и тоже принялись на нас пялиться, пока в них не врезался третий.

– Таня, – окликнул я, – привет!

Она повернулась на голос.

– Поддай мне руку, пожалуйста, – попросила она. – Что-то голова кружится. Я ведь не так часто... выхожу из дома...

Я помог ей спуститься с гранитной ступеньки. Нет, подождите: сперва поцеловал. Или поцеловал потом, когда помог спуститься? В общем, я, как умел, нежно взял её за руку и подвёл к машине. Стас оказался рядом и распахнул заднюю дверцу. Я даже не заметил, когда он успел выскочить.

– Это мой друг Стас, – представил я его.

– Здравствуйте...

– Да так-то можно на «ты», – растерялся Стас. – Очень приятно... В общем, садитесь, поехали. Тут долго стоять нельзя.

Мы забрались на заднее сиденье. Водитель вернулся за руль. Танька по-прежнему ничему не удивлялась.

– Не волнуйся, – сказал я ей. – Мы только немножко покатаемся – и обратно.

– Как странно, – сказала Таня, – именно об этом и предупреждала мама.

– О чём?

– О принце на белом «Мерседесе»... чтоб я поменьше ждала таких принцев...

– Это чёрный «Форд», – обиделся Стас. – Вы его не обижайте, а то он ехать не будет.

Он выключил аварийку и довольно резво тронулся, встраиваясь в поток. «Форд» явно не был обижен, что его назвали «Мерседесом».

– Куда, кстати, едем? – спросил он.

– К морю, – предложил я. – Прокатимся до Кронштадта.

– Дорогу покажешь?

Я занялся навигатором. Таня улыбалась. Иногда я отрывался от экрана, чтобы взять её за руку.

– Получается, что я впервые сбежала из дома, – сказала она мне.

– Но ты неплохо подготовилась, – ответил я. – Великолепно выглядишь.

– Жаль, что я не могу проверить. Одевалась наугад.

Стас поглядел в зеркальце. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. Хотя я и так понял его мысль. Ну, или домыслил за него. «Кристинка так нипочём не оденется, – подумал я за Стаса. – Скажет, что это не в тренде. Но если их двоих поставить рядом, как бы не пришлось Кристинке отдохнуть».

– Я оставила маме записку, – продолжала Таня. – Просто положила на столе. Написала, чтоб она не волновалась, потому что я с тобой...

– Я ей всё объясню... потом, – сказал я. – Надеюсь, она не сразу пустится в погоню? Ступа и метла стоят на подзарядке?

Стас снова взглянул в зеркало.

– Какой погоня, слушай, – сказал он, – у вас не водитель, а супермега-драйвер.

«Форд» согласно взревел, рванулся вперёд и едва успел встать на красном.

– Sorry, путаюсь в педалях, – пояснил Стас.

Я не буду рассказывать, с какими историями мы выбирались из города, хотя это по-своему интересно. Так или иначе, переехав два моста, мы свернули направо, потом ещё направо, на развязку, и устремились вдаль по Приморскому проспекту.

Нас обгоняли большие автомобили престижного чёрного цвета. Глядя им вслед, Стас грустнел. Два раза над трассой пролетали вертолёты с миллионерами или губернаторами – снизу было не рассмотреть. Я вполголоса рассказывал Таньке, что происходит вокруг.

Мы с ходу форсировали виадук в Лисьем Носу и скоро были у развязки с кольцевой дорогой. Справа на железнодорожной платформе скучали люди; мы свернули на развязку, описали широкую петлю и двинули по дамбе на Кронштадт.

Теперь по обе стороны от нас тянулась серебристая гладь залива. Город оставался по левому борту, а справа начиналось открытое море. Если сесть в быстроходный катер, то часов за пять по этому морю можно было добраться до Финляндии, а за десять – до Стокгольма.

У Стаса не было катера, но скорость его увлекала. Дорвавшись до магистралей, он выжимал из семнадцатилетнего «Форда» сто двадцать километров в час.

Вы уже догадались, что до Кронштадта мы не доехали.

Я опишу картину в подробностях, чтобы вам было понятнее.

На дамбе скоростная трасса не имела разделительной полосы. Справа тянулся внушительный отбойник и бетонный парапет, за которым виднелось море. Время от времени мы проезжали мимо титанических сооружений, похожих на остовы полуразобранных звездолётов – это были ворота для пропуска судов, снабжённые специальными задвижками, которые полагалось закрывать во время наводнений. Я рассказывал Таньке, как всё это выглядит, и для верности рисовал пальцем на ладонке инопланетные иероглифы. Стас уговаривал нас остановиться, чтобы сделать селфи, и один раз ему это удалось.

Так у меня появилась одна из лучших фотографий с Таней. Мы стоим с ней рядом на фоне бетонных объектов неясного назначения, над нами – ясное весеннее небо, солнце бьёт нам прямо в глаза, и мы улыбаемся, щуримся и держимся за руки. В ответ я сфоткал и Стаса: его длинные волосы растрепал ветер, и он на удивление красивым жестом пытается откинуть их со лба. Не знаю, оценила Кристинка эту фотографию или нет, но я сохранил её для себя. Теперь, когда я вспоминаю тот день, я снова вижу моего друга вот таким – весёлым и свободным, готовым к любым приключениям, и мне становится грустно, потому что это последняя фотка, где он такой.

Но я забегаю вперёд.

Изрядно продрогнув на ветру, мы втроём погрузились в машину и поехали дальше, болтая о всякой всячине. Стрелка спидометра плясала вокруг сотни, редкие встречные тачки появлялись и тут же исчезали, как разноцветные метеоры, грузовики обдавали нас ветром и пылью – и вдруг что-то произошло.

– Стой! – услышал я Танькин голос. – Пожалуйста, тормози!

– Ч-ч-то за... – прошипел Стас, но уже в следующую секунду его нога вдавила до упора тормозную педаль. Раздался ужасающий визг резины, «Форд» швырнуло в сторону, потом в другую, он пролетел ещё добрую сотню метров и встал, прижавшись правым бортом к отбойнику.

В первый момент я не понимал, что происходит, а потом посмотрел вперёд и понял. Это было бы красиво, если бы это было не с нами. Я видел, как нечто грязно-белое и массивное на полном ходу разворачивается поперёк

дороги и приближается, не забывая при этом беспрестанно и отчаянно сигнализировать. Я видел длиннющий кузов тяжёлой фуры с какой-то рекламной надписью на белом боку, несколько пар одинаковых вяло крутящихся и дымящихся огромных колёс и красную кабину тягача Volvo, уже наполовину оторванную от прицепа. Я видел, как всё это летит на нас, гудит и скрежещет, постепенно заваливаясь набок и рассыпая искры. Когда тягач оторвался полностью, белый короб прицепа наехал на него, и вся конструкция с грохотом сложилась, смялась и замерла в двадцати шагах от нас, перегородив все четыре полосы.

Красная кабина тягача оказалась прямо перед нами. Она выглядела целёхонькой, но от переднего колеса остались лишь красивый стальной диск со множеством гаек и уродливые ошметки горелой резины с торчащей проволочкой.

– Вот ведь дерьмо шведское! – сказал Стас про грузовик. Он только сейчас разжал побелевшие пальцы на баранке.

Я понял, что всё это время Таня держала мою руку в своей.

– Не бойся, всё кончилось, – сказала она мне.

Пожалуй, это было самое неожиданное пожелание – но очень своевременное. У меня, кажется, стучали зубы.

Я даже не стал спрашивать, почему она это знает.

Дверь в красной кабине Volvo раскрылась. Оттуда вывалился толстый водитель, в джинсах и белой футболке. Не обращая никакого внимания на нас, он встал возле лопнувшего колеса и принялся его фотографировать на телефон.

– Самое время селфи делать, – сказал про него Стас.

Сзади собралось уже шесть или семь машин. Чёрный лаковый БМВ, который шёл следом и минуту назад едва не догнал наш задний бампер, теперь осторожно вырулил из-за нашей спины и поравнялся с нами. Оттуда вышел рослый водитель. Постучал в наше стекло.

– Ты в рубашке родился, парень, – сказал он Стасу. – Давно за рулём?

– Не помню. Но по ходу в последний раз, – ответил мой друг.

– Мощно тормознул, вовремя. Вот это интуиция! Тебе в автоспорт надо.

– Так и скажу военкому, – проговорил Стас.

Его губы несколько запоздало начали дрожать. Он достал из бардачка сигарету (должно быть, отчима) и зажёл её от прикуривателя. Затянулся. Потом, не говоря ни слова, вышел из машины и принялся её осматривать.

На ней не было ни царапины.

Перед тем, как снова сесть за руль, Стас сказал мне:

– А ведь могли и не затормозить. Запросто.

– Танки грязи не боятся, – ответил я весело.

Вы уже поняли, что в тот день я вёл себя как дурак и говорил сплошные глупости. Но вы должны меня простить. Я не знал, что нас ждёт впереди.

А если бы знал, то, наверно, был бы лучшим экстрасенсом в программе у Тимура.

* * *

Простояв битый час в пробке, мы вернулись на Петроградскую.

Если бы я сказал, что мы всё это время не целовались с Таней на заднем сиденье, вы бы мне не поверили. Да, так оно и было. Мы целовались долго и необыкновенно нежно. Мне очень хотелось узнать, что же лежит за границами этой нежности – хорошо ещё, что «Форд» был тесным. Теперь-то я понял, что имел в виду отец, когда говорил про ключи от старого «Кадиллака».

Наконец Стас затормозил возле Танькиного дома. Деликатно отвернулся от зеркала.

– Если я сразу не вернусь, ты меня не жди, – сказал я ему.

Возможно, это было невежливо. Если бы я знал, что случится потом, я бы не оставлял его одного. Но, повторяю, экстрасенсом я не был.

Мы с Таней вошли в подъезд. Как только железная дверь захлопнулась за нами, я обнял её и прижал к себе.

– Что же нам теперь делать? – сказал я.

– Не знаю, – ответила Таня.

– Но я люблю тебя, – сказал я.

– Я тоже, – сказала Таня.

– Мне нужно больше, – сказал я.

Таня сомкнула руки на моей шее. Но не успела ответить. Где-то далеко наверху лязгнул замок, и знакомый голос, хорошо поставленный, учительский, прокричал:

– А ну, сюда немедленно! Оба!

Гулкое эхо смазало педагогический эффект, но мы всё равно поняли, что она хотела сказать. Держась за руки, мы поднялись по широкой старинной лестнице на семь пролётов. Свернув на последний, я увидел, а Таня услышала вконец разъярённую Марию Павловну. Надо полагать, она уже давно прислушивалась к сигналам домофона, и наше возвращение не прошло незамеченным.

– Явились – не запылились, – сказала она иронически. – Какая трогательная встреча!

– Но мама... я же написала, что буду с Денисом, – сказала Таня.

– Это, конечно, аргумент! С Денисом! Ты запомни это имя получше, чтоб ребёнок без отчества не остался!

– Мама... ну откуда такие мысли?

– Это не мои мысли. Это ваши мысли! Я в школе всю жизнь проработала! Я-то знаю, к чему приводят такие вот побег с уроков!

– С каких уроков? Мы взрослые люди, – возразила было Танька.

Но мать даже слушать не захотела. Схватила её за руку и потянула к себе. Наши руки расцепились, и я не смог её удержать.

– Сиди там! – велела мамаша дочери, втокнула её в квартиру и (клянусь, я не вру) прижала дверь всем своим корпусом.

– Ну, теперь и с тобой разберёмся, электрик, – сказала она. – Ты куда её водил? Чем вы там занимались? Говори!

– Мы ездили на море, – сказал я.

– Какое море в апреле? (Тут она понизила голос.) Зачем ей море, когда она его не видит? Скажи прямо: просто хотел затащить её куда-нибудь, где народу поменьше?

– Вы ведь никуда её не возите, – сказал я. – Нельзя всё время сидеть дома...

– Ты не ответил на вопрос! Что ты с ней делал? Что ты сделал с беспомощной девчонкой? А ну отвечай!

(«Ма-ма!» – донеслось из-за двери.)

– Мария Павловна, – сказал я, пытаясь оставаться спокойным. – Я отвечаю. Ваши подозрения несправедливы. Мы с Таней любим друг друга. Я никогда не позволил бы...

Тут я сбился и замолчал, подбирая слова. А Мария Павловна, как ни странно, слегка сбавила обороты.

– Они любят друг друга, – повторила она. – На третий день знакомства. Допустим. – Тут она ослабила нажим, и дверь приоткрылась. – Это правда?

– Правда, – ответила Таня.

И я, как бы ни был расстроен, всё же успел немного порадоваться.

Но Танькина мать снова прижала дверь спиной.

– Хорошо. Как именно вы собираетесь любить друг друга? Как долго? У вас есть какие-либо планы на жизнь, помимо любви?

– Я буду работать, – сказал я и тут же понял, что сделал это зря.

Мария Павловна усмехнулась.

– Я имела возможность оценить эффективность твоей работы, – сказала она. – Меня она не впечатлила. С этим понятно. Но, может быть, тебе будут помогать родители? Мать в курсе твоих походов?

– Я с отцом живу, – сказал я. – Мама в Америке.

– Нет, вы только послушайте! – училка даже поперхнулась. – С отцом! В Америке! Отец пьёт?

Что тут было ответить?

– Иногда, – сказал я. – Немножко.

– Могу себе представить! Кем он работает?

– Он... на телевидении.

– А вот теперь ты врешь, – сказала Мария Павловна с уверенностью. – Он уже давно не работает. Не вздумай мне врать, я тебя насквозь вижу. И то, что я вижу, мне нравится всё меньше и меньше.

– Не понимаю, зачем этот вопрос, – сказал я. – Дайте мне поговорить с Таней, и я поеду домой.

– Вот уж нет! Таню ты больше не увидишь. Я позабочусь об этом.

Дверь снова толкнули изнутри, но старая училка не дрогнула.

– Но почему? – не выдержал я. – Почему вы решаете за нас, как нам жить?

– Может быть, ты будешь за нас решать? – прищурилась Мария Павловна.

Я никогда не боялся училок. Но у этой в голосе было что-то такое, от чего мурашки пробежали у меня по спине.

– Слушай и запоминай, Денис Шевченко, – сказала она. – Я отдам свою дочку только тому человеку, кто сможет сделать её счастливой. Её счастье стоит примерно пятьдесят тысяч евро. Это цена операции на глазной сетчатке. Если каким-то чудом эти деньги найдутся у тебя, то я отойду в сторону. Если нет, даже не приближайся к нашей двери. Мне очень бы хотелось ошибиться, но я уже сейчас вижу: у тебя никогда не будет такой суммы.

Я стоял и хлопал глазами. Со мной ещё никогда не обходились так жёстко.

– Для тебя есть и хорошая новость, – продолжала учительница. – Насколько я могу судить, ты легко найдёшь себе любую другую дурочку. Только о моей дочери и думать забудь.

– Но я не хочу... – начал я.

– Если ты от неё не отвяжешься, жди беды. Понял?

Я снова почувствовал как будто щелчок по лбу – но на этот раз эта училка меня и пальцем не тронула.

– Это было последнее предупреждение, – сказала она. – А теперь прощай!

Дверь захлопнулась, и я остался один на лестничной площадке, выложенной красивыми кафельными плитками. Большие белые соседствовали с маленькими голубыми. Я некоторое время рассматривал этот орнамент, не вполне понимая, что произошло.

Моя голова кружилась.

Держась за пыльные деревянные перила, я спустился на один пролёт и присел на подоконник. Несколько минут мне казалось, что меня вот-вот стошнит, но этого не случилось.

Даже не знаю, сколько я просидел так, уронив голову на руки. Наконец внизу закрипела и хлопнула железная дверь, и я очнулся.

Кто-то поднимался по лестнице, шаркая ботинками и стуча палкой. Кажется, этот кто-то тащил за собой тележку на колёсиках, было слышно, как она методично бьётся о каждую ступень. Мерный стук палки приближался, и скоро я увидел седого старика с тележкой. Я наморщил лоб, пытаюсь что-то вспомнить, но так и не вспомнил.

Старик остановился возле двери своей квартиры на третьем этаже. Прислонил тележку к стене. Медленно повернулся и посмотрел в мою сторону. Нас разделял лестничный пролёт.

– Спускайся сюда, – сказал он неожиданно звучным голосом.

* * *

Холщовый мешок с деревянными дощечками лежал там, где его забыли – под лавкой, возле старинного чёрного шкафа в тёмном углу галереи. Королева огляделась. Вокруг никого не было.

Она нагнулась и подняла мешок. Сунула руку внутрь. Извлекла на свет несколько табличек, покрытых воском.

На одной было что-то нацарапано. Королева пригляделась. Поднесла к самым глазам. Прочла. Кажется, выругалась про себя.

Она отбросила мешок прочь. Попробовала отворить дверцы шкафа. Ничего не получилось. Шкаф был заперт – либо снаружи, либо... изнутри.

Подумав об этом, королева очень, очень рассердилась.

Она уже готова была кликнуть прислугу, как в галерее послышались шаги. В полумраке королева увидела два силуэта: мальчик и девочка шли, взявшись за руки.

«Может, они просто гуляли, чёрт бы их побрал, – промелькнуло у неё в голове. – Хотя... стоит только посмотреть на эти счастливые физиономии... Ну, погодите, я вам устрою!»

– Подойди ко мне, Хлоя, – окликнула королева. – А ну, покажись. Подними лицо. Где ты пропадала? Почему у тебя вся голова мокрая?

– Мы попали под дождь, – сказала дочка, загадочно улыбаясь.

– Какой ещё дождь? Уже неделю нет никаких дождей! Ради всего святого, не лги мне!

Пока не поздно, стоит объяснить эту небольшую загадку. Конечно, Дафнис и Хлоя вышли из шкафа раньше, чем возле него оказалась королева. Чуткий слух принцессы уловил шаги матери, и наша парочка успела заблаговременно скрыться в тёмном углу за колонной. Вот только мешок с предательской табличкой так и остался там, где они его оставили утром.

Что касается таблички Дафниса, то она лежала у него за пазухой. Нет, он не врал, когда обещал сохранить её навсегда.

И вот теперь он стоял за спиной у принцессы, изо всех сил стараясь казаться спокойным. Его мокрые волосы были зачёсаны назад, открыв высокий лоб и красивые брови, и он совсем не был похож на деревенского дурачка, каковым его выставляла хитрая дочка.

«Они просто посмеялись надо мной», – подумала королева с ненавистью.

– А ну, бездельник, подойди сюда! – велела королева Дафнису. – Ближе! Ближе! Что ты делал с принцессой? А ну, говори!

– Мы всего лишь гуляли, ваше величество, – сказал Дафнис тихо. – Прошу прощения. Я учил её писать слова на восковых дощечках.

– Это, что ли, твои прописи? – вскрикнула королева и помахала у него перед носом найденной табличкой. – «Я тебя люблю!» Вот чему ты её учил?!

– Это другое... – начал было Дафнис.

Но королева, швырнув деревяшку на пол, вцепилась ему в воротник:

– Негодяй! Поганый клошар! Нищеврод! Вы всего лишь гуляли, надо же! Да как ты смел даже приближаться к моей дочери! Ты хотел её обесчестить? Ты её обесчестил? («Мама», – напрасно звала её Хлоя.) А ну, говори, или я заporю тебя розгами на конюшне!

Тут она так сильно дёрнула потрёпанную Дафнисову рубашку, что та порвалась ровно посередине, и обнаружилась спрятанная под нею восковая дощечка. Её величество хищно выхватила улику – та была, что называется, ещё тёплой. «Не иначе как любовный жар нагрел её», – успела подумать королева.

«Я люблю Дафниса», – было нацарапано на слое воска. Пусть и вслепую, но от души.

Несколько мгновений все молчали.

– Ах, вот оно что, – ледяным тоном промолвила королева. – Теперь всё ясно.

Хлоя разрыдалась.

Дафнис слишком поздно понял, что дело принимает худой оборот. Он оглянулся, но в конце галереи уже виднелись чьи-то фигуры. Должно быть, то были слуги королевы. Их вид не предвещал ничего доброго.

– Я больше не требую ни от кого объяснений, – сказала королева. – Этот ничтожный раб жестоко поплатится за своё вероломство. Ты, Хлоя, больше его не... одним словом, для тебя его больше нет. Ты – принцесса и выйдешь замуж только за короля!

– Но я... – начал было Дафнис.

– Не смей перечить мне! Эй, кто там есть? Подойдите сюда!

Дафнис стоял как громом поражённый. Было похоже, что он ничего не видит и не слышит. Кажется, дочка о чём-то умоляла королеву, тянула к ней руки, но та была непреклонна. По её приказу слуги очень больно выкрутили руки Дафнису (неприятно говорить об этом, но среди этих слуг были и его приятели) и повели его прочь, во двор замка, к дворцовым конюшням. Когда за ними захлопнулись двери, принцесса Хлоя упала без чувств.

* * *

– Спускайся, – сказал мне старик с тележкой.

Я послушался. Слегка покачиваясь, спустился по лестнице на пролёт вниз.

– А чего штормит? – спросил старикан. – Выпил? Нет, вроде, не похоже. Курил?

– Да не курю я.

– Вот это правильно. Держи тележку.

Он отворил свою дверь. Вошёл. Я последовал за ним. Вкатив телегу через порог, я потянул носом воздух. В этой квартире пахло очень необычно: масляными красками, олифой и, кажется, скипидаром. Кроме того, я чуть не опрокинул тележку. Она была на редкость неустойчивая и валкая.

– Что у вас там? – спросил я.

– Что, что, – отвечал старик, не оглядываясь, – картины. Этюдник. Много чего. Оставь тут, в углу.

«Так он не бомж, а художник», – удивился я.

В захламлённой мастерской, где все стены были завешаны пыльными портретами, я уселся на продавленный диван, а старик отошёл в конец комнаты, где у него на этажерке была расставлена всякая всячина. Среди прочего я заметил початую бутылку портвейна.

– Выпьешь? – спросил старик.

Я помотал головой.

Он пожал плечами, потянулся за бутылкой, налил себе одному в грязноватый стакан. Затем оседлал крепкий стул, сделанный из гнутых палок («Венский стул», – пояснил он.) Разом выглотал содержимое стакана, крикнул и поглядел на меня.

– Давай знакомиться, – сказал он. – Меня зовут Пётр Антонович. Пётр Антонович Безмухин. Графика, акварель. Бывший член союза, и всё такое прочее. Сейчас рисую портреты на заказ для гостей нашего города.

– Денис, – представился я. – Денис Шевченко. М-менеджер по доставке. («А это точно я?» – подумал я вдруг.)

Художник пристально посмотрел на меня. Его глаза сделались живыми и любопытными. Хотя я знал, что это ненадолго.

– Я тебя давно приметил, Денис Шевченко, – сказал Пётр Антонович. – Ты тут уже третий день трёшься. Доставляешь что-нибудь? Или одни, хе-хе, неприятности?

– Может быть, – сказал я. – Я... не помню.

– Может, ты псих? – спросил он. – Меня вот все психом зовут. Я уж и не обижаюсь. Даже удобно. С психа и взятки гладки.

– Я не псих, – сказал я. – Просто голова кружится.

– Так ты выпей, она и перестанет.

Я с сомнением посмотрел на бурюю жидкость в бутылке.

– Немножко, – сказал я.

Пётр Антонович налил мне полстакана. Я опрокинул жидкость в горло и еле успел сдержаться, чтоб не выплеснуть обратно. Чуть позже сладкая дрянь протекла в желудок, и стало спокойнее.

Тем временем художник встал. Вытащил из-под дивана (я не вру) лист плотной бумаги. Положил его на обшарпанный лист фанеры. И как-то очень ловко, за пять минут нарисовал мой портрет чёрным жирным мелком.

На портрете я был больше похож на себя, чем в зеркале. Только глаза получились слишком умные. Несколькими штрихами художник наметил фон, и рисунок сразу стал объёмным.

– Забирай, – сказал Безмухин. – Хотя нет, помнётся. Лучше напиши адрес, я по почте пришлю. Подарок от мастера, на долгую память.

Я записал адрес на клочке бумаги.

– Да не электронный. Простой. Я этими вашими интернетами не пользуюсь. Я припомнил дом и квартиру.

– А улица? – спросил Пётр Антонович.

– Мы на острове живём, – пояснил я. – У нас улиц нет.

– Вот оно что. А я уж думал, совсем у парня крыша поехала. Как голова, кстати?

– Как после нокдауна, – признался я.

– Так-таки ничего и не помнишь?

Я прислушался к ощущениям. Как ни странно, мерзкое пойло произвело на меня некоторое действие. Голова, и верно, больше не кружилась. Просто она была пустая и звенела, как футбольный мяч после удара.

– Я приносил Тане телефон, – сказал я. – Таня – это девушка.

– Понятно, что не бабушка.

– А потом мы полюбили друг друга.

– Тоже весьма логично.

– Но мы поссорились с её матерью. Она сказала, что отдаст Таньку только тому, кто найдёт деньги на операцию.

– И теперь ты не знаешь, что делать?

– Не знаю.

– Тогда ещё выпей.

Безмухин забрал у меня пустой стакан и вернул полный. Налил и себе.

– Вот она, проза жизни, – проговорил он. – И ведь знаешь, в чём вся подлость ситуации? Её мать абсолютно права.

Я кивнул.

– Посмотри на меня, – сказал он. – Когда-то мне тоже нужно было выбрать – заводить семью или посвятить себя искусству. Это был непростой выбор, поверь мне. Что такое семья для художника? – Тут он несколько театрально взмахнул рукой, но стакан не расплескал. – Это конец всех надежд. Мещанское болото. Мебель в рассрочку. И в центре всего – детская кроватка: уа, уа, уа... как милицейская сирена...

Он засопел носом, будто вспомнил что-то не слишком радостное.

– Да, – продолжал он. – Ты больше не пытаешься летать. Ты окольцован. Ты прикован к своему семейному гнёздышку. Ты не видишь ничего вокруг. – Он зажмурился и помотал головой, но стакан в его руке опять же не дрогнул. – Ты ничего не видишь и внутри. Мир твоей мечты блекнет в твоих снах... и в твоих рисунках... Ну что же, за мечту?!

Это был тост. Я послушно выпил и понял, что ещё немного – и я сам превращусь вот в такого Безмухина.

– Я найду эти деньги, – сказал я. – Придумаю что-нибудь. Я так просто не сдамся.

Безмухин неожиданно рассмеялся.

– Какой ты смешной, парень, – сказал он. – Когда мне было лет двадцать, я думал точно так же. Я думал, что стану знаменитым художником-нонконформистом... Увезу свою девушку в Париж...

Я посмотрел на него сквозь стакан.

– И что было дальше? – спросил я, громко икнув.

– Ожидания затянулись, – сказал Пётр Антонович. – Она выбрала конформизм. И продавца из мясного отдела.

Его глаза потухли. Я знал, что так бывает с давно пьющими людьми. Думать об этом, правда, не получалось. Меня подташнивало. Я поднялся и пошёл искать уборную.

Когда я вернулся, художник Безмухин спал прямо на стуле, опустив голову на руки. Стараясь ступать потише, я вышел в прихожую. Добрался до шкафа, надел куртку. И тут мне пришла в голову ещё одна мысль. Я вернулся в мастерскую. Поискал и нашёл на этажерке то, что хотел: мягкий художественный мелок, чёрный и жирный, похожий на кусок угля.

Я вышел на лестницу. Заходящее солнце заглядывало в громадные окна. Пошатываясь, я поднялся на верхний этаж. На стене возле Таниной двери размашисто написал:

I'LL BE BACK

Перечитав надпись, я остался доволен, хотя и подумал, что в ней чего-то не хватает. Я ещё немножко порадовался своей изобретательности (наверно, я всё-таки был изрядно пьян). Потом развернулся и пошёл вниз. Дверь подъезда захлопнулась за мной. Я шёл по красивому вечернему проспекту мимо танцующих фонарей, стараясь не встречаться взглядом с полицейскими. Слегка притормозив у турникета в метро, в дальнейшем я уже не отключал автопилота, пока не очутился на нашем родном чудо-острове. Уже затемно выбрался из автобуса, поднялся на лифте на свой этаж, ввалился в квартиру и рухнул на кровать в чём был.

* * *

Дафнис лежал ничком на полу конюшни.

Первое время он пытался подняться. Потом обессилел и остался лежать, уткнувшись носом в сырую солому.

Кто-то прикрыл его спину старой рогожкой – от мух. Рогожка пропиталась кровью. Вся спина Дафниса была исполосована глубокими рубцами. Раны почти перестали кровоточить, но каждое движение доставляло адскую боль.

Иногда ему удавалось забыться, и тогда – по необъяснимому капризу памяти – ему чудился морской берег, солёные брызги и шум прибора. Мерцающий во тьме остаток сознания уже готов был погаснуть, но всякий раз новый взрыв боли, словно злобный окрик, возвращал Дафниса к жизни.

Его били ивовыми прутьями, специально размоченными в солёной воде. Он насчитал полсотни ударов, затем сбился со счёта. Перед тем же, как начать экзекуцию, его шею и руки крепко зажали в колодки, вероятно, предназначенные специально для этого. Он не мог ни шевельнуться, ни прикрыться. Даже разбить голову о пол не получалось.

Потом его вынули из колодок, принесли сюда и бросили на солому. Кто-то из слуг, что его били, склонился над ним и произнёс негромко:

«Не вздумай подохнуть. Такого приказа не было».

Кто-то другой – добрая душа – накрыл его холстиной, и Дафнис остался один.

День клонился к вечеру.

Избитый парень снова очнулся, когда часы на башне прозвонили то ли шесть, то ли семь. Голова кружилась. Нестерпимо хотелось пить.

Желание Дафниса было услышано. Кто-то с хрустом сорвал рогожку и щедро окатил его изувеченную спину водой из ведра. Он застонал и выругался, стиснув зубы.

– Что ты сказал, поганец? – раздался над ним голос королевы. – Повтори. Но Дафнис промолчал.

– Тебе не нравится моё справедливое наказание?

Дафнис не ответил.

– Ты знаешь нечто, чего не знаю я и что могло бы заставить меня проявить милосердие?

Увы, Дафнис не мог уяснить, о чём говорит эта злая женщина. Быть может, если бы он понял вопрос, он бы ответил, что любовь – удивительная штука, и что любовь – единственное преступление, которое должно быть прощено целиком и полностью... Но он мог только лежать и стонать.

Королева окинула его долгим взглядом.

– Ты никогда больше не увидишь принцессу, – сказала она вслух.

– Но п-почему... – выдал из себя Дафнис.

– Ты всё узнаешь утром.

Сказать по правде, королева колебалась. То, что она задумала сделать, было жестоко даже для нынешних тёмных времён. Король Ричард не одобрил бы её решение. Но он умер, и его наследие пошло прахом из-за его же долгов. На короля можно было не оглядываться.

Если бы сейчас мальчишка расплакался, попросил бы пощады, его участь ещё могла быть пересмотрена. Королева была не прочь припугнуть вилланов, но вовсе не желала прослыть чудовищем. На свою беду, Дафнис не плакал.

Хуже того. Он приподнялся на локтях и обернулся. Его лицо было бледнее самой смерти, но он не просил прощения.

– Ваше в-величество, – проговорил он. – Я люблю Хлою. И Хлоя любит меня. Я прошу ваше в...

Никто не узнал, о чём он хотел попросить, потому что её величество нетерпеливо махнула рукой. Слуга подскочил к лежавшему и пнул так, что тот уронил голову на землю и больше не поднял.

Королева поморщилась.

– Как рассветёт, принесёшь жаровню и железо, – сказала она услужливому лакею. – И покончим с этим.

Она развернулась и вышла, слуга последовал за ней. Другой же остался навести порядок в конюшне. Он, собственно, и служил конюхом. Звали его Жан. В своё время король Ричард держал превосходных лошадей, но с тех пор его двор обеднел, и работы у слуг поубавилось.

Конюх Жан поднял ведро: в нём ещё оставалась вода. Он потрепал Дафниса по плечу. Приподнял голову. Дал напиток.

– Слыхал? – спросил он вполголоса. – Дело дрянь.

– Почему д-дрянь? – спросил Дафнис, стуча зубами по медному краю ведра.

– Разве ты не понял? – сказал конюх. – Не видать тебе больше твоей девчонки.

Дафнис заскрипел зубами.

– Что... – начал он. – Что она хочет сделать?

– Да уж дай бог не то, что учиняют с иными жеребцами... Её величество прикажет тебя ослепить, и вся недолга. Вот и не увидишь ты принцессу.

– Н-нет, – промычал Дафнис, пытаясь встать на четвереньки.

– Куда пополз, чёрт тебя дерит? Мне велено тебя сторожить. Да и со двора тебя никто не выпустит.

– Помоги мне, Жан... Я тебе всегда помогал, пока ты ходил за лошадами... воду тебе таскал... помнишь? Вытащи меня отсюда.

– Не могу, парень. Оно, конечно, не по-людски так поступать. Но не могу. Мне семью кормить. Тебя всё равно схватят, а там и про меня дознаются.

– Жан... дружнице... ну сделай хоть что-нибудь. Буду всю жизнь за тебя молиться.

Жан посопел носом.

– Никудышная сделка, – заметил он. – За побег тебя вздёрнут на ближайшем суку. Вот и конец твоим молитвам.

– Не шути так, Жан. Ты лучше вот что: расскажи принцессе... про меня.

– Вот ты придумал! Она же весь день сидит взаперти. Да и почём ты знаешь – может, она сама жалеет, что с тобой связалась?

– Нет, Жан, она меня любит.

– Ты сам-то в это веришь?

Дафнис ответил не сразу.

– Да, я верю, – сказал он. – Я верю... что у нас всё будет хорошо. Так ей и передай... прошу тебя.

– Уже бегу со всех ног, – проворчал конюх.

Дверь за ним закрылась. Лязгнул засов.

«Кто его знает, чем оно обернётся? – думал Жан, прохаживаясь взад и вперёд у двери. – Может, он везучий, этот чёртов бродяга? Не у каждого крестьянина принцесса ходит в подружках».

«Кончилось его везение. Пусть теперь помучается, – ответил он сам себе. – Пусть знает своё место».

«Ну ты и свинья, Жан, – думал он дальше. – Готов носом землю рыть для королевы. Только что ты с неё получишь за своё усердие? Ведро помоев к празднику? Вспомни старика Ричарда: тот нашего брата жалел. Даже не порол никого».

«Не наше это дело – обсуждать господ», – возразил Жан сам себе.

«А вот и наше. Нам с ними жить да жить. А теперь смекни, Жан: если парнишка вдруг да остался у принцессы в фаворе... тогда ведь, если дело выгорит, не прилетит ли нам парочка золотых от девчонки, а?»

«И парочка горячих от мамы».

«Проглотим, не впервой. А денежки останутся».

«Может, ты и прав, Жан».

«Тогда действуем».

Согласившись сам с собой, конюх приободрился. Он проверил засов, огляделся по сторонам и не спеша направился к башне.

* * *

Утром отец сказал мне, появившись в проёме двери:

– Вчера твой друг разбился на машине.

Я спустил на пол ноги в носках и увидел, что мои кеды кто-то аккуратно поставил рядышком возле самой кровати.

– Стас? – переспросил я зачем-то. – Как разбился? Когда? Он жив?

– Объясняю по пунктам, – сказал отец хмуро. – Он жив, но в реанимации. Разбился в подвенадцатого ночи в нашем долбаном тоннеле. Машина в хлам. Движение остановили на полчаса, пока его из-под фуры вытаскивали.

– Откуда ты знаешь?

– Галя ночью звонила. Его мать. Тебя тоже спрашивала, но ты валялся без задних ног. Я не стал будить.

– Без задних ног... – повторил я.

– Я всё же хотел бы знать, где ты был и почему такой вернулся. Вы же вместе уехали?

Мой отец редко задаёт такие вопросы. Поэтому, если задаёт, я всегда отвечаю.

– Мы сперва катались, – сказал я. – Поехали на дамбу. Потом... отвезли девушку на Петроградскую. И расстались. Я думал, он домой поедет.

– Девушку? Это какую же? Его Кристину?

– Нет. Мою.

Отец наморщил нос. Так он скрывает, что недоволен.

– Твою девушку? Ту, которая...

– Да. Её зовут Таня, – сказал я.

– Вы вдвоём катали одну девушку? А потом ты завис где-то и вернулся... очень усталый?

Я не отвечал. Он тоже умолк. Потом покачал головой:

– Как-то хреново вы расстались, как я посмотрю. Да и водитель он неопытный. Может, лучше было с ним поехать? Присмотреть за ним?

– Я тогда об этом не думал, – признался я.

– Пил-то с кем? Неужели с Таней?

– Нет. С одним художником.

– Ещё не легче. Выдрать бы тебя... но ты и сам всё понимаешь. Думай, что теперь делать.

Я кивнул. Отец вышел и прикрыл дверь. Мне стало тоскливо.

Я достал телефон и увидел то, что боялся увидеть. Два неприятых звонка от Стаса. Один вчера в одиннадцать ночи, другой через десять минут после первого.

За четверть часа перед въездом в тоннель.

«Думай сам», – говорит отец. А откуда я знаю, что делать?

Хотя нет. Знаю.

Я вышел в прихожую. В старой телефонной книжке (там половина номеров написана ещё маминой рукой) нашёл городской номер Стаса.

Ответил его отчим. В первый момент я хотел повесить трубку, но не стал. Или не успел.

– Я, короче, сейчас еду в больничку, – сказал отчим, – на такси, потому что больше не на чем. – Тут он выругался в сторону. – Если хочешь, спускайся, вместе поедem. Но я ждать не буду. На такси счётчик тикает.

Я даже порадовался, что спал в одежде. И через пять минут уже был внизу.

Отчим у Стаса был хилым и нервным мужиком, на полголовы ниже меня, с недостатком зубов и полустёртой татуировкой на руке. Не знаю, зачем его мама живёт с таким. Хотя, как я упоминал, это семейное счастье у неё не первое, и она вполне могла привыкнуть. Отчим сунул мне клешню для пожатия, велел сесть вперёд, сам развалился на заднем сиденье, закурил и всю дорогу ни о чём меня не расспрашивал.

В больнице мы потолкались минут двадцать в регистратуре, пока нам наконец не выдали халаты и не пропустили на этаж. По коридору слонялись угрюмые больные; все они чем-то неуловимо напоминали стасовского отчима. Вокруг воняло озоном и лекарствами. Нам пришлось ещё подождать, пока наконец серьёзная медсестра (или кто она там) отвела нас на отделение реанимации. Она что-то тихо сказала отчиму, тот даже присвистнул и помрачнел ещё больше.

Стас лежал на ослепительно белой постели, его перебинтованная голова покоилась на низенькой подушке, глаза были закрыты, а в руку была воткнута игла капельницы. Но я смотрел не на капельницу и даже не на его лицо, которое было белым, как подушка. Я смотрел на его ноги.

– Из машины полчаса выковыривали, – пояснил отчим, который смотрел туда же. – Вот оно как брать тачку без спросу...

Тут он заткнулся, и я наконец понял, почему тело Стаса под белой простыней выглядит таким коротким. Его ступни были отрезаны по самую щиколотку.

– Кости стоп полностью разможены, – пояснила медсестра. – Ампутацию провели сразу же. Другого выхода не было.

– Ужас какой! – проговорил я.

– Действие наркоза кончается. Сейчас он ещё спит. Пробуждение будет нелёгким.

– Вот ведь... – выругался отчим. – А кто мне на вопросы ответит?

Медсестра нахмурилась.

– Подождите, – сказала она. – Сейчас придёт завотделением. Или вам нужен полицейский протокол? Тогда это не к нам.

– Да я из него и без протокола всё вытрясу, – сказал отчим.

– Постарайтесь сдержаться. Хотя я понимаю...

– Что ты понимаешь... – сказал отчим.

– Давайте я с ним поговорю, – вмешался я. – Не надо его мучить.

– Чего-о? – вскинулся отчим, но тут Стас вздохнул и приоткрыл глаза.

Думаю, он понимал, где он. Он перевёл глаза с медсестры на отчима и потом на меня. И проговорил чуть слышно:

– Дениска. Ты здесь.

– Все мы тут, – сказал отчим нетерпеливо, но я так на него посмотрел, что он умолк.

– Дениска, – повторил Стас, будто забыл, что уже называл моё имя. – Всё-таки хреновый из меня гонщик.

– Потому что не надо в телефон играть на ходу, – вставил отчим. Видимо, от полицейских он узнал ещё что-то, чего не знали мы.

– Да, – сказал Стас. – Дениска, ты Кристинке напиши, чтоб не волновалась. Я хотел ей селфи послать из тоннеля. Наверно, не дошло. Как Таня? У вас всё получилось?

– Всё хорошо, – сказал я. – Ты лежи спокойно.

– Что-то ноги болят. И не шевелятся вообще. Крепко забинтовали, наверно. Попроси, пусть доктор ослабит...

Я чувствовал, как у меня выступает пот на лбу.

– Ты лучше скажи, куда ездил, – выпалил отчим. – Проституток возил? Сигары почему в салоне валяются?

Глаза у Стаса нехорошо сузились, а губы даже побелели от злости. Таким я его никогда не видел.

– По себе не суди, шнырь, – сказал он не очень-то родному папе.

Что такое шнырь, я не знал, но догадывался. Меня изумило то, что отчим с этим и не спорил. Только ухмыльнулся щербатым ртом:

– Ты мне теперь тачилу новую купишь, – сказал он. – Козёл безногий.

– Что? – не понял Стас. – Что?..

В это мгновение я поступил не вполне адекватно. Наверное, не стоило так делать, но я сделал. Я сгрёб тщедушного Стасовского отчима за воротник халата и выпер вон из комнаты, причём медсестра охотно распахнула передо мной дверь. За дверью продолжалось ещё что-то, но я смотрел только на Стаса.

– Что он сказал... – прошептал Стас, сиюсь приподнять голову и посмотреть. – Почему же... они болят...

– Стас, – позвал я.

– Ты мне скажи... почему он так говорит? Они же на месте, мои ноги? Подними меня, я посмотрю...

– Стас, – сказал я, чувствуя комок в горле. – Всё будет нормально. Пальцы тебе ампутировали, ну, и ещё... немножко... потом приделают специальные шарниры, биопротезы...

Я нёс эту ахинею, чтобы хоть что-то говорить, потому что видел, как его глаза расширяются от ужаса.

– Чёрт, чёрт, чёрт... – пробормотал он (и это я ещё смягчаю слова, что он сказал). – Что же это такое... что я наделал... чёртов урод...

Тут слёзы сами собой полились из его глаз. Я не видел его плачущим лет десять, да и он меня тоже. Он изо всех сил попытался подняться, но не

смог – кажется, это было предусмотрено конструкцией кровати. Я еле удержал его руку, чтобы он не выдернул иголку или не уронил капельницу.

– Успокойся, – говорил я ему. – Всё будет в порядке, я тебя не брошу... это я урод, что тебя оставил... Но ты мой лучший друг, Стас, ты же знаешь... и так будет всегда.

Я говорил что-то ещё и держал его руки, пока он не перестал дёргаться. Возможно, в капельнице всё же было успокоительное. Мало-помалу он затих и только изредка всхлипывал.

– Ты мой тоже лучший друг, – сказал он не вполне внятно и умолк.

Тут дверь открылась, и вошёл завотделением – рослый мужик, больше похожий на переодетого военного.

– Ну и что там с нашим Шумахером? – спросил он бодро. – Пусть радуется: могло быть и хуже, как у упомянутого гонщика... а тут – живой, здоровый и красивый. Все сестрички на тебя заглядывались, Станислав, хотя при такой кровопотере реакция с твоей стороны могла быть сугубо платонической...

Я клянусь: услышав всё это, Стас даже улыбнулся своими бледными губами. Доктор явно знал, как найти подход к пациентам.

– И ещё скажу тебе с огорчением, Станислав, – продолжал доктор с приторной строгостью, – страна потеряла в лице тебя прекрасного пехотинца. Но в танкисты ещё могут взять, так и знай!

Стас ещё раз улыбнулся.

– Вот и отлично, – сказал доктор. – Может, принести тебе свежую прессу? Или твой телефончик с интернетом?

– Хорошо бы, – сказал Стас. – Почитаю соболезнования ВКонтакте.

– Ах, да, – врач сделал вид, что вспомнил, – там на отделении ещё один посетитель дожидается. Точнее, посетительница. Уверяет, что наш потерпевший будет рад её видеть. Приглашать?

В глазах Стаса снова засветилась жизнь.

– Кристинка? – спросил он. – Она вернулась?

Мы вышли, а Кристинка вошла. Над этой сценой я опущу занавес, даже не ожидая услышать ваши аплодисменты.

Забавную историю про шведского бойфренда я расскажу когда-нибудь потом, если будет настроение. А в тот день я просто был очень рад, что они встретились и у них всё получилось.

Только одна мысль не оставляла меня: если бы я поехал с моим другом в тот вечер, я не дал бы ему делать селфи в тоннеле. И уж точно заставил бы снять idiotские хипстерские очки, в которых он ничего не видел, особенно в темноте.

Хотя нет, была и вторая мысль. Мы могли убраться оба.

* * *

Остаток дня я слонялся по городу. Я никого не ждал, идти мне было некуда, а домой не хотелось.

Я погулял по мегамоллу в Купчино. Съел отвратительный бургер. Посмотрел на беззаботных людей, которые ходили, стояли и сидели, уткнувшись в свои телефоны. Всё у них было в порядке и с ногами, и с глазами, и с видами на будущее.

Мой друг Стас прислал мне сообщение:

«Смотри, это мы с Крыской».

На приложенной фотографии они были запечатлены в профиль, нос к носу. Вот только поцелуй у них вышел смазанным, потому что Стас с непривычки косился на камеру.

«Какие вы классные...» – написал я. И постарался вспомнить что-нибудь понятное, что понравилось бы и Кристинке, всё равно же он ей покажет. И вспомнил: «Вы такие разные – и всё-таки вы вместе».

«Это точно, мы разные, – ответил он. – Теперь я короче неё на десять сантиметров. Ладно, пофиг, будем привыкать к новой реальности».

И поставил ряд забавных смайликов с черепушками.

Я забыл рассказать о ещё одном важном событии этого дня. Пока я прохлаждался в кафе мегамолла, мне позвонил Игорь Трескунов по прозвищу Скунс.

«Привет, Шевченко, – сказал он. – Деньги-то думаешь возвращать?»

Вместо ответа я послал ему фотографию цыганской «Приоры» на парковке у офиса. Кто-то сидел в ней сзади – наверняка та самая гипножаба с макияжем и золотыми кольцами.

Возможно, аппарат в подарочном пакете попросту вернулся к Трескунову на склад, до следующей продажи. Возможно, схема была хитрее. Но идея была проста, как всё гениальное: любого менеджера, который надоед, можно было подставить на любую сумму, не теряя ровным счётом ничего.

Моё письмо должно было показать мошенникам и негодьям, что их игра разгадана.

Ответом было зловещее молчание.

К вечеру я, усталый и грустный, вернулся на остров. Выходя из жёлтого автобуса, я смотрел под ноги и поэтому не заметил сразу многих интересных вещей.

Серебристая «Лада Приора» была припаркована недалеко от нашего дома, в стороне от фонарей. Если бы я не так устал, я бы разглядел и знакомый номер.

Четверо крепких молодых людей стояли у продуктового, и никого из этих четверых я никогда раньше не видел. Это было нетипично для Канонерки. Если бы я был повнимательнее, я бы сразу понял, что к чему.

То есть я это понял, когда было поздно. Все четверо уже двинулись ко мне. Нет смысла рассказывать, какими они были. Наши местные гопорезы были не такие породистые. И не носили нунчаки в карманах.

Меня били за автобусной остановкой методично и умело. А главное, очень больно. После первых же ударов моя куртка лопнула в нескольких местах. Телефончик вылетел из кармана и только пискнул, когда кто-то из моих вечерних гостей втоптал его в грязь. Мне прилетело также и по морде, и вот эти-то удары были наиболее убедительны. Вы должны простить мне эту горечь и этот сарказм. Это я сейчас так рассказываю, а тогда мне просто было очень и очень больно.

Они отстали от меня, когда чей-то знакомый голос со стороны нашего подъезда настоятельно потребовал разойтись. Что-то дважды хлопнуло, и мои экзекуторы нехотя разбежались. Хлопнули дверцы, и я услышал, как их машина уезжает.

Я поднял голову.

Я даже не знал, что отцовский газовый пистолет ещё способен стрелять. Раньше он брал его с собой, когда ему приходилось возвращаться с работы поздно ночью, на служебной развозке.

– Дэн, держись, – сказал он, склонившись надо мной. – Дышать больно? Двигаться можешь?

– Всё болит, – пожаловался я.
– Вижу. Будем вызывать скорую.
– Не надо. Не хочу в больницу...
– Не отдам я тебя в больницу, не бойся. Рёбра можно и дома лечить, а нос новый вырастет... Пока лежи, дыши воздухом...

Он снял свою куртку, скатал валиком и подложил мне под голову. Потрогал лоб и заодно пригладил волосы.

– Теперь красивый, – сказал он.
– Папа, – сказал я. – Ты один у меня остался.

И вот тут от жалости к себе я расплакался, как первоклассник.

* * *

Прошло две недели.

Я так спокойно пишу об этом, чтоб вы знали: со мной действительно не происходило за это время ничего достойного внимания. Несколько трещин на рёбрах не требовали особого лечения, хотя и доставляли немало неприятностей. Нос поболел и перестал. Разбитая бровь почти зажила, и на исходе второй недели мне сняли швы в ближайшей поликлинике. Изувеченную куртку папа выбросил на помойку, потому что наступили тёплые дни, и она стала не нужна.

Я забыл сказать: после майских праздников он вышел на работу. Его снова взяли на телевидение. Теперь он помогал молодым репортёрам сочинять сюжеты, сам писал какие-то подводки и в общем чувствовал себя востребованным, в отличие от меня.

Я же попросту убивал время. Валялся на диване с утра до вечера. Лазил по интернету. Равнодушно расставлял смайлики в социальных сетях. За окном зеленели деревья и чирикали воробьи, белые пассажирские лайнеры всё чаще проходили по каналу, но это занимало меня всё меньше и меньше.

По временам я звонил Стасу и Кристинке. Как ни странно, они оказались хорошей парой. Я долго не верил в чудеса, но их чудо всё-таки случилось. Неужели, думал я, обязательно нужна большая беда, чтобы научиться видеть счастье?

Сказать, что я не завидовал, было бы неверно.

Номер, который я иногда набирал, был отключён, абонент – недоступен. Проходили дни, и вот уже мне начинало казаться, что удивительная, немотивированная, необъяснимая любовь всей моей жизни никогда и не существовала.

Как-то в воскресенье вечером я вышел на улицу. Встретил двоих или троих знакомых. Преспокойно купил банку пива в продуктовом. Уселся на автобусной остановке.

Каждый, кто меня видел, мог бы сказать, что я стал нормальным пациентом с Канонерки.

Я сидел в наушниках, исподлобья глядел вокруг и потягивал невкусную жидкость. Мне не хватало семечек и сигареты в зубах, но от слабости я не мог курить, у меня сразу начинала кружиться голова. Пожалуй, я ещё не достиг столь высокой степени адаптации к окружающему миру.

С канала доносился запах ила и солярки. Чайки кружили над водой, дожидаясь пассажирского парома. У воды стояли задумчивые островитяне. Всё было как всегда.

Из-за поворота выехал жёлтый автобус.

Он приблизился к остановке, встал и распахнул двери. Люди выходили, оглядывали меня – кто с неудовольствием, а кто и с тревогой.

Последним с задней площадки высунулся пенсионер с длинными седыми всклокоченными волосами. Опираясь на палку, боком спустился на дорогу. Подал руку кому-то, кто шёл за ним.

Моё сердце сбилось с ритма.

Худенькая и бледная, Таня сошла со ступеньки на асфальт и осталась стоять, держа старика за руку. Художник Безмухин и сам не слишком уверенно держался на ногах. Он опирался на трость и озирался вокруг, соображая, куда ли он попал.

– Таня, – позвал я.

Но она не расслышала: поганый автобус как раз заревел дизелем и покатился прочь, на конечную остановку.

– Таня! – повторил я, когда стало тише.

Она обернулась. Сняла тёмные очки, будто надеялась меня увидеть, машинально сложила и опустила в карман. Её милую недоверчивую улыбку я узнал бы из миллиона.

Я отбросил недопитую банку и встал со скамейки.

– Таня, – сказал я ещё раз, и на третий раз, как обычно бывает в сказках, произошло чудо: Таня оставила Безмухина и нашла мою руку.

Этот миг я хотел бы переживать вечно. Но тогда я просто и глупо зажмурился и даже не увидел, как она прижалась носом к моему плечу и замерла, не говоря ни слова.

– Вот, доставил по адресу, – заговорил вместо неё Безмухин.

Я открыл глаза. Художник из-за Танькиной спины показывал мне квадратный плоский пакет, перевязанный старомодной бечёвкой.

– Я назвал эту работу «Портрет неизвестного мальчика», – сообщил он. – Ну и вот ещё... девочку прихватил для комплекта.

Я хотел рассмеяться. Но не стал. Погладил Таньку по золотистым волосам.

– Ого, кажется, мой автобус, – заторопился Безмухин.

Водрузил портрет на скамейку, хлопнул меня по плечу и присоединился к остальным пассажирам.

Мы остались с Таней вдвоём.

Мне было ужасно стыдно, что от меня пахнет пивом. Но она ничего не сказала об этом. Вот что она говорила мне:

– Я тебя нашла, Денис... Телефончик мама спрятала, но я всё равно тебя нашла...

Я вкратце объясню, что произошло, чтобы вам было понятнее.

Оказывается, Мария Павловна не так уж была уверена в собственных силах. С тех пор, как мы с ней расстались – при самых печальных для меня обстоятельствах, – она не отпускала дочку ни на шаг от себя. Кажется, она даже взяла больничный на работе.

Иногда они гуляли и дышали воздухом в скверике под окном. Учительница пристально осматривала каждого встречного скейлера – не ждать ли от него неприятностей?

Беда пришла, откуда не ждали. Однажды старик Безмухин встретил их в подъезде. От зоркого глаза художника не укрылись ни мертвенная Танькина бледность, ни поджатые губы матери. Именно тогда он и решил освободить несчастную узницу. Видимо, где-то в глубине души он так и остался бунтарём-нонконформистом.

Хитрый Пётр Антонович пару дней думал, что бы предпринять, и в конце концов придумал.

Он предложил старинной своей соседке Марии Павловне создать (да, так он и сказал) Танькин портрет. Эта современная цифровая фотография не отражает её удивительной красоты, – пояснил он. А ведь она, Таня, так похожа на мать в юности. Уж он-то, Безмухин, помнит.

Последний аргумент наилучшим образом подействовал на Марию Павловну. Она даже вспомнила счастливые прошлые дни. В частности, выяснилась тайна медной чеканки, что висит у них на стене, но к нашей истории это не имеет прямого отношения.

Так или иначе, Таньке было разрешено спуститься этажом ниже, в мастерскую, и – разумеется, под присмотром матери – позировать художнику столько, сколько нужно.

Но работа затянулась. Образ никак не ложился на бумагу. Мастер кропотливо прорисовывал деталь за деталью, отступал на шаг, оценивал – и начинал заново. Глядя на это, Мария Павловна задремала на просиженном диванчике. Вот тогда-то Безмухин и сказал своей модели на ухо несколько слов, отчего та покраснела и задышала чаще – не подав, впрочем, виду, что безумно рада услышанному. Именно это мимолётное и ускользающее чувство художнику удалось передать в портрете, который получился просто великолепным. Забегая вперёд, я скажу: выложенный в интернет «Портрет девочки на венском стуле» попался на глаза устроителям одного художественного биеннале, и Пётр Безмухин на старости лет всё же побывал в Париже. Вы уже догадались, кто именно оцифровал его работу, но оригинал так и остался у меня, и я никому его не отдам.

Итак, портрет был написан, и в воскресенье Таня на пять минут спустилась в мастерскую, чтобы его забрать, но домой не вернулась ни через пять минут, ни через десять. По истечении этого времени мать приняла звонок на городской телефон. Разговор был жёстким. Положив трубку, Мария Павловна сперва истерически рассмеялась, потом – заплакала, а потом...

Села в ступу, взмахнула помелом и понеслась в погоню.

Конечно, я шучу. Я не знаю, что она сделала потом. Это всего лишь мои догадки.

– Почему же ты сам меня не нашёл? – упрекнула меня Танька.

– Так получилось, – сказал я виновато.

Она погладила мою рассечённую бровь. Эта память о Скусне обещала остаться со мной навсегда.

Я не хотел, но потом всё-таки рассказал ей про Стаса. Рассказал и о том, как часто сживали мы здесь, провожая пассажирские теплоходы. Как мечтали каждый о своём, а может, об одном и том же.

Между тем стокгольмский паром уже двигался со стороны города, навстречу заходящему солнцу. Как обычно, туристы высыпали на прогулочные палубы и любовались нашим островом. Кто-то из них даже помахал нам рукой. Я не ответил: рёбра болели до сих пор.

– Какой большой корабль, – прислушалась Таня. – Как вода шумит. Я помню, лет в десять мы с мамой плавали по Неве на белом теплоходе. Этот побольше?

– Раз в сто, – отозвался я.

– Вот бы однажды уплыть на нём, – сказала Таня мечтательно. – Куда-нибудь далеко... даже неважно, куда... только бы больше никогда не расставаться.

Я улыбнулся.

Под скамейкой валялась недопитая банка. Из неё натекла порядочная лужа.

– Завтра будет ветер, – сказал я. – Ты останешься у меня? Отец в ночную смену.

Таня опустила глаза. Её ресницы дрогнули.

– Ты этого хочешь? – спросила она.

– Очень.

– Нам нельзя, – сказала она.

– Мама запретила?

– Ты её ещё не знаешь.

Я вздохнул. Тронул её руку.

– Ты вернёшься к ней? – спросил я.

– Н-не знаю. Я глупо себя веду, правда?

Я кивнул. Хорошо ещё, что она этого не видела.

– Если я не останусь, ты меня бросишь? – спросила она.

– Никогда.

– А если... останусь? Перестанешь уважать?

Я закрыл лицо руками, чтобы не засмеяться. А когда снова открыл, заметил пару местных островитян-гопников, что стояли у самого канала. Они откровенно пялились на нас и ухмылялись. Один сжал руку в кулак и похлопал по нему ладшкой. В смысле, он одобрял. Жест был понятным, хотя и не вполне пристойным. Если бы Таня видела...

Слава Богу, что она не видела. Ну, если можно так сказать об этом.

Я нехорошо сощурился. Они не заметили.

– Оставайся, Таня, – сказал я. – Я позвоню твоей маме. Я попробую всё объяснить. Надо же когда-нибудь это сделать.

Я клянусь: Таня улыбнулась так радостно, как не улыбалась уже давно.

– А... потом? – спросила она.

– А потом мы будем разговаривать всю ночь. Ты расскажешь мне историю про свою принцессу?

Таня кивнула смущённо.

– Там уже много написано, – сказала она. – Только я не знаю, что будет дальше.

– Мироздание подскажет, – пообещал я.

* * *

После очень, очень неприятного разговора королева заперла дочку в спальне. Тогда Хлоя накрылась подушками и проплакала битых два часа. Слуга принёс ей обед на серебряном подносе и кубок лучшего вина из королевского погреба, чтобы принцесса успокоилась. Обед был частично съеден, а вино – выброшено из окна вместе с посудой. Внизу заклохотали куры: наверно, подарок не пришёлся ко двору.

Она снова и снова повторяла про себя упрёки матери. Её обвинения были несправедливыми. Домыслы – нелепыми. Подозрения – пожалуй, даже слишком точными в деталях: у королевы была богатая фантазия.

Бедняжка Хлоя не читала учёных книжек и не могла знать, что матери часто ревнуют дочерей к их возлюбленным.

В ответ на обвинения принцесса пообещала выпрыгнуть из окна, но мать назвала это намерение девичьей блажью и ещё кое-чем похуже. Мало того, она сама распахнула окно и предложила попробовать прямо сейчас.

Хлоя перегнулась через подоконник.

Королева неслышно подошла и встала за её спиной. У неё были странные методы воспитания, но расставаться с дочкой она не собиралась.

Но и Хлоя не решилась закончить жизнь вот так. Она не видела земли под окном, только ощущала высоту. Было совершенно невозможно сделать это... вслепую.

И ещё одна непрошенная мысль заставила её удержаться: что если сейчас она погибнет от несчастной любви, а пастушок Дафнис вернётся к своим деревенским овцам?

Подумав об этом, Хлоя бросилась на постель и горько заплакала. Мать же присела рядом и проговорила сурово и звучно, будто выбивала слова на мраморной доске:

«Запомни, девочка: ни один мужчина не стоит твоей слезинки».

Хлоя готова была в это поверить.

И всё же, казалось ей, мать лукавила. Ведь она, Хлоя, ударилась в слёзы не из-за какого-то мужчины, а из-за единственного в мире Дафниса.

Вот если бы отец был жив, подумала она вдруг. Вот если бы Дафнис был таким, как король Роберт. Таким же добрым и умным. Таким же красивым.

Вот если бы Дафнис был королём!

Бедная Хлоя в который раз мерила шагами комнату, не находя себе места, когда в её дверь снова негромко постучали.

– Подите прочь! – крикнула принцесса.

Она готова была выгнать вон любого, кто бы там ни был. Но – вот странность: гость не уходил, хотя и не делал попыток войти. Видимо, у него не было ключа. Своим чутким ухом Хлоя слышала, как он переминается за дверью и сопит, не зная, что предпринять.

– Кто там, чёрт возьми? – спросила Хлоя, подойдя поближе. – Я никого не принимаю.

– Это Жан, конюх, – раздался голос.

У принцессы упало сердце.

– Почему ты здесь? – спросила она. – Кто тебя послал? Неужели...

– Тише, умоляю. Никто не должен знать, что я был здесь.

– Говори быстрее. Что с ним сделали? Сильно ли его... наказали?

– Добавки не просил, чего уж там... прошу прощенья, ваше высочество. А просил передать, что всё будет хорошо. Да, так он и сказал.

Конюх был смыслён. Он знал, что приходиться к господам с дурными вестями – последнее дело. Нужно хотя бы сперва прощупать почву.

– Он меня жалеет, – прошептала принцесса. – Он всегда меня жалел. Но ты чего-то не договариваешь, Жан. Скажи правду: что с ним?

«Как она скучает о своём дружке, – подумал конюх. – Ну что ж, тогда смелее».

– Увы, принцесса, правда вас не порадует, – сказал он. – Вы должны знать: королева грозит его ослепить. Может, потом и опомнится, да только глаза-то не вернётся!

– Ос-ле-пить?

Трудно даже представить, что подумала незрячая принцесса, узнав о приговоре своему возлюбленному. Но наше повествование не было бы столь правдивым, если бы мы умолчали вот о чём. На мгновение, всего лишь на одно мгновение в голове принцессы пронеслась постыдная мысль: «Теперь-то он поймёт, что это значит – не видеть».

И ещё одна, пришедшая неизвестно откуда: «...и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас».

Простим принцессу за это малодушие. Мы-то знаем, что нет горшего горя, нежели знать, что никто и никогда не разделит твоё смертное одиночество!

– Ослепить, – повторила Хлоя. – Какая низость. Я никогда не допущу этого! Немедленно отправляйся к матери, Жан, и скажи, что я хочу говорить с ней!

– Я не могу этого сделать, ваше высочество, – возразил конюх. – Я и так пошёл на преступление. Ведь это я его должен стеречь, никто иной.

– А если я прикажу? – Хлоя даже ногой топнула – и подумала при этом, что ведёт себя как капризная принцесса из дурной балаганной пьески. К тому же конюх всё равно не мог её видеть.

– Виноват, ваше высочество, – отвечал он. – Я бы и рад. Но мне семью кормить...

Хлоя наморщила лоб. Кажется, она решила на что-то.

– Хорошо, мой верный Жан, – сказала она из-за двери. – Твоя семья не останется голодной. Сейчас ты спустишься вниз и найдёшь под окном полновесный золотой флорин. Надеюсь, его не склюют куры. Потом возвращайся на свой пост и жди темноты. Ближе к полуночи ты снова встанешь у стены моей башни. И если ты сделаешь то, что я попрошу, то получишь и второй.

«Надо же, как в воду глядел», – подумал тут конюх.

И пусть на душе у него было беспокойно, он всё же сказал со всей возможной уверенностью:

– Охотно помогу вам, принцесса.

* * *

Часы пробили одиннадцать. На девятом или десятом ударе где-то наверху оконная рама со скрипом поползла вверх, и в стрельчатом окне третьего яруса нарисовался чёрный квадрат.

Конюх Жан задрал голову.

В спальне принцессы по-прежнему было темно – мы помним, что в освещении она не нуждалась. Поэтому тёмное окно не привлекало внимания. Где-то лениво каркнула ворона, оповестив товарок, что ничего особенного не происходит.

«Неужели девчонка осмелится?» – подумал Жан.

В неверном свете луны он заметил свисавшую из окна верёвку. Но что это была за верёвка! Вся она была связана из разодранных на полосы простыней, платьев, чулок, кожаных поясов и всего такого прочего, что принцессе удалось отыскать в её комнате. Неумело затянутые узлы не внушали доверия. Вдобавок ко всему верёвка не доставала до земли. Она заканчивалась на уровне окон нижней галереи. Принцессе пришлось бы очень чувствительно падать.

«А ведь она-то про это не знает», – подумал конюх.

Он переместился поближе к условленному месту. Поразмыслив, перенёс туда же несколько охапок соломы. Снова запрокинул голову и посмотрел наверх.

Оттуда донёсся тихий свист. В ответ Жан, сложив ладони в трубочку, пару раз поухал соевой. Мы забыли сказать: именно так заговорщики условились сообщать друг другу, что всё в порядке.

«Пропадать так пропадать!» – решила принцесса. Подняла разорванный подол и завязала узлом на животе. Опасливо перелезла через подоконник.

Не сразу, но принцессе всё же удалось зажать ногами верёвку. Самым трудным было оторвать руки от подоконника. Она не сразу решилась. И только мысль о Дафнисе заставила её поторопиться.

Вопреки ожиданиям, спускаться оказалось не так уж тяжело. Принцесса Хлоя хваталась ногами и руками за узлы и довольно скоро оказалась на высоте второго яруса. Но тут конюх Жан тихонько свистнул, и принцесса замерла, вцепившись в верёвку.

Скрипнула дверь. Чья-то неясная фигура появилась на крыльце. Кто-то громко прочистил горло и сплюнул в темноту. Жан узнал лакея, который окатил Дафниса водой из ведра.

Слуга нетвёрдо держался на ногах. Наверно, он получил щедрую подачку за вчерашнюю работу. Судя по его хлопотам, он вышел по малой нужде.

«А вот тебе, Жан, от королевы даже стаканчика не перепало, – отметил конюх про себя. – Тогда как монетка от девчонки – вот она».

Он нашарил в кармане золотой флорин. Взвесил в руке.

«Да и пропади пропадом эта королева», – подумал он.

Жан изобразил свиный крик.

– Иду, иду, – откликнулась принцесса и перехватила руками верёвку – и тотчас один из узлов развязался, и Хлоя полетела вниз. Она даже крикнуть не успела, как браваый конюх Жан (откуда и прыть взялась!) метнулся к ней и поймал у самой земли. Обхватив девчонку за пояс, он повалился с ней на кучу соломы, попутно получив по носу принцессиним локтем. У него даже искры из глаз полетели, но он сдержался.

– О, ч-чёрт! – только и сказал он.

В остальном оба остались целы и невредимы. Платье Хлои было в полном беспорядке, и Жан невозмутимо помог ей оправить юбку. За что и получил ещё один великолепный золотой флорин.

– Теперь веди меня к нему! – приказала Хлоя.

Конюх украдкой приложил монету к подбитому носу. Взял беглянку за руку и с оглядкой повёл через двор. Ему ещё не приходилось видеть таких решительных принцесс. И ни разу не приходилось хватать их за пояс. Да ещё получать за свои труды золотом! Положительно, это был удачный день... или ночь.

В конюшне было темно, хоть глаз выколи. Жан достал с полки припрятанное огниво и труг. Зажёг просмолённый факел и прикрепил к стене.

– Дафнис, ты здесь? – спросила принцесса.

Дафнис тихонько застонал. Он лежал там же, где его оставили. У него начался жар. Всё тело покрылось испариной. Лицо из мертвенно-бледного стало багровым.

– Пить, – попросил он.

Кажется, он мало что понимал. Конюх Жан дал ему воды, тот стал пить, с трудом глотая и захлёбываясь. Принцесса стала на колени рядом. Провела рукой по его лицу и плечам. Сорвала со спины край рогожки (тут Дафнис вскрикнул).

– Что с тобой? – не поняла принцесса. – Что с ним, Жан?

– Лихорадка, – сказал конюх. – Обычное дело. Ему же сто плетей всыпали. Не троньте его спину, ваше высочество, он спасибо не скажет.

– Что же делать?

– Решайте сами, принцесса Хлоя. Утром ваша матушка обещалась закончить это дело. Ну, вы понимаете, какое. Так что до рассвета время есть.

– Спасибо, мой друг, – сказала принцесса. – Оставь нас.

Конюх кивнул. Отошёл подальше. Уже давно никто из господ не называл его «моим другом». Разве что старый король. И вот теперь принцесса.

– Дафнис... – Хлоя взяла раненого за руку.

Парень приподнял голову:

– Кто... кто здесь?

– Это же я, Хлоя... ты не узнаёшь меня?

– Хлоя... нет... как смешно... как больно... они меня били, били...

– О боже, Дафнис...

– Мне надо идти. Королева... она сказала, что я никогда не увижу принцессу...

– Я здесь, смотри, – сжала его руку Хлоя.

Его рука была такой знакомой... После она заметила, как пульсирует кровь на его запястье, и этот пульс принцессе не понравился: он был частым и неровным, будто сердце пробовало вырваться из тела, билось о стену, уставало, собиралось с силами и билось опять.

– Ничего не вижу, все плывёт, – пожаловался Дафнис. – Вижу огонь... но почему же так холодно...

Он весь дрожал и, кажется, терял сознание. Хлоя плакала и покрывала поцелуями его руки. Она не знала, что делать.

– Эх, принцесса, – сказал конюх Жан, который снова оказался рядом. – Его бы в дом отнести... да кто ж позволит...

– Да... домой... – отвечала Хлоя. – Только где он, дом?

Тут Дафнис разлепил сухие губы и прошептал еле слышно:

– Мы танцевали... помнишь? И единорог скакал вокруг... Как было весело... весело...

Он замолчал. Хлоя залилась слезами.

– О чём это он толкует? – удивился конюх. – Какой ещё единорог? Где ему такое чудо привиделось?

Конюх всё знал о лошадях, но никогда не встречал единорога.

Принцесса повернула к нему заплаканное лицо. Странно: теперь она выглядела ещё решительнее, чем прежде.

– Послушай, милый Жан, – сказала она, – помоги мне в последний раз. В самый последний. Донеси Дафниса до башни.

– Так ведь заперто, – сказал конюх.

– Ты невнимателен, Жан. Тот дрянной лакей позабыл запереть дверь. Я слышала много разных звуков, но только не щелчок замка.

«Вот это девчонка!» – поразился конюх.

– Слушай дальше. Ты внесёшь Дафниса внутрь. Там... в галерее... ты его оставишь. Получишь ещё золотой. У меня было три монеты, больше нет.

– Не откажусь, моя принцесса, – отвечал конюх. – Но я бы и так донёс... Сам вижу, это дело благородное, я ж не слепой... прости, твоё высочество...

Он присел. Умело соединил Дафнисовы руки на своей шее и, поднапрягшись, взвалил его на плечи, словно мешок с репой.

Дафнис застонал, и принцесса улыбнулась: нет, он не умер и не умрёт, думала она. Она не позволит ему умереть. Она сохранит ему глаза. Она не отдаст его злой королеве. Она укроет его там, где его никто не найдёт.

Пошатываясь, конюх брёл через двор с тяжёлой ношей на плечах. Принцесса шла рядом. Факел в её руке (для неё бесполезный) освещал путь. Поднявшись по ступеням, Жан остановился у двери. Хлоя потянула за ручку, и дверь отворилась.

Давешний привратник мирно спал на лавке в углу. От него несло перегаром. Спящий даже не пошевелился, когда трое заговорщиков проследовали мимо него.

Волшебный чёрный шкаф никуда не делся. Принцесса проверила, на месте ли ключ – теперь он висел на её груди, на крепком шёлковом шнурке. (Как мы видим, она была весьма предусмотрительной.)

Она не смогла предвидеть всего лишь одно обстоятельство, о котором, конечно, не следовало забывать.

В дальнем конце тёмной галереи послышались лёгкие шаги, и знакомый голос произнёс холодно:

– А вот и вы, молодые люди? Какая трогательная встреча. Впрочем, я ждала вас...

На губах королевы змеилась улыбка. От этого было ещё страшнее. Наверное, поэтому конюх Жан (который всё ещё сгибался в три погибели под своим грузом) взирал на королеву с ужасом.

– Виноват, ваше величество, – начал он. – Мы тут решили принести парнишку в дом. Ночи становятся холодными...

– Костёр согреет вас обоих, – сказала королева зловеще, и у Жана задрожали ноги. – Ждать уже недолго.

– Мама, не смей так говорить! – топнула ногой Хлоя. – Я всё знаю! Это чудовищно – то, что ты задумала!

– Ничуть не бывало, – ответила королева. – Ослушники и бунтовщики не заслуживают снисхождения.

– Мы не бунтуем, ваше величество, – поспешил заявить Жан. – Просто...

– Молчать, конюх! – королева даже не посмотрела на него. – А ты, дочь, пойми наконец: в тебе течёт королевская кровь. Тебе не пристало знаться со всяким отребьем!

– И ты говоришь о крови! Посмотри: у него льётся та же самая кровь! У него те же руки, те же глаза, то же сердце!

Дафнис застонал, будто услышал. Конюх не без осторожности опустил его на лавку – в тёмном углу возле шкафа, подальше от королевских глаз.

– Мне не интересна анатомия твоего избранника, – сказала королева. – Можешь не объяснять, почему ты здесь. Но сделай милость, объясни – зачем? Что вы тут искали среди ночи? Возле запертого шкафа?

– Не скажу!

– Отчего же?

– Это моё личное дело!

– А может быть, это дело королевской семьи? Скажем, что означает вот этот ключ у тебя на шее? Позволь, я выскажу предположение. Уж не тот ли это легендарный ключ, что потерял когда-то король Ричард? Вернее, делал вид, что потерял?

Хлоя прижала руки к груди.

– Вижу, я угадала, – сказала королева. – Теперь все загадки близки к объяснению.

– О чём ты, мама?

– Об этом ключе. Об этой странной фамильной тайне, которую Ричард всю жизнь от меня скрывал. Я говорю о древней магии. О львах и единорогах. О потерянном рае. У тебя на шее ключ от Эдемского сада, не так ли?

– Я называю эту землю «Остров Мечтания», – чуть слышно сказала принцесса.

– Называй как хочешь. Если верна только половина из того, что о нём говорят, то и этих чудес мне более чем достаточно. А тебе, дочка, они

ни к чему. Это же неслыханно! – королева всплеснула руками. – Волшебный остров, вечная молодость – и всё это досталось глупой девчонке! Но сегодня справедливость восторжествует!

– Мама, что с тобой? – прошептала принцесса. – Я тебя не узнаю.

– Отдай ключ, – приказала королева. – Иначе я заберу его сама.

Дочь повиновалась. Медленно и спокойно, даже слишком спокойно сняла с шеи ключ и протянула королеве.

Конюх Жан смотрел на них и недоумевал. Он понятия не имел о господских тайнах. Конечно, до него доходили слухи о загадочном наследстве старого короля. Лакеи рассказывали и про чёрный шкаф, и про райский остров – но обычно он пропускал подобную ерунду мимо ушей. Мало ли что болтают бездельники! И вот теперь, как говорится, час от часу не легче: ночной побег из башни, единороги, волшебные ключи...

Пока конюх размышлял таким образом, королева шагнула к чёрному шкафу. Вставила ключ в замочную скважину. Попыталась повернуть – и вдруг, вскрикнув, отдёрнула руку:

– Что за дьявол? Он горячий!

Принцесса не произнесла ни слова.

– Хорошо же, – сказала тогда королева. – Эй ты, как тебя? Жан. А ну, поверни ключ.

Пальцы у конюха были погрубее, зато и ключ поддал жару! Тогда конюх вооружился подходящим куском мешковины, обернул им ключ и повторил попытку. Но грубый холст без видимых причин задымился и прогорел насквозь.

– Ох ты, с-сатана! – вскричал Жан и сунул пальцы в рот.

Ключ от рая определённо не хотел подчиняться чужим.

– И всё же я не отступлюсь! – заверила всех королева. – Пора покончить с семейными тайнами. Хлоя, отопри шкаф своей рукой.

Хлоя сделала шаг. Прикоснулась ладошкой к дверце шкафа. Взясась за ключ. Помедлила.

– Я не могу, – сказала она как будто самой себе.

– Сделай это, дочка.

– Отец говорил, что в Эдемский сад можно взять только одного человека. Того, кто для тебя всех дороже. И есть ещё условие. Дорога откроется лишь тому, кто... любит тебя больше жизни.

– В последние годы бедняга Дик был совсем плох, – отозвалась королева. – Он не доверял мне. Но ведь тебя я действительно люблю, дочка. С этим ты не будешь спорить?

Хлоя не отвечала.

– Или ты больше не дорожишь мной?

Хлоя хранила молчание.

– Кажется, я знаю, в чём дело. Этот прохвост Дафнис... он уже побывал там?

Хлоя улыбнулась. Её улыбка была похожа на улыбку королевы: такая же тонкая и загадочная. Да, Хлоя стала настоящей королевой.

«Неужели время ушло безвозвратно?» – вдруг подумала мать. На мгновение ей стало так горько, что захотелось закрыть лицо руками и заплакать, как плачут девчонки в шестнадцать лет – от несчастной любви.

Но Хлоя не могла видеть лицо матери.

Она прислушивалась.

Дыхание Дафниса стало частым и хриплым. Принцесса подбежала к нему, на ощупь нашла его руку: пульс раненого угасал. Пальцы еле заметно сгибались и разгибались.

– Мама! – позвала Хлоя испуганно. – Мама, что с ним?

Королева как будто очнулась. Подошла и склонилась над лежащим пастушком. Дотронулась до шеи. Всмотрелась в лицо, приоткрыла пальцами веки.

– Это агония, – сказала королева глухо. – Он доживает последние минуты. Клянусь, я не хотела этого.

Хлоя выпрямилась.

– Мама, – сказала она, – я хочу, чтобы ты знала. Если его не будет, не будет и меня. И это не девичья блажь. Я ещё никогда не говорила так серьёзно.

– Верю, – ответила мать.

– Я открою эту дверь. Но не для тебя, мама. А для него.

Королева вздохнула.

– Теперь мы расстанемся навсегда, – сказала она. – Ну зачем ты стала взрослой?

Принцесса подняла руку, будто хотела возразить.

– Поспеши, – сказала мать. – Спасай своего принца.

Она развернулась и пошла прочь по галерее.

– Что мне-то делать, ваше высочество? – спросил непонятливый Жан.

Хлоя повернула ключ, и дверь шкафа отворилась. За дверью Жан увидел сплошную и беспросветную тьму, а Дафнис ничего не увидел, так как снова оказался на спине у конюха. Следуя указаниям принцессы, Жан вошёл внутрь (содрогаясь и шепча молитвы) и положил раненого на пол. А затем поспешно выбрался и остановился рядом с принцессой.

– Не надо бояться, Жан, – сказала Хлоя. – С нами больше не случится ничего плохого.

Жан покачал головой недоверчиво.

– Уж и не знаю, – сказал он. – Только берегите себя. Вам подсобить, принцесса? Порожек высокий... или вы привычные?

Хлоя улыбнулась.

– Спасибо тебе, Жан. Вот, возьми. – И она протянула конюху золотую монетку.

– Благодарим покорно, – сказал Жан. – Думаю, вам-то в этом вашем раю деньги без надобности... а нам...

Хлоя положила руку ему на плечо.

– Мы вернёмся, – пообещала она.

Сказав так, она шагнула в темноту. Двери захлопнулись, и Жан остался один.

Он подбросил на ладони три великолепные золотые монетки.

– Волшебный остров, надо же! – сказал он. – Ну и ладно. С деньгами и здесь неплохо.

Часы на башне начали отбивать полночь.



**Алексей
БОРЫЧЕВ**

КОНТРАСТЫ ЖИЗНИ

ОДНО

Спасибо всем, кто был со мной жесток,
Кто был несправедлив, надменен, алчен!..
Сиял победой ясный мой восток,
Хоть запад был окраской неудачен.

Спасибо и тебе, трёхмерный мир,
Что мне являл и радость, и томленьё.
Хотя мирок души и сер, и сир,
Перед земным склоню свои колени.

Но страшно неподвиженное мне –
Всё то, чего предугадать не в силе.
Его фрагменты вижу в вещем сне,
Как надпись на стареющей могиле.

Вот этого принять-простить нельзя.
Да и кого, кого прощать за это?
Людей, чья мысль молчит, по тьме скользят?
Беспомощных пророков и поэтов?..

В стремительной погоне за руном
Никто века не чувствовал, не мыслил
О Том непредсказуемом Одном,
Перед Которым всё теряет смысл!

И как обратно время устремить?
Причину после следствия поставить? –

-
- Борычев Алексей Леонтьевич – поэт, лауреат премий в номинации «Поэзия» журнала «Литературный меридиан» за 2013 год и «Зинзивер» за 2016 год, лауреат литературного конкурса «Дебют года-2014» в номинации «Поэзия» Международного союза писателей «Новый Современник», лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля «Звезда Рождества-2016», а также финалист нескольких международных конкурсов, удостоен ряда наград от СП РФ (медали, дипломы). Автор нескольких сотен публикаций в центральных, региональных и зарубежных журналах, газетах, альманахах, коллективных сборниках. Среди них: «Наш современник», «Нева», «Смена», «Юность», «Новая Юность», «Крещатик», «Зинзивер», «Московский вестник», «Аврора», «Невский альманах», «День поэзии», «Истоки», «Север», «Байкал», «Дальний Восток», «Студия», Литературная газета, «День литературы», «Российский писатель», «Культура», «Московский вестник» и др. Живёт в Москве.

И вот – непокорённое людьми
Небытие над нами жёстко правит...

Тоскою лунных переливов,
Отравой времени дыша,
Пред тайною молчит пугливо
Заворожённая душа.

Алмазным блещет метеором
По небу путь её, и я
Тоскую по тебе – в которой
Основа сути бытия.

Лесною сказочной дорогой
К тебе, Царица, не дойти
И не коснуться, недотрога,
Тебя, зовущую в пути.

Земная тёмная обитель,
Контрасты жизни поменяв,
Навеки скрыла от меня
Любви скрещённые орбиты.

ОТРЕШЁННОСТЬ

Лиловое болото,
Туманистая глушь,
Разлитая дремота
По царству топких луж.
Летаёт пряный запах
По венчикам цветов,
И вспыхивают залпы
Весенних комаров.
Тут древнее яснее
Того, что есть сейчас.
Далёкое виднее,
Понятнее для нас.
И тонкие осины –
Бледнее белизны –
Вдыхают сумрак синий,
И спят, и видят сны.
Подолгу я брожу здесь
Среди немых трясин,
И дольней жизни ужас
Бледнеет меж осин.
Картина мирозданья –
Не более чем сон.
Усталое сознание
Забыло обо всём.

ВОСПОМИНАНЬЕ

Кривою линией былого
Тебя мне память рисовала
И краской времени лиловой
Твой тонкий абрис заполняла.
Играли солнечные струны
Мелодии осенних далей,
И голоса, нежны и юны,
Для нас с тобой с небес звучали.
Оживлена воображеньем,
Ты шла босая влажным лугом,
И мне казалась наважденьем
Из тьмы летящая разлука.

СИМФОНИЯ БЫЛОГО

Я сам не знал, чего хотел от жизни,
И жизнь – чего хотела от меня..
Нектар тоски в хрусталь бессмертья брызни,
Неутолимость вечная моя!..
Покой входил дождём в лесные залы,
Где песни пел пьянеющий июль.
Так много было мне! Так было мало
Цветущего в глазах лесных косуль.
Как веера, стоцветно распускаясь,
Миры дарили девственный приют:
Леса, лучи, озёра, небо, скалы,
Мерцавшие снопы секунд, минут...
Лесное незабудковое лето!
Со мною ты... со мною только ты!
Но в памяти, в её покоях где-то –
Лишь только там цветут твои цветы.
Лишь только там, увя... О память, память,
К чему хранишь ты блеск былых времён?
Симфония былого засыпает,
И бесконечно крепок этот сон.



**Николай
БЕРЕЗОВСКИЙ**

ИСКУССТВО ВРЕМЕНИ

ПОЭТ КУТИЛОВ

Пьяный, немощный, больной,
Телом грязный, редко сытый,
Местной мафией забытый –
Литераторской братвой.

В теплотрассе при свечах
Плачет, пьёт, рисует, пишет,
Ему в душу дьявол дышит,
Но и ангелы в очах.

И на шконке для ЗК,
И на лежбище в психушке
Не мечтает стать, как Пушкин:
«Мне б собой побыть пока.

Чтоб скончаться не зазря,
Мне б чернил и всякой краски,
А ещё немного ласки,
И завар для чифиря,

И бумаги не рулон –
Полрулона бы достало,
Мне осталось жизни мало,
Я почти что погребён...»

А по Омску лжёт братва:
«Шизофреник, сифилитик!
Он в поэзии лишь винтик
Или чахлая ботва!..»

-
- Николай Васильевич Березовский родился в 1951 году на Сахалине в семье военного медика. После гибели отца воспитывался в интернате. Работал грузчиком, слесарем на заводе, буровым рабочим в геологоразведке, редактором на телевидении, корреспондентом в газетах. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые рассказы и стихи опубликовал в конце шестидесятых годов прошлого века. Автор восьми прозаических, поэтических и публицистических книг, изданных в Москве и в Сибири; многочисленных публикаций в отечественной и зарубежной периодике. На киностудиях «Мосфильм» и «Лентелефильм» экранизирован его рассказ «Три лимона для любимой». Победитель и лауреат многих литературных конкурсов и премий. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Живёт в Омске.

Пьяный, немощный, больной,
Без прикрытия и тыла,
Через мост идёт Кутилов
К скверу – входу в мир иной.

В теплотрассе упадёт –
Перестанет сердце биться,
И Поэзия страницу
Ему позже отведёт...

ПРО СОБАКУ

Мне с детства запало навек
И в сердце вошло, точно жало:
Собаку давил человек,
А та ему руки лизала.

Худую удавка была – рвалась,
А покуда вязалась,
Собака покорно ждала,
И билась в глазах её жалость

К тому, кто давил: почему
Не знаешь ты смертного дела?
Она рассказала б ему,
Да вот говорить не умела.

И долго не мог я понять,
Не зная, что смерти сильнее:
Она ведь могла убежать
До новой удавки на шее.

Собака могла – не держал
Её человек, что глумился...
Я был для любви тогда мал,
Но всё осознал, как влюбился.

Я разве что рук не лижу,
Но преданно вытянул шею
И, как та собака, гляжу,
Поскольку сказать не умею.

ИСКУССТВО ВРЕМЕНИ

Когда я молод был и вечен,
Без денег даже на кино,
По воскресеньям каждый вечер
Балет смотрел в ПКиО.

Там на зачуханной эстраде,
Под семечки и пьяный бред,
Бесплатно, просвещенья ради,
Бил ножками кордебалет.

В прожекторах белее мела,
С глазами красными, как кровь,
Душил свихнувшийся Отелло
Из-за платка свою любовь.

Италия, Верона, площадь,
Ромео немощен и сед,
Джульетта, как в загоне лошадь,
Которой сорок, верно, лет.

Но улыбалась, улыбалась,
Чтобы затем, упав, не встать,
И ничего не оставалось,
Как танцу сопереживать.

Искусство или просто Лета
Виновна в том (поди проверь!),
Что та, из юности, Джульетта
Такая юная теперь?

Когда я молод был и вечен,
Без денег даже на кино,
Не знал, удачлив и беспечен,
Что умереть мне суждено...

КОСЫНКА

Вся деревня огорошена –
Киносъёмка уплыла.
И косынка, кем-то брошена,
На причале лишь бела.

Пуст причал. Ни встреч, ни проводов
Даже в близком далеке,
И поэтому нет поводов
Время тратить на реке.

Только год спустя, по осени,
Привезли в деревню фильм,
Показав с экранной простыни
Луг зелёный, дом и дым...

Узнавая, гордо ахала
Вся деревня. Что слова?..
В темноте безмолвно плакала
Не жена и не вдова.

Но лишь в дом – по-бабьи взвоя,
К сыну бросилась: «Родной!..»
Сын был копией героя
С разнесчастною судьбой.

Долго слёзы проливала,
Вытирая рушником,
Жизнь свою переживала
Наяву, а не тайком.

А потом шептала: «Сынку,
Пусть любил иль не любил,
Но зачем же он косынку
На причале обронил?..»

Не намеренно, случайно,
А, возможно, потому,
Что она косынку тайно
Сунула в карман ему,

Как в минувшее вернувшись,
Как ему – свой оберег...
Но ушёл, не оглянувшись,
Навсегда он за порог.

...А косынку на причале
Вольный ветер унесёт
Так далёко, что едва ли
Кто назад её вернёт.



**Евгений
СКРИПИН**

ВЛАСИХИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Я – Бог, каждое утро я даю на клавишу «Создать». Блаженство – писать несколько часов подряд, и ещё большее блаженство – перечитать потом несколько раз. Каким же весёлым и довольным должен быть Господь, глядя сверху на нашу мешанину!

Япил четвёртый стакан кофе, когда с кухни сквозь стекло балконной двери мне помахала ещё не вполне одетая жена. Была суббота, в субботу она вставала поздно. Скоро на кухне загремели сковородки. Дом оживал и наполнялся смыслом. Запах блинов проникал на балкон и вытеснял и обесценивал мои смыслы.

Начавшаяся запахом блинов суббота неожиданно продолжилась звонком на мой мобильный. Мне уже давно никто не звонит, с тех пор, как я потерял работу. Звоню я, и тоже редко, только по делу, в поисках работы, потому что на мобильном почти никогда нет денег.

– Так ты идёшь или нет? – сказал голос в трубке.

Я узнал по голосу Фёдора и вспомнил, что я обещал сегодня поехать с Фёдором на кладбище. Я посмотрел через стекло на кухню. Вероятно, у жены имелись свои планы на мою субботу.

– Чё молчишь? – спросил голос.

Я молчал, потому что не успел придумать отговорки. Ехать на кладбище мне было неохота.

– Это... – сказал я, – я ещё не знаю.

– Ну, смотри, – буднично сказал Фёдор.

Я думал, будет уговаривать поехать. Но он не стал уговаривать.

– Звони, если что. Я буду там.

Мне стало стыдно перед будничным Фёдором. Видимо, никто из собиравшихся не явился.

– Ты там один, что ли? – поинтересовался я.

– Да.

● Евгений Владимирович Скрипин родился в 1957 году в Джезказгане (Казахстан). Окончил филологический факультет Алтайского государственного университета. С 1982 года живёт в Барнауле. Работал в краевых и городских газетах, в двух из них – главным редактором. Публиковался в журналах Барнаула и Москвы. Автор книги «Барнаульские поэты без иллюзий» (2014).

- Галкина же точно обещала?!
- Говорит, дежурство.
- Ясно. Если что, я позвоню.
- Звони.

Я не спросил у Фёдора, как добраться до кладбища, и он, конечно, понял, что я тоже не поеду. Сволочь Галкина...

Жена неожиданно легко согласилась, что мне тоже надо съездить. Забыл, сказал я, что обещал. Помнишь же Дашкина? Здоровый такой, из отдела писем...

Я набрал Фёдора. Спросил, на какое кладбище и как добраться. Фёдор заметно оживился:

– Сядешь на вокзале. Спросишь Власихинское кладбище. Я тебя встречу у часовни, это в центре.

Я не знал, как правильно поставить ударение в названии кладбища (в трубке оно звучало как-то без акцента), и рассчитывал, что люди меня, если что, поправят.

Народ-языкотворец отвечал и так, и этак. «Как проехать на Власихинское кладбище?» – спрашивал я у группы мужиков на остановке. «На Власихинское?» – переспрашивали меня. «...на Власихинское», – говорил я в другой группе, бабушке и внукам. «На Власихинское...» – поправляла бабушка и задумывалась. Побегав по привокзальной площади, я всё-таки вышел к нужной остановке, она оказалась на проспекте.

Жёлтый автобус привёз меня к кладбищу. Это был старый погост в черте города, здесь хоронили только выдающихся людей и родственников ранее схороненных. Как обычно на кладбище, здесь было солнечно и грустно. С фотографий на постаментах, начинавшихся от самых ворот, равнодушно смотрели покойники. Солнце на кладбищах всегда усталое, как будто иссякающее, «бабушкино». Не как в городе. Я пошёл по аллее к кирпичной часовне, крест которой и луковка сияли на солнце.

У часовни ко мне подошла старушка, прошамкала что-то профессионально, как цыганка. Я отдал ей мелочь. Жена дала денег на дорогу туда и обратно, но в автобусе с меня неожиданно взяли не десять, а тринадцать рублей, и оставшихся всё равно бы ни на что не хватило. Старушка меня перекрестила.

В ожидании Фёдора я походил, не удаляясь от часовни, среди могил. Здесь, в центре, хоронили самых выдающихся людей. «Заместитель председателя облисполкома», – прочитал я. Из зелёного гранита выступала суконная морда бюрократа. Поражал размер мемориала. Это было ненормально.

Из боковой аллеи вышел Фёдор, пожал руку. «Заглянул к отцу, – сказал он. – Он тут рядом». «Власихинское или Власихинское?» – спросил я. Фёдор пожал плечами, ему это было безразлично.

Маленький, похожий на еврея Хохол, Фёдор продирался по заросшим репьем и кустарником дорожкам. Чуть в сторону от центра кладбища казалось полностью заброшенным. Ограды покосились, почернели, кресты завалились, на могилах стоял в пояс выросший бурьян. Тропинки, по которым мы двигались в сторону могилы Дашкина, перегораживали сети старой паутины. Фёдор в итоге заблудился, но, покружив, всё же вышел к цели.

Дашкин умер от рака. Это был здоровый, похожий на бывшего боксёра или тяжелоатлета сорокапятiletний мужчина. У него была жена-актриса. Много ли вы знаете мужчин, жёны которых играют в театре? А мы работали рядом с ним, похожим на штангиста, на Юрия Власова какого-то – такой же хряк и интеллектурал. В очках на мощной голове.

Он очень не любил давать взаймы и никогда не давал закурить. Не из жадности, а из презрения к нам, джентльменам в поиске десятки. Когда он внезапно заболел и прошёл курс химиотерапии, я не узнал его, ковыряющего ключом в скважине замка своего кабинета, и только по голосу определил, кто он. «Заходи», – распахнул он дверь. Он неплохо ко мне относился, выделял, как мне казалось, из других. Высохший как мумия, он сел на стул и бросил на стол пачку сигарет: «Закуривай, чего...»

– Здравствуй, Сергеич, – сказал Фёдор.

Я не очень понимал заботу Фёдора о Дашкине, не такими уж они были друзьями. У «штангиста» не было друзей. Его друзьями, как у его тёзки Пушкина, похоже, были книги. Его огромную библиотеку, которую он никому не показывал, мы увидели только на поминках. (Странно, что я не запомнил жену Дашкина, актрису, а ведь должен быть запомнить!)

– А где сейчас его жена? – спросил я.

– В Ленинграде. Там есть специальный дом для престарелых. Богдельня для нищих актёров.

Мы были как бы из трёх поколений, с разницей в 10–15 лет. Я посмотрел на дату дашкинского дня рождения. Вышло, что ему сейчас было бы семьдесят. Старик.

Наша задача была – выкрасить железную ограду. Краска оказалась жидкой, Хохол Фёдор явно сэкономил. Я подумал, что придётся красить два раза. Мы бы долго тёрли кисточками ржавое железо, если бы мне не пришло в голову, что краску в банке следует элементарно размешать. Хреновые мы были с Фёдором работники.

Дело заспорилось. Разлив краску по банкам, мы с Фёдором пошли по периметру ограды, изредка поглядывая друг на друга. Что-то вроде соревнования: кто гуще, кто быстрее.

Разговор наш был необязательным, мы лениво перекидывались фразами, а между ними были целые периоды молчания. В один из таких периодов я подумал, что, может быть, я сейчас проживаю своё лучшее время в жизни. Как знать? За время безработицы я создал несколько рассказов, повесть, дописал роман.

Другое дело, что эта моя работа была «для себя», то есть она не приносила денег, и было ясно, не могла их принести. Всего понятнее это было моим родным. Через полгода они стали смотреть на меня как на больного, которого, конечно, жаль, но – сколько можно! Шутки мои уже не проходили, юмор им казался неуместным.

То же я мог прочесть в глазах знакомых, уцелевших на своих работах. А мне казалось, это я их должен пожалеть.

– Как у тебя с работой? – спросил Фёдор, словно подсмотревший мои мысли.

Я вяло махнул. Он прекрасно знал, как у меня с работой. Пару недель назад сорвалась как будто уже обещанная мне железно работа. Я уже разговаривал с директором организации, которой пофиг был мировой кризис. Но что-то опять не срослось. Я занервничал, названивал в контору, пока

не надоел директору, и он указал мне моё место. «Вам позвонят, – сказал он, – при любом решении вопроса. У вас появились конкуренты». Чёрт с ней, с работой, решил я. Я – Бог...

Начало припекать. Фёдор снял кепку, обнажив хохол. За этот хохол его и звали Хохлом, а не за принадлежность к украинской нации. Мы, старые приятели, чуть не поссорились недавно, когда зашла речь о Хохле, который слёг в больницу, а мы собирались его навестить. Генка, один из нас, сказал, что он слышать не хочет о Хохле, с которым он не сядет на одном гектаре.

– Не знаю, – возразил Николай, старший из нас, – кто-то где-то что-то сказал... Хочешь об этом поговорить – валяй, но без меня.

Интересно было посмотреть на нас со стороны. Объективно все мы были уже старые. Кое-кто был седой, кое-кто – лысый. Не говоря о странгуляционных линиях на шеях. Впрочем, если смотреть не объективно, не со стороны, легко было в каждом из нас узнать мальчишку из того мальчишника конца восьмидесятых, который собрал перед свадьбой Николай.

– ...Сын его тоже в Ленинграде, – сказал Фёдор.

Он уже дважды назвал Санкт-Петербург Ленинградом, очевидно, не задумываясь. Не придавая этому значения.

– Это который сын? – уточнил я. – Тот, про которого он говорил, что – одна судорога, а потом восемнадцать лет приходится платить?

Хохол отложил кисточку. Пошарил в сумке и выставил водку в неправдоподобно маленькой ёмкости.

– Нет, он говорил не так, – сказал Хохол: – «Пять секунд удовольствия – а платишь восемнадцать лет».

Докрасив, с лёгким сердцем, будто выполнив ненужную, но важную работу, двинули на выход. Решено было ещё выпить – глупо было бы ещё не выпить.

Мы шли по ровной земляной дороге мимо свалки. Свалка дымилась, её разгребал, утюжил трактор.

– Сдохну, хоронить меня придёшь? – спросил Фёдор.

Я, чтобы не сглазить, не стал говорить обычное, что неизвестно, кто... А вдруг – правда, подумал я. Где они, к примеру, возьмут фотографию на памятник? Уже лет десять я не делал новых снимков. На старых я был неприлично молодой. Кто вообще возьмётся хоронить, если я безработный, человек без организации?

Скоро мы шли обратно к кладбищу. Другого места, где можно спокойно выпить, не нашлось.

Фёдор привёл меня к дыре в заборе. Мы расположились на лужайке – как бы ещё не на кладбище, а рядом. Место, закрытое от чужих глаз кустарником, явно было насиженным, вокруг валялись пустые бутылки и пакеты. Я бы не удивился, обнаружив в траве и презервативы.

Выходило, что Хохлу сейчас хуже, чем мне. Я ещё мог найти работу, он уже не мог. Разговор вертелся вокруг её поисков. Хохол старел. От энергичного, «тридцатилетней давности» Хохла в нём не осталось ничего.

Фёдор дал мне денег на автобус и ушёл в глубь кладбища. Я направился к остановке.

Остановочный павильон был сверху донизу расписан матерной бранью и изображениями гениталий.

Мне вспомнился Гоген. (Или Ван Гог? Это всегда как будто один человек. Нет, всё-таки Гоген. Ван Гог – это который ухо, Гоген – Океания, туземцы.) Великий и ужасный Поль. А не уехай он на Острова? Так бы и умер жалким воскресным художником, ничтожным клерком.

Я завернул за угол павильона и с размаху выбросил в бурьян пакет с остатками хлеба и колбасы. Ну его, ВлАсихинское (или всё-таки ВласИхинское?) кладбище.

Через день, рано утром в понедельник, зазвонил мобильный, и мне предложили срочно, через час явиться на работу.

– Если вы, конечно, не раздумали, – сказал директор.

Через полтора часа я бегал по забитым людьми коридорам поликлиники и собирал справки, подтверждающие мою полноценность. А вечером того же понедельника ехал в купе скорого поезда в большой промышленный сибирский город, где находилось головное учреждение организации. Во вторник в головной конторе начинался семинар для вот таких, как я.

Если вы думаете, что я тут ловко подверстал под свой рассказ мораль (поездка «через не хочу» на кладбище, мелочь старушке... Есть Бог – и Он всё видит), то это не так. Во-первых, всё, о чём я рассказал, – чистая правда, ничего я не подвёрстывал. А во-вторых...

Утром в больничном коридоре, дожидаясь очереди к окулисту, я обратил внимание на карточку, которую мне выдали внизу, в регистратуре. На титульной странице крупно было выведено шариковой ручкой в строке, следующей сразу за фамилией: НЕ РАБ. Новую карточку мне оформляли, когда я пришёл сюда с простудой, безработным, с полисом, полученным на бирже.

Надпись безнадёжно устарела. С понедельника я уже был на службе. РАБ. При чём тут Бог?



**Алексей
МАНАЕВ**

ДВА РАССКАЗА

ЕГОРУШКА

– Егорушка, не плачь. Не плачь, не надо...

Я опустился на колени рядом с Егором, пытаюсь обнять его. Сидя на крыльце сельского магазина в новых коричневых кожаных туфлях, праздничных брюках в полоску и клетчатой рубашке с коротким рукавом, он всхлипывал и, что-то нечленораздельно мыча, зло отталкивал меня одной рукой, а второй со сжатой в кулаке фуражкой вытирал слёзы.

Я знал: самые сокровенные слова не успокоят Егора.

Потому что он пьян.

Потому что глухонемой.

А самое главное – потому, что безответно влюблён.

Его любовь стоит за прилавком магазина. Перед ней газетный кулёк жареных подсолнечных семечек. Она выбирает по одной из тех, что покрупнее, грызёт, сплёвывает лузгу в узкую ладонь и с ленивой безучастностью говорит:

– Невзначай разбила тебе сердце, Егор. Ты думаешь – красавица, а на самом деле – коза-дереза, в полбока луплена, за три гроша куплена.

Она приехала к нам месяца три назад, чем немало удивила местную публику. Молодёжь в наших краях не задерживается из-за глухой провинциальности. Дети ещё в проекте, а родители уже подумывают о том, как после школы устроить наследников и наследниц поближе к асфальту, размеренному рабочему дню и зарплате, которую, в отличие от деревенской, не стыдно получать.

Юная сельская поросль без сожаления отказывалась от обременительного наследства в виде бездорожья, тяжёлой сельской работы, копеечных доходов с огорода и колхозных нив и искала

-
- Алексей Васильевич Манаев родился в 1949 году на Белгородчине. Литератор и журналист. В 1972 году окончил отделение журналистики историко-филологического факультета университета (сейчас – Казанский (Приволжский) федеральный университет), полтора десятилетия спустя – академическую аспирантуру. Кандидат исторических наук. Работал в средствах массовой информации и в федеральных государственных органах. Государственный советник Российской Федерации I класса. Публиковался в федеральных журналах «Наш современник», «Человек и закон», в журнале московских писателей «Московский вестник», в «Литературной газете», «Московском литераторе» и во многих других периодических изданиях федерального и регионального уровней. Автор и составитель нескольких книг. Живёт в Москве.

счастья на стороне. Счастье находили редко, потому что желающих привольно жить на городских хлебах много, а хлебов этих тоже негусто.

А тут молодая девица после десятилетки сама добровольно меняет пригородное село на деревеньку, которую её величество цивилизация долго и упорно обходила стороной. Публика вынуждена была гадать, что бы это значило и каких последствий от непрошенной гостьи можно ожидать. В первую очередь вели речь о последствиях. Потому что приезжая была определена на самую главную в деревне должность – заведующей магазином. На сельском языке – завмаг. Если должность очистить от незаслуженного налёта велеречивости, то она вполне комфортно и оправданно уложится в одно слово: «продавец».

Магазин по виду, планировке, интерьеру был ближе к куреню, чем к владениям сельского коробейника. В одно окно неотопливаемый зальчик мог вместить едва ли с десятков покупателей; кладовая, где чаще всего хранилась только соль да тарные ящики, и того меньше. Невдалеке, метрах в двадцати, в землю была наполовину вкопана железная цистерна для керосина. Она тоже по обыкновению пустовала. Покупатели на случай непогоды, бездорожья всегда запасались керосином впрок, затаривая молочные алюминиевые бидоны и приобретаая сразу литров по 100–200 горючей жидкости. Вот, собственно, и всё хозяйство.

Но для местного населения оно значимей, чем для современного горожанина супермаркет. В деревеньке это было единственное казённое учреждение, через которое государство постоянно напоминало о том, что заботится о своих подданных и настойчиво стирает грань между городом и деревней. Традиционный ассортимент – хлеб, соль, макароны, вермишель, пряники и конфеты-подушечки, солёная килька и рыбные консервы в томатном соусе. Ну и, конечно, водка и плодово-ягодное вино, именуемое из-за дешевизны «плодово-выгодным».

Ассортимент дополняли иногда товары для сельской местности деликатесные: мороженая камбала, колбаса, копчёная исландская сельдь, шоколадные конфеты в красивых блестящих фантиках, бочковое пиво и даже шампанское. Отношение к ним, за исключением, естественно, пива и колбасы, было прохладное. Шампанское красовалось на витрине с десятков лет. Мужское население методом дегустации бутылки, купленной в складчину, определило, что в формуле цена–качество по наличию градусов самое слабое место в шампанском именно качество напитка.

Женская часть хуторского общества на первых порах не знала, что делать с мороженой камбалой. Собрались у магазина на сходку. Верх взяла самая голосистая сударыня. К счастью, её кулинарное просвещение не подвело: жаренная в тесте камбала понравилась всем. Правда, некоторые при обработке разрезали желчный пузырь, и оттого деликатес получался с горчинкой.

Но за мороженой камбалой очередь тоже не выстраивалась: и дороговата, и костиста, и драгоценного сельского времени требует много. То ли дело традиционная жареная картошка! Полчаса – и посыпанное мелко порезанным укропом яство на столе. Ассортимент приложений к нему широк. Квашенная капуста, огурцы и помидоры – свежие, малосольные, солёные. Словом, ешь – не хочу!

Поэтому не новых деликатесных товаров ожидала хуторская общественность. Опасалась, как бы не были утрачены старые сложившиеся, нигде не афишируемые связи. До приезжей магазином заведовал местный парень. После десятилетки он не прошёл институтские испытания и решил, что магазин – тихая гавань, где можно подготовиться к будущим экзаменам основа-

тельнее. На первых порах учебники математики и физики лежали на самом видном месте. Но близость к винным закромам с каждым днём отдаляла вузовские горизонты. Молодой человек нрава был весёлого, общительного, на ходу сочинял частушки и нуждался в завсегдатаях – слушателях его творчества.

Для них он открыл беспроцентную кредитную линию в виде журнала, куда пофамильно заносил земляков, которые слушали его истории, время от времени выпрашивая чарку-другую водки в долг. Этим самым нарушались сразу два правила советской торговли: водку на разлив продавать запрещалось, а продавать в долг – тем более. Но торговля в кредит была одним из способов выполнения плана товарооборота.

Была и другая беспроцентная кредитная линия – для хозяек, которые не всегда умели рассчитать семейный бюджет так, чтобы дотянуть до получки. Фамилии должниц тоже были занесены в отдельную тетрадь. Получку выплачивали от случая к случаю, поэтому долг копился иной раз месяцами.

– Смилостивись, Петрович, пускай должок подождёт. Сквознячок в карманах.

Петрович, как правило, шёл навстречу, а потому был самым уважаемым человеком. Однако тяга к чарке сказывалась всё сильнее и сильнее, и жена поставила вопрос ребром: или магазин, или развод. Пришлось оставить магазин.

Поэтому хуторяне опасались, что, не разобравшись, приезжая по молодости может прикрыть обе кредитные линии, и тогда многим семьям придётся обходиться без магазинных товаров. Её внешний вид эти предположения усиливал. Девичья, как, впрочем, и женская красота в сельце оценивались не по шкале стройная–дородная, а по шкале худая–полная. Пальму первенства отдавали полным красавицам, а стройных причисляли к худым. Завмага сразу отнесли к разряду худых и, следовательно, недобрых, нечутких, несердечных, некрасивых.

Опасения были напрасными. Приезжая (её звали странновато – Зиновия) оказалась продавцом ушлым не по годам. Она не только приняла от коллег товары, но и две общие тетради, в которых были занесены поимённые долги, не потребовала их досрочного погашения. Общие тетради помогли быстро определить, кто в доме хозяин и кто к чему пристрастен. К каждому потенциальному покупателю была найдена индивидуальная стёжка. Прежний продавец предпочитал иметь дело с мужиками. Его преемница – со всеми. Не ждала просьб – предлагала.

– Ивановна, – говорила, – у вас сегодня праздник.

– Какой праздник? – удивлялась Ивановна.

– Как какой? Двадцать лет вместе с мужем. Взяла бы шкалик ради такого события.

– Вот что значит коробейник! Я о юбилее забыла, а она помнит. И шкалик бы взять не грех, только казна пустая, – отнекивалась Ивановна.

– А ты возьми в долг, я подожду, – советовала Зиновия.

Приходилось Ивановне покупать не только хлеб, но и шкалик, навязанный продавцом, а то и банку-другую консервов для праздничного стола и конфет-пряников детям.

Или:

– Трофимыч, ты вчера, говорят, гостевал в Первомайском. Опохмелишься?

Трофимыч, собственно, и пришёл в магазин, чтобы опохмелиться, но не знал, с чего начать разговор, не имея ни гроша за душой. Предложение расценивал как знак особого к себе отношения и проникался уважени-

ем к Зиновии. Её авторитет рос как на дрожжах, и через месяц-другой она стала для всех в сельце человеком, ближе и дороже которого могут быть только родственники, да и то не все.

Для всех, кроме меня. Меня отталкивали её резкие движения, быстрая, отрывистая, захлёбывающаяся речь и то, что походила на хищную птицу с ястребиным клювом и обманчиво равнодушными, расчётливыми глазами. А то, что в её орбиту стал втягиваться и Егорушка, вызвало к продавцу неприязнь.

Мне не было и 15. Егору – за 40. Несмотря на разницу в возрасте, мы дружили. Егорушка нуждался во мне. В раннем детстве он переболел какой-то коварной болезнью. Недуг в конце концов отступил, оставив печальное наследство: Егор потерял слух, а разговаривать к тому времени ещё не умел. Предлагали отправить его в интернат для глухонемых на учёбу, но родители воспротивились. То ли опасались, что без их контроля к Егору могут пристать привычки отнюдь не пристойные. То ли такую роскошь они не могли себе позволить: отец Егора пришёл с войны без половины ступни, появились ещё дети, и надо было, чтобы старший помогал их поднимать. Так и осталась Егорушка необразованным глухонемым. Видимо, давняя болезнь оставила о себе и другое напоминание: походка у Егора была неустойчивой, ходил, шаркая, подавшись левым плечом вперёд. Объяснялся мимикой и жестами. Собеседника понимал с ходу, интуитивно чувствуя его настроение за версту, равно как и определяя причины, это настроение вызывавшие.

Бывало, идёшь смурной, встречаешь Егорушку. Улыбаясь, протягивает он руку и показывает на небо: что, мол, как туча надулся? Находит на карманных часах шесть утра – прогулял до рассвета? Признаёшься, а он поднимает большой палец вверх и опять на небо указывает. Это означает: мой возраст таков, что гулять до утра не грех и надо светиться от счастья. От счастья быть молодым.

Егор тянулся ко мне, потому что был абсолютно неграмотным. Общими усилиями мы старались этот недостаток одолеть. Хотя какой из меня педагог? Проще всего давалась математика. В дело шли пальцы, спички, карандаши, яблоки. Напишешь на бумаге 5+4, а потом на пальцах показываешь, что плюс означает суммирование, прибавление и что сумма составит девять. Мы, конечно, не залезали в дебри арифметики, но всеми действиями в пределах двузначных чисел овладели.

А вот с русским приходилось труднее. Начинали с простого. Например, кот. Я либо рисовал кота, либо вырезал фотографию этого красавца из журналов и газет. Затем из букв газетных заголовков склеивал слово «кот». Требовалось время, чтобы Егор запомнил слово, а потом находил его в любом тексте. Только потом мы шли к более сложным словам – кошка, котёнок, котята. Но и тут то и дело натывались на подводные камни. Слово «который» тоже вмещает в себе слово «кот». Попробуй докажи, что оно – из другой оперы.

А есть ещё понятия, которые вообще не имеют предметной основы и рождены взаимоотношениями между людьми: добро и зло, порядочность, справедливость. Как дать понять, что это плохой человек? Нарисуешь человека, составишь из букв слово «плохой» и, имитируя плевков, показываешь, что оно означает. С превеликим трудом, но – доходило! Он научился даже расписываться. Слегка высунув язык, аккуратно выводил печатными буквами «Егор», и собственноручно оставленная в любой ведомости роспись доставляла ему большое удовольствие: он не глухонемой неграмотный человек – он как все!

Научился он и шахматным премудростям. Деревянные фигурки с подклеенными на ножках фланелевыми синими кружками расставлял на доске аккуратно, бережно, будто сделаны они были из хрусталя. Выиграв, поглаживал себя по голове и груди. Смотрите, мол, как мне приятно, какой я умный. Проиграв, огорчался и тут же требовал начать новую партию, чтобы получить сатисфакцию.

Иногда мы подсказывали сверстникам ходы. Егор быстро улавливал хитрости и вертел указательным пальцем у виска либо имитировал плевок, определяя в нас ущербных людей. А ещё, чтобы сделать Егорушке приятное, мы нарочито проигрывали ему. От соперника и это нельзя было скрыть. Он злился пуще прежнего, сметая шахматы с доски и указывая на своё седалище: вот вы что!

Порой, что-нибудь делая, Егорушка увлекался и мурлыкал что-то про себя. Мурлыканьем звуки, впрочем, назвать было трудно. Это было скорее мычание – то громкое, то тихое, то минорное, а то мажорное. Наверное, в нём, в глубине его души, сами собой рождались какие-то мелодии. Но откуда он мог знать о существовании музыки, мелодий, ни разу их не слыша? Способностью спеть песню, озорную частушку, насладиться музыкой, всем, что несут в себе голоса и звуки, судьба его обделила. Получалось, что чувством ритма, ощущением музыкальной гармонии мира природа наделяет нас на геном уровне?

Некоторые мои земляки даже завидовали Егорушке. Как хорошо, мол, что немой! Мир и люди в этом мире такие, что не хочется порой никого ни видеть, ни слышать. Я эту зависть без обиняков называл глупостью. Пытался представить себе, как можно жить, не слыша грозы, шума дождя, журчания ручья, птичьего гомона и призывного ржания лошадей – всех красок многомерного мира, которые дарят звуки. Я пытался представить себе, как трудно жить, ни разу не произнеся такие простые и такие беспрельдно желанные слова, как «мама» и «папа», и даже не зная о существовании этих слов. Родителей он изображал так: мать – сторбленная женщина в платке, отец – прихрамывающий старик. Поэтому мне безмерно было жаль Егорушку, и я потакал ему во всём.

А Егор помогал мне. Тракторами-машинами он управлять не мог, но без дела не сидел и часа. Был умелым печником и плотником и знал столько премудростей деревенской жизни, что впору было удивляться, откуда всё это он почерпнул. Поэтому, если где-то в хозяйстве возникли неполадки, спешишь к Егору. Знаешь, он поправит, починит, подскажет, как починить.

Приветливое отношение Зиновии к своей персоне Егорушка постепенно начал воспринимать как нечто большее, нежели обыкновенное добродушие расчётливого коробейника. Егорушка влюбился в молодку. Он начал отдаляться от меня и зачастил в магазин – гладко выбритый, в новых одежках, приободрённый светло-зелёным одеколоном «Тройной». Смотришь, то крыльцо прихорашивает, то окно поправляет, то помогает разгружать машину с товаром. Сельчане заметили, что раза два Егорушка наведывался в торговую точку с букетом ромашек. Судя по всему, его самолюбие особенно тешило то обстоятельство, что девчонка оказывает знаки внимания немолдому мужчине. Значит – есть за что!

Когда Зиновия внесла Егорушку в круг особо приближённых лиц, которым дозволялось в любое время дня и ночи прийти на съёмную квартиру за бутылкой, а то и просто за шкаликом, за рюмкой спиртного, он был от счастья на седьмом небе. Земляки интересовались его отношением к приезжей. Егорушка поднимал вверх большой палец левой руки, а щепотью пра-

вой будто чем-то посыпал его. Это означало крайнюю степень восторга: красавица, королева! Если же спрашивали, когда у него с Зиновией свадьба, краснел как мальчишка, тушевался и мычал что-то неопределённое.

Была у Егора серебряная, с царским орлом монета. В наших местах вещь редкая. Однажды приходит рано утром, вызывает меня из дома. Конспиративность тут же объяснилась: Егор показал колечко, выточенное из серебряной монеты. Видать, отделявал его долго – оно сверкало на солнце и с виду не отличалось от заводского.

«Бэ-дэ-бэ-дэ...» – как, мол, колечко?

Поднимаю большой палец левой руки вверх, щепотью правой будто посыпая его чем-то. Егор улыбается, довольный. Потом мы несколько дней осваивали по буквам имя «Зиновия». Освоив, Егор сделал озабоченный вид и прижал указательный палец правой руки к губам. Не разболтай!

Через два дня вижу колечко на руке Зиновии.

– Красивое, – хвалю.

– А то! – Зиновия сжимает кулачок и, довольная, выпячивает палец с кольцом. – Других не носим.

– Кто подарил? – интересуюсь.

– Мир не без джентльменов, – уклончиво отвечает Зиновия.

– Особенно в нашем сельце.

– И в нашем ауле тоже...

Трудно предположить, как могли развиваться события. В сельце, в ауле – как Зиновия его уничижительно характеризовала – она долго оставаться не собиралась. Ей нужен был стаж завмага – солидное подкрепление мечты поступить в торговый институт.

Мечты – мечтами, а жизнь – жизнью. В августе в сельцо вернулся солдат, отслуживший срочную. Его гимнастёрку украшала целая россыпь каких-то знаков и значков, но особенно эффектно смотрелась зелёная фуражка пограничника. На моей памяти это был первый случай, когда посланец села служил не в пехоте, как обычно, а в пограничных войсках.

Рассказывал, что служил в тех местах, где советская, китайская и корейская границы образуют пятачок. На этом пятачке, прижавшись спиной к соперникам, стоял он, охраняя наши просторы и потихоньку выдавливая соперников с места. Хвастался, что увеличил территорию страны так, что даже пришлось переносить пограничный столб. Мы, признаться, не верили в рассказы пограничника, но верить почему-то очень хотелось. Как-никак – земляк!

Бравый пограничник несколько дней ходил неприкаянным, обмытая благополучно завершившуюся службу, и обратил внимание на Зиновию. Да, по правде сказать, больше внимания демобилизованному ефрейтору и обращать было не на кого. И пошло-поехало! Всем хуторянам была дана отставка. Егору – тоже. Кредитные линии завмаг не отменила, а навещать на квартиру за спиртным строго-настрога запретила. С утра до вечера приезжая балагурила с неожиданно подвернувшимся молодым человеком, рослым, видным, хотя и грубоватым. Бурная любовь горным потоком скакала с уступа на уступ у всех на виду и была странноватой: время от времени под глазами Зиновии обнаруживались синяки и ссадины, тщательно замаскированные пудрой. Побивал, видать, ухажёр, учил уму-разуму. Но Зиновия за ним тянулась.

Больше всех от её каверз страдал Егорушка. Ему трудно было понять поведение молодой особы, которая предпочла ему, опытному мужчине, желторотика и вела с ним амурные игры напропалую, презрев стыд и срам. Он

осунулся, стал заметно сутулиться и избегал визитов в магазин. О Зиновии, впрочем, предпочитал ничего не «говорить», а вот о своём неожиданном сопернике отзывался уничижительно. Сопернику отзывы доносили, но он относился к ним как великодушный победитель к побеждённому: что-де с него, глухонемого, возьмёшь?

Однажды я увидел, что Егорушка нетвёрдой походкой шёл в магазин, возбуждённо жестикулируя.

– Как бы чего не случилось! – подумал я и поспешил за ним.

Оказалось, не зря. Зайдя в магазин, Егорушка обнаружил целующуюся пару и буквально вскипел. Он схватил соперника за грудки, намереваясь ударить в лицо. Соперник увернулся от удара, приподняв Егора, посадил его на прилавок и спокойно ретировался домой, бросив на ходу:

– Только этого мне не хватало – с инвалидом драться за потаскуху!

Егорушка слез с прилавка. Мыча, жестикулируя, приседая, поднимаясь на цыпочки, призывая в свидетели небо, бросая фуражку на пол, выплёскивал в лицо Зиновии всё своё страдание. Что он, Егорушка, любит её больше всех на свете. Что готов носить её на руках, жалеть и лелеять. Но она предпочла ему прощелыгу. Дурака, который нигде не работает, пьёт и не любит её, потому что бьёт. А поэтому у неё, у Зиновии, нет ни ума, ни сердца.

А Зиновия стояла за прилавком, выбирая из кулька жареных подсолнечных семечек зёрна покрупнее, грызла их, сплёвывала лузгу в узкую ладонь и с ленивой безучастностью говорила:

– Невзначай разбила тебе сердце, Егор. Ты думал – красавица, а на самом деле – коза, в полбока луплена, за три гроша куплена...

Егор выскочил из магазина, сел на ступеньки и заплакал, вытирая слёзы рукой со сжатой в кулаке фуражкой. Мои попытки образумить его ни к чему не приводили.

Тогда я вошёл в магазин. Я орал на завмага, стучал кулаками по прилавку, сбросил на пол счёты и гири. Егор встал, подошёл ко мне и, мыча, разорвав рубаху, требовал, чтобы я бил его в тощую грудь с редкими седеющими волосами. Потом вытолкал меня из помещения, всем видом показывая, что оскорблять Зиновию не имею права, что я есть дрянь несусветная. Он плюнул в мою сторону и, погрозив кулаком, покачиваясь, медленно, тяжело пошёл домой.

На следующий день магазин не работал. Ещё через день приезжая уехала из сельца. Уехала, ни с кем не попрощавшись.

История эта случилась давно. Вспомнил я о ней буквально на днях, гуляя по столичному парку. Здесь, на скамейке, развёрнутой к пруду, заметил немолодого человека, которой разговаривал сам с собой, так же, как мой глухонемой друг. И я решил рассказать о нём. Долго сомневался, нужны ли кому-нибудь истории с атрибутами колхозно-кооперативной жизни пятидесятилетней давности. А потом задал себе вопрос: а сколько лет «Барышне-крестьянке» Пушкина, охотничьим рассказам Тургенева? Читаем. Потому что дело не в антураже, а в искренности человеческих чувств.

Это главное.

Главное – хоть раз в жизни увидеть плачущего от любви немого мужчину и позавидовать ему.

И оттуда, издалека на меня вдруг наплыл взгляд Егорушки.

Полный презрения, испепеляющий взгляд.

Простил ли он Зиновию – не знаю.

А меня не простил. Это точно.

КОРОЛЕВА

Автобус вильнул хвостом августовской придорожной пыли вперемешку с бурными выхлопами бензина и нехотя поплёлся к видневшемуся вдалеке сельцу, увозя салонную духоту и шум хриплого от старости мотора. Мы медленно приходили в себя от четырёхчасовой тряски с короткими остановками на автостанциях, полустанках, а то и вовсе в чистом поле. Звенящая зноем тишина куполом опускалась на нас.

– Эх, водички сейчас бы, – мечтательно произнесла она, – хоть глоток. Всё внутри от жары слиплось.

– Воды так воды, – стараясь казаться степенным, сказал я, доставая из потёртого кожаного портфеля алюминиевую трофейную фляжку.

Фляжка была изрядно помята, бока её кое-где слегка почернели, но содержимое – хоть воду, хоть водку, хоть вино – держала надёжно.

Я медленно отвернул крышку и протянул спутнице ёмкость.

– Держи, Королева. По щучьему велению..

Королева даже не удивилась. Вроде так и должно быть. Стоит лишь захотеть. Она пила воду жадно, большими глотками, захлёбываясь. Маленький симпатичный кадычок весело бегал туда-сюда по её точёной шее.

– Теперь ты. Бери, не стесняйся.

– Я степняк. Степной житель что верблюд. Пьёт раз в неделю. И не транжирь воду. Лучше умойся.

– Догадливый, пыль в кожу клещами вцепилась.

Я наполнял водой сложенные ковшиком розовые ладошки, она погружала в ковшик лицо и даже не дышала. До сих пор перед глазами эта сказочная картина: умывающаяся на большаке среди неоглядного поля Королева. Моя Королева. Вода струйкой стекает по её рукам и каплями плюхается в придорожную пыль, превращаясь в горошины, чем-то напоминающие разлитую ртуть.

Фляжка быстро пустела. Я достал из портфеля маленькое махровое полотенце.

Она бросила на меня быстрый оценивающий взгляд, но опять ничего не сказала. Королева сначала прикладывала полотенце, как промокашку, к слегка загорелым рукам, шее, лицу, тщательно вытирала их, и эта процедура была ей приятна.

– Много ли надо человеку, проехавшему 200 километров в жару в тряском автобусе? Фляжка воды, махровое полотенце – и счастлив аки блоха, с которой Левша снял подковы.. – начала философствовать Королева.

– Он не снимал. Он подковывал.

– О том, что подковал, все знают. Но блохе подковы что туфли-лодочки на рынок. Без ног останешься. Поэтому жизнелюбивый Левша их и снял.

Я расхохотался.

– Ожила, раз фантазируешь. Запомни: для счастья нужен верный спутник. Такой, как нынешний твой кавалер, – набивал себе цену я, но тут же был подвергнут изощрённой экзекуции.

– Тогда не найдётся ли у тебя, верный Санчо Панса, пары бутербродов?

Королева капризничала, переведа меня из разряда рыцарей в разряд слуг. Но я сделал вид, что не заметил каприза.

– Бутерброды в наших местах водятся. Отведайте, ваше величество! – Я протянул Королеве два бутерброда с дольками краковской колбасы, добытых из того же облешего рыжего портфеля – верного спутника студенческой жизни. – Специально достал только два, чтобы не испортить вашу драгоценную фигуру.

– Откуда ты нарисовался такой предусмотрительный? – на этот раз действительно удивилась спутница. – И вода у тебя, и полотенце махровое, и бутерброды...

– Надо пожить в этих местах два десятка годков. Поездить по снежным намётам, по расхлябанной осенью дороге, летом извергающую пыль, и быстро станешь сообразительным.

Королева ещё раз окинула меня оценивающим взглядом, будто увидела впервые, и сказала примиряюще:

– Ладно, замнём для ясности. Давай показывай, хозяин, где тут вещей камень с надписью: «Прямо пойдёшь – сам пропадёшь, налево пойдёшь – коня потеряешь, направо пойдёшь...»

– ...Жену найдёшь, – подхватил я. – Присказка не про нас: жену я, потеряв голову, недавно нашёл. Следовательно, если налево и потребуется пойти, то не скоро. Очень не скоро. Может быть, никогда.

– Уверен? – продолжала ёрничать Королева.

– Не уверен – не обгоняй. Я обогнал всех твоих кавалеров.

– ...Которых не было, – уточнила она.

– Запомни, Королева, в моих владениях нет вещного камня, – подделываясь под её тон, нравоучительно витийствовал я. – Куда бы ни пошла: налево, направо, прямо – всюду ваше величество ожидает счастье. Всмотритесь: из этого большака, по-местному – шляха, вытекает маленький двухколейный ручеёк-просёлок. Он спешит под уклон к в-о-о-н тому, километрах в полутора, хуторку в три десятка домов. Туда и потопаем по просёлку.

– Сказочно. Это не о нём: за долами, за лесами, в тридевятиом царстве, в тридесятном государстве?..

– У каждого своё царство. Это – моё.

Я взял в правую руку терракотового цвета кожаный чемодан, вспухший от наших тряпок и подарков, левой прихватил прохладную ладошку спутницы и решительно направился по намеченному курсу. Королева шла молча с моим портфелем в руке и дамской сумочкой на плече.

Я заметил, что к диалогам, пересыпанным остротами, намёками, двусмысленностями, прибегают либо при флирте, либо тогда, когда пытаются скрыть волнение. У нас флирт давно миновал. Две недели назад мы стали мужем и женой. На руках, поблёскивая на солнце, красовались новенькие золотые обручальные кольца. Золото так себе. Самоварное. Но кто сказал, что проба драгоценного металла определяет качество семейной жизни?

Сегодня, в жару, меня всё время тянет положить кольцо в карман, но не решаюсь – вдруг Королева обидится: ещё медовый месяц не прошёл, а ты от кольца хочешь избавиться?!

Из слов «жена», «девушка», «спутница», «королева» стараюсь выбирать любое, кроме слова «жена». Для меня оно вроде обновы, которую надевают и стараются бережно носить только по праздникам.

Для меня это слово пока с трудноуловимым смыслом. Расписались, окольцевались, живём вместе, спим, едим. И что? Тогда не доходило, что моя спутница приехала ко мне не в гости, не на побывку на несколько дней. Приехала навсегда. И всё, что она с собой привезла: достоинства, недостатки – всё это теперь и лично, персонально моё.

В меня вселился двойник под названием жена. Он затих, привыкая к ситуации, он пока не проявляет себя. Но обязательно проявит. Как?

Не знаю. Наверняка всплывёт и то, что не обрадует. Недаром говорят: муж да жена – одна сатана. То есть в неё и в меня вселилась сила, которая

будет проявлять себя отнюдь не весёлыми картинками. Но этому свой срок – повседневность.

А пока у нас праздник. Пока я ради торжественности момента называю жену Королевой и веду на смотрины – матушке, сестре, родственникам, хуторянам. Поэтому мы и волнуемся. Поэтому и пытаемся скрыть волнение фальшивыми высокопарными фразами про королев и вещи камни. А ещё потому, что вырос я, то ли к счастью, то ли к сожалению, увы, не на московском асфальте, не в селе с густым басом благовеста, а в заштатном южном хуторке, которых пруд пруди. И что я ей расскажу? Буду с серьёзным видом талдычить, что хуторок, может, единственное место на земле, которое цивилизация всё пытается обезжать стороной, время от времени заглядывая на побывку? И я её именно поэтому везу сюда в медовый месяц? Да ни-за-что!

Во-первых, не соответствует торжественности момента.

Во-вторых, лично для меня хуторок важнее всяких столиц и мегаполисов. Что мне они – величественные красавцы, поражающие воображение небоскрёбами и другими неестественными железобетонными конструкциями? Мишура, которая удивляет, но не греет. А здесь каждая тропинка, каждая ложбинка, каждая выбоина нашёптывают сердцу то, от чего оно бьётся учащённо и восторженно.

Восемь лет шагал по этому просёлку дважды в день: три километра – в школу, три километра – из школы. Одни начинали утро с молитвы, другие с физкультуры, а меня в любой день, в любую погоду ожидал трёхкилометровый марш-бросок. В зависимости от времени года окрестные поля покрываются то многоцветным ковром, то чернозёмным крылом зяби, то белым снежным покрывалом. Иногда мне кажется, что это эхо моих школьных радостей и горестей. Моих праздников и будней. Моих слёз и разочарований.

Конечно, с милым рай и в шалаше. Но какому же жениху не хочется, чтобы шалаш был со всеми удобствами, со скатертью-самобранкой, с ванной. Предложить такой шалаш я не мог. Приходилось рисовать миражи. Приходилось ёрничать.

Мы шли на смотрины через цветущие поля. Уже пропели зёрю люпин, эспарцет, клевер, люцерна, уже отхороводился рапс. Наступила свадебная пора гречихи и цветка солнца. Так получилось случайно: справа благоухающий подсолнечник, слева заневестившаяся гречиха в скромном бело-розовом наряде. У пчёл тоже медовый месяц. Стоит несмолкающий густой гул этих работяг. Охмелевшие от нектара, они бьются в грудь, запутываются в наших волосах и летят дальше только одним им ведомыми маршрутами. Медовый аромат ядрён и умиротворяющ.

Опять пускаюсь в велеречивые рассуждения о том, что эти поля засеяли ради нас, чтобы отметить наш медовый месяц. Королева меня поддерживала не очень активно.

– Давай передохнём пару минут. Покажи, где твой замок. Отсюда видно? – устало попросила она.

С удовольствием начал развивать тему.

– Наш замок, – бодро сообщаю, – впитал все достижения сельской архитектуры конца 20 века. Её приметы: крыша из оцинкованного железа – чтобы дольше служила; вишнёвый палисадник перед фасадом в три окна, высоченный пирамидальный тополь перед верандой, а также резное крыльцо под навесом. Прошу отметить оригинальность стиля. Замок под железными крышами в хуторе всего ничего, а из оцинкованного железа – наш единственный. Его начали возводить к нашей свадьбе, но не успели. В горнице ещё нет полов, – лихо тараторил я.

И в этом тоже была доля правды. Точнее сказать, долька. Маму в личные планы я не посвящал, строить новый дом она начала по своему наитию, и в новых апартаментах действительно ещё не везде были полы.

– Где же мы будем спать? – спросила Королева.

– Где придётся. Сеновал устраивает?

– Гут, гут, – почему-то перешла собеседница на немецкий язык. – Зер гут!

– Отлично! Аусгецайхнет! – в тон Королеве ответил я и облегчённо вздохнул.

Мне показалось, что самые щекотливые, самые коварные вопросы позади. Не тут-то было!

– А ещё в твоём царстве есть какие-либо достопримечательности?

– Конечно, конечно, Королева! Посмотрите направо. Вдали, на ферме, видите водонапорную башню. Это лучшая башня в Европе и самая высокая в нашей округе. Башню дополняют шесть колодцев с вкуснейшей водой. Правда, не во всей Европе, а только в Восточной. К вашим услугам магазин типа универсама: там изысканная хамса соседствует с не менее изысканной килькой с овощами в томатном соусе. Рядом вполне сносный сельский очаг культуры. В том смысле, что его собираются сносить за ненадобностью. Но пока оставили. Это тоже достопримечательность округи. Молодёжь лет тридцать назад возводила методом народной стройки.

– Балабол. Вот балабол! – неожиданно заключила Королева без прежней дипломатической учтивости.

Вот так. Я её – Королева, а она меня – Санчо Панса. Я – изящные слова, а она – дворовую лексику.

Я понял, что моя спутница совсем устала. Я почувствовал, что это супружество окатило меня первой лёгкой горько-солёной волной.

Поставил чемодан на попу, усадил на него Королеву и освободил портфель ещё от одной тайны – крупного, спелого, со светло-розовым румянцем яблока сорта белый налив. Налив так налив: сквозь тончайшую желтоватую кожуру просвечивают семечки! Королева ела нехотя. Я встал так, чтобы тень падала на неё, и будто невзначай рассматривал спутницу.

Познакомились мы лет семь назад в Казани. Жили в соседних университетских общагах. Весенними вечерами выходили во двор играть в волейбол. Иногда в классический – через сетку. Иногда перепасовывали друг другу мяч, собравшись в кружок. Девиц, как правило, игра не интересовала. Они выходили себя показать и на других посмотреть. Женского полу в общагах было больше, чем нашего брата. Какой факультет ни возьми, за исключением, пожалуй, юридического да геологического, – сплошь девичья аудитория. Дефицит мужского внимания и выводил их на улицу. Прихорашивались, поправляли причёски, думали о том, чтобы не повредить длинные наманикюренные ногти. Игра – дело второстепенное.

А она быстро входила в азарт и металась по площадке, как пинг-понг среди увальней. Вешала партнёрам свечки, брала, растянувшись в шпагате, немислимые мячи, пущенные в прыжке рослыми соперниками. Бывало, и сама, невысокая, пружинистая, пыталась застать врасплох игрока, взлетая в прыжке и мощно пробивая по мячу. Знай наших!

Мне такой пинг-понгчик, ещё и с озорными глазами приглянулся. Но попыток познакомиться поближе ни она, ни я не делали.

Свёл нас случай. Вместе с двумя сокурсниками мы решили подзаработать денег и нанялись разгружать вагон с негашёной известью. Опасный груз в 60 тонн плюс ненормированная работа в выходной приносили столько капиталу, сколько многим не заработать, пожалуй, и за месяц. Стоило 12

часов тягать полуцентнеровые крафт-мешки сначала из вагона в грузовую машину, потом из машины в хранилище, укладывая груз штабелями? Стоило. Мы и тягали. Парни, однокурсники, были покрепче, посolidнее, и я боялся оказаться в арьберггарде передового отряда студентов-грузчиков. Меня никто не упрекнёт, если не справлюсь с работой. Расплата страшнее: меня на работу однокурсники больше не пригласят.

Опасения были напрасными. Я, конечно, устал: на каждого пришлось по 40 тонн груза, если считать его перевалку. Беда подкралась с другой, неожиданной стороны. Как ни укупорены крафт-мешки из скользкой плотной бумаги, известковая мелкая пыль, просачиваясь наружу через швы, проникла между перчатками и рукавами роб и облюбовала запястья рук. В отличие от друзей, я сильно потел. Известь вступала в реакцию с потом и гасилась. Получалась едкая щёлочь. Поэтому к концу дня запястья сначала покрылись волдырями, а потом кожа превратилась в сочащееся месиво. Хорошие деньги притупили боль. Хороший ужин с водкой унял её. И я надеялся, что во время танцев с красивыми девушками в фойе общежития под медленную, лукаво-томную музыку вообще забуду о боли.

Пригласил на танец мою волейболистку. Радмила Караклаич поёт в тему. О падающем снеге, о зовущей в манящее неизвестное любви. Я как бы невзначай стараюсь прижаться к партнёрше. Она как бы невзначай осаждаёт мой пыл, хотя и нехотя, щадяще. Кто-то из соседних пар задел мои воспалённые руки, и я, поёжившись, вскрикнул от боли. Уговоры не помогли. Я был немедленно этапирован в её комнату, где раны промыли марганцовкой и перевязали бинтами. Каждый божий день меня начали усердно лечить. Средства лечения и профилактики постепенно расширялись, в них были включены длинные-длинные поцелуи. Помогло. Я вывел такую закономерность: чем поцелуи жарче, длинней, тем помощь эффективней.

Только избавился от одной болячки, появилась другая. Лечебные процедуры я ходил принимать в соседнюю общагу химиков, где обитала и Королева. Точнее, в бытовку, в комнату для глажки белья, в которую вечером на свидание с уютком, соблюдая негласную договорённость, никто не заглядывал. Желаящих приватизировать комнату на несколько часов было много. Чуть зазеваешься – и всё, ищи укромное место где-нибудь в уголке лестничного пролёта. Темнота – друг молодёжи. Мы что только не делали, чтобы она была хозяйкой лестничных пролётов: выкручивали лампочки, помещали между цоколем и патроном куски обыкновенной газетной бумаги, приводили в негодность сами патроны... Нам шли навстречу. Только неопытный юный электрик бросался сразу восстанавливать свет. Специалист со стажем знал что к чему и исправлять наши проделки не спешил.

На этот раз нам повезло. Мы заняли гладильную комнату и заворковались до первых петухов. Глядь на часы – четыре утра. Дверь общаги давно закрыта на замок, вахтёр мирно посапывал в красном уголке. Все двери и окна на всех этажах оказались тоже крепко-накрепко задраенными. Но любые двери открывает молодость. На кухне четвёртого этажа створки окна оказались податливыми, я распахнул их настежь. А рядом по стене водосточная труба. Она была ещё новая, из оцинкованного железа. Для настоящего гусара нет преград. Я перебрался с подоконника на трубу и, обхватив её ногами, заскользил вниз, рассчитывая на то, что у самой земли удастся пригасить скорость. Не удалось. Потому что труба, не выдержав вольного с ней обращения, оторвалась на уровне второго этажа, и я грохнулся на асфальт Икаром. Опять лечебные процедуры с помощью длинных поцелуев, опять ночные бдения в бытовой комнате, опять её мечты о своём уголке. Не о хоромах. О комнатке два на два метра.

Мы жили как во сне, механически готовясь к экзаменам, сдавая курсовые, посещая коллоквиумы. Мы не планировали будущее, не говорили высокопарных слов. Мы руководствовались только одной едва уловимой материей, которая называется доверием. Остальное выстраивалось логически. Раз тебе доверяют – значит любят. Тебя любят потому, что доверяют. А что ещё в жизни нужно?

Оказалось – нужно! Ей, химику, нужно было по распределению ехать на берега Балтики, где в муках и судорогах рождалась электронная промышленность, мне – в Белгород, в областной центр Центрального Черноземья. Пахать газетную ниву. Расставались без заламывания рук. Обнялись на перроне, постояли, прижавшись друг к другу, и поезд унёс её. Сначала к черноморским берегам – понежиться под щедрым крымским солнцем и поработать на виноградниках Массандры, щедро одаривавшей подопечных марочным вином. Пригубливала его группа из десяти однокурсников исключительно вёдрами. А через месяц надо было спешить в Прибалтику.

Через два дня уехал и я. На Север. На валку леса, чтобы поднакопить капитал на мебель в квартиру, которую обещали дать в течение двух-трёх месяцев. Потом в Белгороде ожидала газетная подёщина.

Ни мне, ни ей и в голову не пришло, что мы могли больше не встретиться. Поговорка «с глаз долой – из сердца вон» особенность этой возможности хорошо выражает.

То ли времена были «не те».

То ли были наивными, инфантильными взрослыми-детьми.

То ли доверяли друг другу.

И сейчас дать однозначный ответ на этот вопрос не могу.

Королева моя между тем ожила. Я опять взял в одну руку чемодан, в другую её прохладную узкую ладонь. Держа мой кожаный портфель, она плелась за мной упрямым осликом. Видимо, приближающаяся встреча со свекровью не давала покоя, и она старалась отсрочить этот момент.

– Слушай, вот мы придём к твоей матушке, моей свекрови, и как ты представишь меня? – спросила она.

– Не беспокойся. Подойдём, и я скажу: «Знакомься, мама, это моя жена. Королева со взглядом летучей мыши...»

– Прямо так: Королева со взглядом летучей мыши?

– Только так: Королева со взглядом летучей мыши.

– А твоя матушка знает, что такое летучая мышь? Может, у вас их нет.

– Твоя свекровь всё знает.

– Просвети, почему тогда со взглядом летучей мыши.

– Летучая мышь полуслепа. Значит, и ты – тоже. Если бы ты была по-настоящему зрячей, разве выбрала бы меня в мужа, ваше величество? Посмотри внимательнее. Среднего роста конопатый чурбан – вот кто я. И медовый месяц на хуторе будешь проводить, а не в Сочи.

– Ты и в самом деле дураком.

– И не мечтай, – ору, – всё равно промахнёшься, летучая мышь!

Шутейная возня продолжалась с полчаса, пока Королева, бросив портфель, остановилась, отдышалась и на полном серьёзе сказала:

– Запомни: летучая мышь – это ты. Ты ж рассказывал о твоих подружках-хуторянках. Пышные бюсты. Ноги от ушей. Глаза – гжельские чайные блюдца, – тараторила Королева, руками демонстрируя женские прелести моих бывших подруг. – А я среднестатистическая девица, у которой ничего выдающегося. Но женился-то ты на мне. Значит, летучая мышь – ты!

Меня вердикт не обескуражил. Я к нему был готов.

– Да, я тоже летучая мышь. У этой мыши ночной образ жизни, и зрение для неё не главное. У неё есть устройство типа локатора, с помощью которого она очень точно ориентируется в пространстве. У меня тоже есть такой приборчик. Он и определяет, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.

– И как этот приборчик называется?

– Душа...

Словесное фехтование закончилось в мою пользу. Мы собрали манатки и медленно поплелись к приближающемуся хутору. Я впереди. Она, в позе всё того же упрямого ослика, сзади. Её волнение передалось и мне.

Я думал о предстоящей встрече с мамой.

Я знал, что обидел её.

Так сложилось, что замужем она была. А фату не носила. Свадьбу не справляла. В церковь на венчание не ездила. И мужа, по большому счёту, никогда не любила, выйдя за него по настоянию бабушки. И расставание было быстрым и почти безболезненным. А потом не до свадеб было. Да и с кем эти свадьбы играть? Время послевоенное, голодное. Кого отпустила от себя война, тот или калека, или при семье. Поэтому ждала своего часа, чтобы на моей свадьбе перепеть, выплясать, выплакать всё, что накопилось в душе. Готовилась к торжеству заранее. Я ещё в восьмой класс хожу, а меня уже модный бостоновый костюм дожидается, синий шерстяной плащ, белая рубашка. Всё – на вырост!

– Mam, зачем деньги впустую тратишь? – спрашиваю. – Эти шмотки из моды выйдут.

– Не выйдут! – уверенно говаривала она. – Это нейлоны с лавсаном в утиль пойдут. А тут натуральная шерсть!

Устаревших фасонов обновы я ни дня не носил. В костюме и плаще красовался дядя. Слава Богу, хоть так. Ему, женатому, тоже в своё время было не до свадебных церемоний. Хлебнул лиха по полной.

Но мама не из тех, кто мирится с поражением. Она затеяла очередное наступление на судьбу, решив построить новый дом.

Я опять возмражал. Оглянись, говорю, вокруг. Все из хуторов на вольные хлеба устремились. Я в городе укоренился. Ты не молодеешь. Зачем нам хоромы?

– Затем, – объясняет, – что ты женишься. Диплом есть, работа есть, квартира есть. Чего тянуть? Хочу понынчить внуков. Не допущу, чтобы ты, мой любимый единственный сын, привёл свою Королеву в избушку. Буду кохать внуков в деревенском дворце. Чтобы всё как у людей: прихожая, гостиная, кухня, столовая, детская. А как же?

Стройка шла споро. Дом-пятистенок с крышей из оцинкованного железа, с просторной верандой, улычиво смотрящий большими окнами на широкую улицу, рос как на дрожжах. Осталось всего ничего: постелить пол в горнице и покрасить его.

Но не успели. Я неожиданно женился. Неожиданно даже сам для себя. Для матушки – тем более. Я, единственный сын, в ком матушка души не чаяла, не познакомил заранее с будущей женой, как водится в благопристойных семьях, не сообщил о брачных торжествах и даже не пригласил на них любимую матушку.

А она готовила к ним не только новый терем, но и праздничный костюм. Сама, вооружившись непривычными очками, вышивала себе белую кофточку со стоячим воротничком и длинными, раструбами вниз рукавами. Сама шила

на ручной шумной машинке нарядный шёлковый сарафан. А полусапожки, наверное, были припасены лет двадцать назад. Теперь таких не тачают: голенища тонкой козьей кожи, кожаные подошвы на берёзовых, в несколько рядов шпильках и на аккуратном, игривом каблучке. Хранила всё это в дальнем углу сундука, время от времени опасно заглядывая в тайник – всё ли на месте?

Я ничего не выдумываю.

Всё так и было.

Но свадьба состоялась без неё.

Никто не неволил.

Я решил сам!

Уехав из Казани, я и моя Королева быстро нашли друг друга и вяло переписывались. Мобильников, скайпов и других ухищрений цивилизации тогда не было. Разговоры по телефону, заказываемые в отделениях связи, были короткими и формальными. Что можно сказать собеседнику, если тебя слушает вся аудитория почтового отделения?

Мы устраивались каждый по-своему, каждый в отдельности. Белгород я выбрал отчасти потому, что хотел быть поближе к маме. Город тогда больше походил на солидный райцентр, чем на региональную столицу. Перед Казанью единственное преимущество: почти всё вокруг война превратила в груды мусора, и большинство улиц были как с иголки, сверкали окнами новых домов. Во всём остальном Белгород явно уступал Казани – в дорожности, в именитости, природном обрамлении. В городе целых три речки с ласковыми названиями – Гостёнка, Везеница, Северский Донец. Только этим они и приметны. По ширине все они, даже взятые вместе, с Казанкой несравнимы, не говоря уже о Волге.

Много времени отнимала и газетная подёнщина. Мне кажется, что учебные заведения до сих пор поставляют не готовых специалистов, а слегка насиженные яйца. Специалист проклёвывается из них лишь в газете, в школе, на производстве. Кто проклянется, а кто и задохнётся. Мечты пожить на широкую ногу тоже не оправдались. Стипендия в университете была небольшой. Оклад на работе превышал стипендию вдвое. Зато оказалось, что я должен государству, потому что бездетен, потому что получаю доход в виде зарплаты (стипендия к доходу, видимо, не относилась). Налоги отнимали львиную долю полочки, и она по размеру напоминала стипендию студенческих времён.

Моя Королева тоже привыкала. Казань была одним из символов городов Востока. А Рига изо всей мощи тянулась к Западу. Как не поблаженствовать под этим самым зыбким западным солнышком! Между командировками на курсы, семинары, совещания она и блаженствовала. Хотя жить по потребностям тоже не позволяла зарплата молодого специалиста-химика.

Вскоре и она, и я почувствовали, что ни принцесса Рига, ни паж Белгород ничем не могут утолить нашу жажду видеть друг друга. Я часто по радио слушал модный тогда шлягер «Ноктюрн». Я менялся с лирическим героем местами и страдал:

*Ночью в узких улочках Риги
Слышу поступь гулких столетий.
Слышу века, но ты от меня далека,
Так далека, тебя я не слышу.*

Хотя в Риге до той поры я ни разу не был.

Мы пришли к консенсусу: надо чаще видаться. Где – не столь важно. В Белгороде так в Белгороде. В Риге так в Риге. Но выполнить взаимную

договорённость оказалось непросто. Прямых авиа- и железнодорожных рейсов не было. На самолёте до Харькова и обратно, с заездом на электричке в Белгород – сутки. На поездах – хоть через Москву, хоть через Минск–Харьков, хоть через Орёл – вынь да положь трое. Только и оставалось, что увидеть, прикоснуться – и вновь в дорогу. Мне на службе отгулы не давали, свободные дни в счёт отпуска не предоставляли (некому работать!), из командировок я не вылезал и поэтому (а может, ещё и в силу покладистости характера) сумел вырваться в Ригу лишь однажды – в августе, во время законного отпуска.

Вот тогда-то, пожалуй, и был наш настоящий медовый месяц. Место в её общаге помог получить один круглощёкий полосатый саратовский арбуз, как бы невзначай от чистого сердца врученный комендантше. Нам тут же были предоставлены апартаменты – целая комната с четырьмя железными кроватями и нарядными, «ухом» кверху, подушками. Впрочем, в общаге мы почти не были. Старая Рига, величавая Даугава, Домский собор, кафешка «Тринадцать стульев», уютный салон-кинотеатр (кажется, «Астория») с квартетом виолончелистов... Умиротворённая Юрмала с высоченными соснами, подступающими к самой воде, и с обязательным рестораном «Юрас Перле» – морской жемчужиной, в котором пропальсилось первое советское варьете; венценосный Вильнюс с игрушечно-точёными костёлами, со спектаклями с Донатасом Банионисом; княжеский Шяуляй и царственно-провинциальная Елгава – чем не королевский маршрут для моей Королевы? А обо мне, её Санчо, и речи не могло быть. Этот мир для меня был неизвестен вообще. На всё смотрел восхищёнными глазами. Не всё, правда, запомнилось. В Юрмале, как ни странно, удивило то, что и там оказалось много юрких парней грузинской национальности, промышлявших шашлыками:

– Папробуй, дарагой! Вах-вах, пальчики откусишь...

Неподражаем центр Каунаса. Над обветшавшими старинными кварталами, к реставрации которых несмело приступили, возвышалась белоснежная ратуша – как дух, душа возвышается над бранным телом. Запомнился музей витража, который находился в великолепном православном храме. Сверху, с балюстрады, лилась величественная органная музыка; мы ходили по залам, рассматривая витражи и скульптуры. Всех их будто околдовал орган, и они застыли от неогиданности, вслушиваясь в тайны звуков.

В ресторане в центре Каунаса мы ещё больше почувствовали себя новобрачными. Мы неспешно, чтобы продлить удовольствие, обедали, а наши пажи – официанты в зелёных камзолах, в причудливых шляпах, – стоя навытяжку, из супниц подливали в тарелки.

Уезжал из Риги через две недели. Приехал – дождь прекратился, уезжал – дождь начался. Четырнадцать дней редкой для Прибалтики ядрёной погоды! Не знаю, то ли я преподнёс столь шикарный подарок Королеве, то ли она – мне. О будущем опять – ни слова.

Рижская Королева, к моей радости, навевывалась в Белгород чаще. Я ей завидовал. Повезло, думал, девице-красавице с начальством: стоит лишь намекнуть на отгул, и – отпустили.

Одно маленькое происшествие показало, как сильно я ошибался.

Людей везучих в мире нет.

Есть упорные.

Она была упорной.

Однажды добиралась ко мне из Риги через Орёл поездом. Добралась и попросила перевести с десятков рублей по какому-то незнакомому мне южному адресу. Я, конечно, деньги немедленно перевёл. Но проснулась

и зашкворчала, как яичница на сковороде, ревность: кому перевела, за что перевела деньги незнакомцу из далёкого от Риги города Саратова? Стал исподволь выяснять. Оказалось, денег на поездку в Белгород у Королевы не было даже в один конец. Она рассчитывала добраться на пассажирском до Орла, а оттуда через Курск на перекладных электричках приехать в Белгород. Обратную дорогу должен был спонсировать я. В поезде Королева быстро сошлась с семейной парой. Когда проводник предложил заранее, не выходя из вагона, «зафрахтовать» билеты на скорые поезда, следующие через Орёл на Белгород и Харьков (там пара должна была пересесть на саратовский поезд), спутник тут же оплатил незнакомке купе.

Королева попала в крайне неловкое положение. Ей нечем было рассчитаться с попутчиком. В благородном семействе вспыхнул скандал. Женщины, как я заметил, вообще народец подозрительный, а тут флирт на глазах у законной супруги! Да ещё и с расходами. Невыносимо! Шум, крик, упрёки.

Телеграммой и переводом мы поспешили уладить скандал, который, полагали, не унимался. Через день получили от неожиданного поклонника Королевы ответную мудрёную телеграмму: «Доброта позволяет не терять сознания. Человеческого».

Вскоре выяснилась и другая неприятная деталь. Оказывается, дни на визиты ко мне выделялись не за счёт добренького начальства, а за счёт донорской крови. Сдашь норму – тебе два дня к отпуску. И на эти экзекуции шла моя Королева, которая на дух не переносила врачей, боялась уколов, перевязок и микстур! Однажды, уговорив медиков вопреки всем правилам взять сразу две нормы крови, Королева грохнулась в обморок. С трудом привели в сознание.

Я, конечно, мысленно корил себя за недогадливость, за бездеятельность. Но... мы опять беспечно расстались, и на день не заглянув в будущее.

Очередной визит она намеревалась нанести, прилетев из Риги в Харьков. Уговорились, что там, в аэропорту, я её встречу. Планы нарушил редактор, поручив написать срочный материал. Писал старательно и быстро. Его старательно и не очень быстро несколько раз правили, готовя в номер. Доправился до полуночи. Самолёт должен вот-вот прилететь, в аэропорт я явно опаздывал, а сообщить об опоздании никому не мог. Решил: поеду на Белгородский железнодорожный вокзал. Иного способа добраться ночью из Харькова до Белгорода, кроме как по железной дороге, не было. Вокзал невелик, там всякий прибывший ночной порой пассажир заметен. Жду час, другой, третий, четвёртый... Нет никого! Думаю: а вдруг рейс не состоялся или вылет на неопределённое время задержали?

Короче, в шестом часу утра уехал я домой, в недавно предоставленную квартиру. В любом случае квартиру не минует. Спал часа полтора. Звонок. Распахиваю дверь. Она, моя Королева. Я лезу с объятьями. Она отстраняет меня, прислонясь к дверному косяку, говорит:

– Весь твой город пропах яблоками и розами. Рейс задержали. В Белгород приехала рано. Транспорт не ходил. Пешком шла.

И – зарыдала.

Плакала без упрёков, без сцен, прикрыв глаза ладонями.

– Не плачь, – просил я. – Отхлещи меня по щекам, но не плачь. Надо кончать эту комедию с визитами в гости. Ни к чему хорошему она не приведёт. – И объявил неожиданный даже для самого себя вердикт: – Завтра женимся!

Женщину вообще трудно склонить к чему-либо против её воли. Королеву – тем более. Все мои уговоры не плакать утопали в бесконечных приступах всхлипываний с лихорадочно трясущимися плечами.

К вечеру всё было решено. Через день-два она вылетает в Ригу, утрясает всякие бюрократические формальности, собирает вещи и – ко мне. И мы сразу же женимся. Родителей в наши планы решили не посвящать. Согласились: лишние непредвиденные траты обременительны и для её, саратовских кровей, матушки, и для моей мамы, строившей свадебный терем.

Так и сделали. С большим трудом, используя связи коллег, достал я эти самые кольца из самоварного золота (фату, платье и туфли она сумела купить из-под полы в Риге).

С не меньшим трудом привёл в порядок однокомнатную хижину. Два месяца жил у меня одноклассник-юрист. Почти каждый день (вернее, каждую ночь) за ним приезжали, вызывая на очередное происшествие. Почти каждый раз он уходил в ночь, оптимистично напевая: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»

Преобразование сказки в быль явно затягивалось.

Я не спал, но на всякий случай одноклассник уведомлял меня запиской, что отбыл в неизвестном направлении, когда будет, тоже бабушка надвое сказала. И неизменно подписывался: «Любящий тебя Васисуалий (Васятка)».

Была у одноклассника ещё одна профессиональная, наверное, особенность: он любил пиво. За месяц-полтора мой балкон был доверху загружен тёмными бутылками от «Жигулёвского». Бракосочетание не вызвало у следователя особого энтузиазма.

– Жаль, – сказал он. – Не берусь утверждать, что ты, обручившись, станешь потерянным для общества человеком. А вот твоя квартира для меня точно будет потеряна. А так сказочно было почивать на раскладушке! Наверное, как на лаврах.

Разгружать балкон пришлось тоже мне.

На такси, украшенном лентами, мы съездили в ЗАГС, расписались, выпили со свидетелями шампанского. Вечером посидели с коллегами, с теми, с кем успел сблизиться, в ресторане, получив от них драгоценный подарок: торшер с розовым, из синтетики, абажуром.

Хотя торжества из-за скромных наших доходов проходили в чрезвычайно будничной атмосфере, их заметили соседи.

Однажды они остановили Королеву на лестничной клетке: «Деточка, говорят, у нас принято поздравлять новобрачных. А мы не можем. Не с чем: алкаш твой молодой муж первостатейный. Видела бы, сколько бутылок скопилось на балконе. Гора!»

Ни её, ни меня это заявление не смутило.

Мы не находили себе места от того, что из торжеств «выпали» родители. К её матушке, жившей на Волге, мы рано или поздно съездим. Всё образуется.

А к моей матушке поздно нельзя. Дом – вон он, в двухстах километрах от Белгорода. Значит, надо ехать на знакомство. Уже куплены скромные подарки, уже уложен чемодан, уже по-новому расставила Королева мебель. А мы всё оттягиваем и оттягиваем своё появление в хуторе. Наконец решили: едем!

Вот и идём сейчас по просёлочной дороге к матушке. Хуторок в два порядка. Мой тот, что на противоположной стороне от дороги. Справа по диагонали от неё дом.

Вон высоченный тополь приветливо машет мне ветвями.

Вон крыша из оцинкованного железа. Вон матушка в белом платочке.

Сатиновая юбка, перехваченная бодрым фартуком, сатиновая, в горошек, кофточка дополняют наряд.

Ещё два десятка шагов – и мы рядом.

Ей надо будет что-то сказать.

Её, несчастную женщину, всю жизнь прожившую ради сына, всю жизнь мечтавшую побывать на его свадьбе и так и не побывавшую на этой свадьбе, надо было чем-то утешить.

Чем?

Что женился на Королеве, ради меня, сельского шалопая, не один раз рисковавшей жизнью?

Поймёт ли?

И поймёт ли меня Королева?..



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

ЦВЕТ САРАТОВСКОЙ ЖИВОПИСИ

Саратов по праву считается одним из значительных центров художественной культуры Поволжья. Тем не менее при анализе состояния того раздела пластических искусств, который представлен живописью и графикой, приходится констатировать, что на протяжении почти всего XIX века (не говоря уже о предыдущем столетии) фигуры художников были сугубо эпизодическими: Ж.-Б. Савэн, по происхождению француз (портреты и акварели), акварелистка М. Жукова, А. С. Годин (был первым учителем М. Врубеля) и Ф. А. Васильев (первый наставник В. Э. Борисова-Мусатова), портретисты и церковные живописцы Л. С. Игорев и Д. Н. Россов. В основном за пределами Саратова работали его уроженцы, которые были по-настоящему известными художниками – В. Журавлёв и А. Ф. Харламов.

Высокий расцвет саратовской живописи конца XIX–начала XX века подготовила деятельность приехавшего из Италии Э. Баракки и выпускника Петербургской академии художеств В. Коновалова. Они оказали решающее воздействие на местную художественную школу, основными представителями которой стали В. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов, П. С. Уткин, А. И. Савинов, К. С. Петров-Водкин (уроженец Хвалынского), а также скульптор А. Т. Матвеев.

С 1897 года начинает отсчёт своей истории Саратовское художественное училище имени А. П. Боголюбова, что определило последующую отлаженность в воспитании художественных кадров. Оно открылось как Боголюбовская рисовальная школа, которая поначалу разместилась в здании Художественного музея. Его уникальная коллекция являлась для учеников лучшим подспорьем в овладении профессиональными навыками.

В 1918 году школа была реорганизована в Свободные художественные мастерские, в 1919-м – в Высшие государствен-

-
- Александр Иванович Демченко – доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, главный научный сотрудник и руководитель организованного им Центра комплексных художественных исследований, действительный член (академик) Российской и Европейской академий естествознания, заслуженный деятель искусств России, обладатель Золотой медали В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и почётного звания «Основатель научной школы», главный редактор журнала «Манускрипт» и член редакционной коллегии ряда российских и зарубежных журналов, лауреат премии имени Д. Д. Шостаковича и Международной премии имени Николая Рёриха, почётный гражданин города Саратова.

ные художественно-технические мастерские. Затем на этой базе в 1920 году открылся Художественно-практический институт, а в 1923-м – Художественно-промышленный техникум. Наконец, с 1937 года – это Художественное училище.

Среди выпускников училища значатся такие выдающиеся мастера, как П. Кузнецов и А. Матвеев, народные художники СССР Н. Жуков и А. Кибальников, народные художники России Б. Неменский, И. Севастьянов, Н. Суворов, А. Головницкий, А. Учаев и многие другие.

Но вернёмся в «звёздные» для Саратова годы, чтобы напомнить о тех, кто возглавил плеяду замечательных мастеров изобразительного искусства и был в авангарде так называемой эпохи «культурного взрыва», как обозначают иногда высокие художественные свершения конца XIX и начала XX столетия. Разумеется, это только что названные Борисов-Мусатов, Кузнецов и Петров-Водкин.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870–1905) родился в Саратове, учился в Реальном училище, но оставил его, чтобы серьёзно заняться живописью. Позднее, совершенствуясь вначале в Москве, а затем в Петербурге, лето проводил в Саратове, много работая на пленэре. После трёхлетнего пребывания в Париже до конца жизни находился в родном городе. Писал он в основном с натуры в окрестностях Саратова. Расцвет творчества приходится на последнее пятилетие жизни, с 1901 года.

Двойная фамилия у него сложилась ввиду восхищения художника незаурядной личностью деда – Бориса Александровича Мусатова, имя которого он присоединил к родовой фамилии. Это был первый из плеяды крупных живописцев, которых Саратовский край выдвинул с конца XIX века. В нашем городе открыт Музей-усадьба В. Э. Борисова-Мусатова.

Основная часть его творчества связана с завершающим этапом эволюции классического искусства, что нашло метафорическое выражение в широкой разработке мотивов осени и заката. Целый ряд полотен носит соответствующие названия: «Осенний мотив» (дважды, в картинах 1899 и 1901 гг.), «Осенний вечер» и «Прогулка на закате», «Отблеск заката», «На закате» и т.д.

Мир его живописи – это прежде всего мир безвозвратно уходящего дворянского прошлого. Обитатели староусадбных домов и парков – у него главным образом молодые женщины, в пышных старинных платьях с кринолинами, с веерами в руках. Ещё одним атрибутом соотнесённости с давней стариной является то, что зафиксировано в названиях картин «Гобелен» (1901) или «Дама у гобелена» (1903).

С точки зрения определяющей роли женских персонажей для картин Борисова-Мусатова очень показателен «Автопортрет с сестрой» (1898), где художник сдвигает своё изображение в сторону, вынося часть фигуры вообще за пределы полотна. Всё внимание сосредоточено на сестре, в которой он видел нечто очень типичное для того времени, и потому она служила излюбленной моделью многих его работ.

В облике мусатовских героинь почти всегда сквозит элегический тон, на них часто лежит печать меланхолии. Глубокая задумчивость, тень усталости и озабоченности на лице, бессильно упавшие руки – эта грусть-печаль, статичность, анемия особенно ощутимы на фоне цветущей природы, подаваемой с ярко декоративной красочностью («Водоём», 1902).

Возникает заведомое несоответствие: девушки как главные персонажи картин Борисова-Мусатова, молодость, которая должна быть полна сил и радости, а на деле ощущение стынувшей жизни, её исчерпанности – таков завуалированный, но сильный внутренний диссонанс многих полотен художника.

Изображаемое в них существование «дворянских гнёзд» всё более тонет в дымке воспоминаний о былом, как бы погружается в сон, становится зыбким и призрачным. Да и обитатели запустевших усадеб превращаются в подобия призраков.

Именно так и называется одна из картин – «Призраки» (1903), где видение дворцовой постройки расплывается, дерево с остатками блёклой листвы – почти фантом, одна из двух человеческих фигур действительно призрачна, а другая почти исчезла, срезанная краем полотна. И остаётся пропеть панихиду уходящей жизни, что и происходит в картине с симптоматичным заголовком «Реквием» (1905).

Наряду с осенне-закатными мотивами в творчестве Борисова-Мусатова неустанно утверждалась мысль о том, что с уходом дворянского мира жизнь, конечно же, не закончится, увядание – вещь преходящая, а всеобщее бытие вечно и бесконечно. Эту мысль он раскрывал через образы цветущей природы, часто исключая человека как тленное существо.

Важнейшим объектом изображения становится буйство весеннего цветения: «Весна» (1901), «Весенняя сказка» (1905). Весеннему цветению может уподобляться даже осенний пейзаж, своим золотом красок напоминая о пушкинском восприятии особой прелести этого времени года: «Осенняя песнь» (1905). Непостижимое и радостное чудо жизни приобретало ликующий характер в пейзажах и натюрмортах с цветами: «Окно» (1886), «Маки в саду» и «Цветы» (обе – 1894), «Розы и серёжки» (1901), «Венок васильков» (1905).

Творческое наследие Борисова-Мусатова совершенно определённо соотносится с культурой «серебряного века». В частности, он активно и сознательно развивал свойственное этой культуре стремление сблизить живопись с музыкой. Его полотна пестрят соответствующими заголовками: «Летняя мелодия», «Осенний мотив», «Мотив без слов», «Романс» и т.п.

Как и у ряда других мастеров изобразительного искусства того времени, мы находим у выдающегося саратовского живописца претворение на русской художественной почве принципов импрессионизма. Делал он это очень по-своему, добиваясь неуловимо-расплывчатой зыбкости тона, часто прибегая к пастели, нежным размывам тающих красок: «Куст сирени» (1905).

Особая грань мусатовского своеобразия – в характерной для него поэтике провинциальной жизни, исключаяющей столичный лоск и претензии на аристократизм. Отсюда на его картинах довольно невзрачные усадебные постройки, лишённые архитектурных красот, и простоватые лица барышень, одетых по давно ушедшей моде прошлых лет.

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878–1968) родился в Саратове и получил здесь профессиональное образование как живописец. Главное открытие для мира искусства сделал в Саратовском Заволжье, разрабатывая свой так называемый «киргизский цикл». В Саратове открыт Дом-музей Павла Кузнецова.

После В. Борисова-Мусатова он был следующей по счёту выдающейся фигурой эпохи «культурного взрыва» в искусстве нашего города. Это один из трёх крупнейших художников-волжан, оказавшихся ровесниками – в том же 1878 году родились К. Петров-Водкин в Хвалынске и Б. Кустодиев в Астрахани.

На этапе раннего творчества Павел Кузнецов испытал сильное влияние В. Борисова-Мусатова. Однако влияние это касалось в основном той стороны наследия старшего современника, которая вела к символистским прозрениям. И если у Борисова-Мусатова подобное было только на уровне предвосхищения данной тенденции, то у Кузнецова она получила, пожалуй, своё предельное выражение для русского искусства. В чём-то он шёл и по пути позднего Клода Моне, с характерным для его работ растворением конкретных земных объектов в призрачно-аморфной пелене.

Обращаясь к мотивам сна, мистического видения, загадочных ритуалов и к таинству ирреально-запредельного, Кузнецов доводил зыбкость и размытость очертаний предметной среды до их полной дематериализации, всемерно акцентируя при этом мерцающий сине-голубой колорит полуночья. Пик символистских исканий с выходом к неким фантомам трансцендентного происходит на середину 1900-х годов: «Голубой фонтан» и «Утро» (обе работы – 1905), «Рождение» (1906).

На рубеже 1910-х годов в творчестве Кузнецова происходит резкий разворот в прямо противоположном направлении. На смену изыску туманных измышлений эстетствующей фантазии приходит примитивизм чётко обведённого линейного контура, демонстративно плоскостного изображения, опрощённости и огрублённости в обрисовке предметов, лиц, фигур в их подчёркнуто «вещной» осязаемости и материальности.

Воссоздаваемые в этой манере жанрово-пейзажные сюжеты художник черпал в жизни Востока, диапазон которого простирался у него от Крыма («Весна в Крыму», «Дорога в Алупку») через Кавказ и Среднюю Азию («Натюрморт с сюзане», «Бухарский натюрморт», «Женщина в Бухаре», «Сбор плодов. Азиатский базар») и до дальневосточных земель («В храме буддистов», «Натюрморт с японской гравюрой»).

Но главной для себя территорией Кузнецов считал наше Заволжье, где тогда ещё встречались степные кочевья тех, кого условно именовали киргизами. В наблюдениях за их жизнью родилась знаменитая «киргизская серия», составившая самую сильную и оригинальную часть художественного наследия Кузнецова.

Интерес к экзотике «киргизского» Востока, давший потрясающий результат, таил в себе стремление сойти с орбиты «цивилизованного существования», в своих многовековых наслоениях давно потерявшего связь с первоосновами естества, и в художественных образах напомнить современникам об этих первоосновах на примерах из жизни кочевников.

С точки зрения искусства за этим стояло желание преодолеть накопившуюся инерцию классических традиций, следование которым к началу XX века уже сковывало художественную мысль. И то первородное, что несколько ранее Поль Гоген искал на островах Полинезии, Павел Кузнецов нашёл гораздо ближе – в степях Заволжья.

И подобно Гогену «таитянского цикла», но очень по-своему и, пожалуй, даже в большей степени примитивизм Кузнецова отличался ярко выраженной поэтической нотой. За якобы «неумелостью» письма, с нарочитой деформацией в воспроизведении предметной среды и схематической обрисовкой людей и животных, таилось любованье жизнью степных кочевий, что очевид-

но и в красочном декоративизме цвета (Кузнецов часто работал темперой), и в воздушной ауре высветленных нежно-голубых тонов, и в своеобразном изяществе очертаний женских лиц и фигур.

Уникально заявил о себе поэтический примитивизм Кузнецова в воссоздании пантеистических ощущений слитности человека с природой и земного мира с небесными высями.

Так, в нижней части картины «Мираж в степи» (1912) с наивной непосредственностью живописуются реалии степной жизни (фигурки людей и животных, разбросанные в беспорядке кибитки), но эта жизнь приобретает особый смысл и колорит ввиду того, что доминирующую часть полотна занимает фантастическое видение некоего уникального действия небес: то ли идущее снизу вверх извержение циклопических гейзеров, то ли низвергающиеся с небес водопады.

В этом сказывается своеобразная проекция распространившейся в начале XX века идеи космизма, которая получила здесь удивительную иллюстрацию того, как земное может срастаться с феерией вселенской материи.

Магистральное и самое драгоценное, специфически «кузнецовское» оказалось сфокусированным в мощном выплеске, охватившем всего три года (1911–1913), когда появилось множество работ «киргизской серии», в том числе «Семья киргиза», «Киргизка», «Спящая в кошаре» (все – 1911), только что названный «Мираж в степи», «Вечер в степи», «Весна в степи», ещё один «Вечер в степи», «Дождь в степи», «Стрижка овец», «У водоёма», «Гадание» (все – 1912), «Восточный мотив», «В степи», «Степной пейзаж с юртами» (все – 1913).

К началу 1920-х годов «киргизские мотивы» обнаруживали себя только отдельными отголосками («Стрижка баранов», «Кибитки») и восточная тематика вообще отходила в прошлое: «Елена Бебутова» (1922). Впереди предстояли ещё многие десятилетия жизни, но от времени блистательного взлёта художник наследовал главным образом столь присущий его манере красочный декоративизм: «Цветы» (1939).

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) родился и провёл многие годы в Хвалынске Саратовской губернии. Несомненно, именно окрестности этого города с их холмистым ландшафтом подтолкнули художника к разработке идей так называемой сферической перспективы. Хвалынский чтит память своего знаменитого земляка: здесь открыт Художественно-мемориальный дом-музей К. С. Петрова-Водкина, работает Картинная галерея его имени, а в 2008 году ему установлен памятник.

В плеяде выдающихся саратовских художников конца XIX–начала XX века он выделяется чрезвычайно широким диапазоном творческих интересов, впечатляющей многогранностью художественного наследия.

После ряда предварительных опытов 1900-х годов Петров-Водкин выходит в начале 1910-х на узловые для себя темы творчества, которые он разрабатывал на основе использования чистого локального цвета и пластической ясности образов.

Первой из этих тем была тема крестьянской России, и среди мастеров изобразительного искусства начала XX века не было равных ему по силе и органичности её претворения. О коренной причастности к ней свидетельствует написанный в 1912 году автопортрет, где художник изображает себя в посконной рубахе, с грубоватыми, чисто мужицкими чертами лица.

Но в целом при воссоздании персонажей крестьянского мира господствующей для Петрова-Водкина была установка на внеобыденную, обобщённо-приподнятую их обрисовку. Разумеется, это касалось не только героев фольклорно-легендарного эпоса (панно «Микула Селянинович», 1918), но и распространялось на типажи из самой низовой среды.

Действие данного принципа в полной мере сказывалось и на разработке сюжетов. Замечательный пример – картина «Полдень» (1917), где посредством свободного сопряжения различных временных и пространственных планов просматривается весь путь человека от рождения до погребения. Хроника различных эпизодов жизни размещена на множестве плоскостей, что рождает ощущение бескрайнего земного простора.

Таким образом, художник, подобно древнерусским живописцам, создаёт как бы житие крестьянина, разместив в рамках единой композиции основные вехи его бытия (словно в клеймах иконы). А высокая нота звучания этой многоликой сюиты образов обеспечивается ярким декоративизмом цвета – полотно буквально источает лучезарное сияние животворного солнечного света, утверждая нетленность того, что заключено в народно-национальной тверди.

Именно на материале крестьянской жизни Петров-Водкин неустанно развивал тему материнства, сложив ему в красках подлинный гимн. Следуя народному идеалу женщины-матери, он изображает её статной, с округлым милостивым лицом, бесконечно нежной и непременно кормящей. Таков и младенец – крепкий, полнотелый. Оба радуют здоровьем, спокойствием, и над всем разлит мягкий золотистый свет благоденствия (целая серия картин с тождественным заголовком «Мать» – 1913, 1915, 1920, 1925).

Образы материнства в художественной системе Петрова-Водкина созвучны тому обширному миру, который охватывается понятием «святость Руси». Мир этот мог претворяться в высших традиционных символах, прежде всего богородичных: «Богоматерь Умиление злых сердец» (1915).

Но гораздо важнее для художника было стремление выявить черты сакральной духовности в натуре своего современника. Чаще всего он создавал уникальный сплав того, что шло от иконных ликов, с живыми приметам реальнoй русской женщины-крестьянки: «Девушки на Волге» (1915).

В том же ряду находятся портретные зарисовки подростков и юношей, которым Петров-Водкин сообщал ангелоподобный облик. И параллельно тому, что программно обозначено как «Голова ангела» (1915), появляются работы, практически ничем не отличающиеся от названной: «Голова юноши» (1910 и 1916). Крестьянки-богородицы и мальчишки-ангелы через соотнесённость с поисками духовных глубин и через ассоциации с древнерусской иконописью были ориентированы на единую цель – возвеличение образа русского человека начала XX века.

В историю изобразительного искусства Кузьма Петров-Водкин вошёл прежде всего как летописец лихолетья, обрушившегося на Россию, начиная с Первой мировой войны, а затем, после революций 1917 года, многократно умножавшегося во времена Гражданской войны и, если судить по его работам, не оставлявшего страну не только в 1920-е, но и в 1930-е годы. Как никто другой из отечественных живописцев, он последовательно, настойчиво и во всевозможных гранях фиксировал тяготы сурового времени, наложившие свою печать на любые стороны человеческого существования.

Так, отмеченные выше иконописные образы наделяются скорбной выразительностью: глаза, с печалью взирающие на мир, горестный наклон головы, мрачные тени на лице, общий затемнённый колорит: «Голова ангела» (1915), «Мадонна с Младенцем» (1923). Такую же метаморфозу испытывают и столь

характерные для творчества Петрова-Водкина изображения современников, наделяемые иконными чертами.

В знаменитой картине «1918 год в Петрограде» (1920), которую ценители справедливо нарекли «Петроградской Мадонной», кормящая ребёнка молодая женщина воспринимается как мать-заступница, охранительница жизни. Её фигура подана крупным планом и многозначительно поднята над тревожной сутолокой городской толпы, но атмосфере времени испытаний отвечают наполняющие её внутреннее напряжение, насторожённость, готовность к любым превратностям судьбы.

Свойственное художнику возвышение реальности посредством привнесения в облик современников иконописных черт могло распространяться практически на любые ситуации, в том числе и связанные с войной.

В картине «На линии огня» (1916) изображён отряд, брошенный в штыковую атаку, и впереди смертельно раненный молодой офицер – выражение его ангельского лица говорит о том, что душа его возносится к небесам.

Картина «После боя» (1923) передаёт мгновенье затишья, когда три красных командира застыли в сакральном поминовении павших, чему вторит тёмно-синий фон небытия с призрачными тенями тех, кто не вернулся с полей сражений.

Сила интуиции, присущая Петрову-Водкину, проявилась в том, что он раньше многих других почувствовал наступившую с началом Первой мировой войны эру больших социальных потрясений. Пророчеством о них явилось написанное в 1914 году символическое и поистине устрашающее полотно «Гибель». Обнажённых мальчиков, бегущих к реке выкупаться, настигает то, что в подзаголовке картины обозначено словом «Ураган». Перед его бушеванием мечущиеся фигурки с лицами, полными ужаса, совершенно беззащитны. Земля под ними вздыблена, полыхает заревом мирового разлома.

Но даже после установления мирного времени тревога и беспокойство не оставляют художника, и он продолжает вещать о године нескончаемых жертв. В этом отношении очень показательны две работы 1928 года: «Смерть комиссара» и «Землетрясение в Крыму».

Одним из подобных полотен, уже с аллюзиями-намёками на затягивающуюся петлю «сталинской эпохи», стала картина «1919 год. Тревога» (1934). По стандартам прозаического реализма воспроизводится убожество скудной обстановки в домах барачного типа, где поселилось чувство страха. Стоящий спиной старый рабочий боязливо заглядывает в окно. Но более всего обращает на себя внимание хрупкая девочка с глазами, полными слёз.

Страдания, переживаемые людьми в переломные эпохи, с пронзительной остротой переданы Петровым-Водкиным именно в портретах детей: в их широко открытых глазах затаились горечь и скорбь, а деформированные очертания головы говорят о лишениях: «Фектя» (1916), «Дочь художника» (1923).

Целую галерею детских портретов художник создал, побывав в голодном 1921 году в Средней Азии: в так называемом самаркандском цикле это этюды «Мальчик-узбек», «Голова мальчика-узбека» и «Шах-и-Зинда», где главное – не руины древнего храма, а изображённая на переднем плане голова мальчика, в глазах которого бездонная печаль жизненной потерянности.

Портретируя взрослых современников, Петров-Водкин не позволял себе открытой экспрессии, но при всей сдержанности и строгости изображения

подчёркивал линией и цветом, что переживаемая эпоха требовала высокого мужества, воли, собранности и простоты до аскетизма. Это заметнее всего в портретах людей искусства: «Анна Ахматова» (1922), «Андрей Белый» (1932). Одним из самых ярких художественных документов времени тяжёлых испытаний стал автопортрет, выполненный в 1918 году: простенький свитер грубой вязки, бритая голова, заострённые черты лица, упрямо сжатые губы и прищуренные глаза, напряжённо всматривающиеся в мир.

Передавая облик человека этого времени и царящее вокруг него, художник преимущественно использовал два цвета. Тёмно-коричневый на лицах приобретал настораживающе-землистый оттенок. Синий цвет представал в оттенках от голубоватого с ультрамарином до бледно-синего с фиолетовым отливом. И если от первого веяло холодом тревог и отчуждённости, то второй был знаком смерти, которая неустанно подстерегала людей, с вожделием накладывая на них печать мертвенной синевы.

Совершенно особую художественную интерпретацию ощущение катастрофичности бытия тех лет получило в натюрмортах Петрова-Водкина. В них вместо отлаженного взаимодействия горизонтали и вертикали композиция выстраивается вдоль наклонной оси, теряя под собой прочные основания. Всё наклоняется по касательной, предметы готовы соскользнуть со стола и обрушиться: «Утренний натюрморт» и «Розовый натюрморт. Ветка яблоки» (оба – 1918).

Столь же неожиданным оказывается «Натюрморт. Селёдка» (тот же 1918) с тощей рыбёшкой и двумя картофелинами, что могло быть прешеством для рядового гражданина «страны Советов» – трудно представить себе более беспощадное свидетельство хроники «военного коммунизма».

Изредка Петрова-Водкина, как летописца лихолетья, тешила надежда на лучшее. Он претворял её в аллегорических образах, и всегда эти аллегии были связаны с фигурой всадника. Причём сутью изображения был не столько собственно всадник, сколько конь.

Впервые его образ предстал в картине, которая принесла художнику известность и стала живописным манифестом обновляемой России 1910-х годов – «Купанье красного коня» (1912). Здесь исполинская и горделивая стать былинно-богатырского коня, предстающего в огненном полыхании цвета, символизировала стихийные силы, как бы поднимавшиеся на поверхность жизни из глубин первобытия. Несколько лет спустя мир о жажде подобного обновления воскликнет устами С. Есенина:

*Сойди, явись к нам, красный конь!
Мы радугу тебе – дугой,
Полярный круг – на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную!*

Так перебрасывался «мост» от начала 1910-х к рубежу 1920-х годов. И тогда появился другой конь Петрова-Водкина: рисунок «Первое мая» (1919). На волне прошедших революций и победы в Гражданской войне человек обретает лик крылатого архангела и, сливаясь воедино с небесным конём, преодолевая земное притяжение, взмывает ввысь. Торжествует суровость до аскетизма, поэтому используются только два цвета – чёрный (тушь) и белый (бумажный лист), сочетание которых отдаёт холодком вороной стали.

Последний конь художника появился в «Фантазии» (1925), когда мечта о лучшем ещё бередила воображение, но Петров-Водкин с его интуицией уже почувствовал её несбыточность. Вот почему всадник – босоногий крестьянский парнишка, своей жалкостью и подслеповатостью напоминающий стирающуюся под ним неухоженную землю и неустроенную жизнь. Так прозаическая реальность берёт своё, в ней глохнет всё из ряда выходящее и превращаются в пустой звук благие порывы...

В заключение вернёмся к двум моментам, упомянутым в начале обзора творчества Кузьмы Петрова-Водкина. Первый из них касается разработанной художником так называемой сферической перспективы. Она реализуется посредством использования нескольких точек зрения, разворотом целого ряда плоскостей пространства перед взором зрителя так, что, открывая для себя пласт за пластом, он схватывает в одновременности предельно широкую панораму близких и далёких планов с эффектом вращения поверхности (в числе показательных полотен – «Полдень», «Весна», «Смерть комиссара»).

Второй момент связан с чрезвычайно широким диапазоном творчества Петрова-Водкина. Выше преимущественно отмечался его выдающийся вклад в отображение народной и особенно крестьянской жизни. Но, в сущности, он мог и умел в искусстве практически всё: воплощение человеческой красоты в призме идеалов «серебряного века» («Женский портрет» (1906), адекватное портретирование глубоко интеллигентных натур, не уступая в этом К. Сомову («Александр Бенуа»), натюрморты с чётко очерченной «вещностью», что шло от русского сезаннизма, или с восточной красочностью в духе М. Сарьяна («Айша») и т.д.

Это «иное», не находящееся на магистрали творчества художника, выполненное на уровне неоспоримых шедевров и в дополнение к главному в его наследии, говорит об удивительной силе дарования.

Итак, Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин – многие ли вesi бескрайней провинциальной России могут назвать в своей художественной летописи столь же уникальные взлёты национального гения? Но и для самой саратовской земли это было мгновение высочайшего творческого откровения, надеяться на повторение которого, очевидно, не приходится.



Михаил
МУЛЛИН

«Не рассказать ли вам сказку...»

Андрей Кавадеев. Докучные сказки. — М.: «Авторская мастерская», 2019.

В столичном издательстве «Авторская мастерская» (Москва, 2019) вышла книга Андрея Кавадеева «Докучные сказки». В ней представлены поэтические переложения десяти сказок из знаменитого сборника сказок Александра Афанасьева. На мой взгляд, нужна немалая отвага, чтобы решиться на такую работу. И если уж Лев Толстой отмечал в своём друге Афанасии Фете как замечательное качество «лирическую дерзость», то в намерении «перевести» с русского на русский же (с языка прозы на язык рифмованный) — с народного (а народ и есть творец языка) на авторский — дерзость, пожалуй, тоже!

Работающий ныне в Москве Кавадеев для Саратова не чужой — окончил исторический факультет нашего классического университета. Некоторое время работал в Саратове, в частности, в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского. Впрочем, работал (повышал профессиональный уровень на практике) и за границей — в Германии.

На двух саратовских презентациях (в областном Доме работников искусств и в музее-усадьбе Чернышевского), прошедших очень тепло, издание вызвало большой интерес присутствовавших и его безусловное одобрение. Что, кстати, не помешало обсудить вопрос: а нужен ли вообще подобный «перевод с Афанасьева на Кавадеева»? Ведь, вроде бы, всё равно лучше Афанасьева не скажешь... Так нужен ли вообще этот явно нелёгкий труд?

Аргументы в пользу Кавадеева, разумеется, нашлись. Во-первых, нельзя же птице запретить петь, ибо для неё это пение — естественная потребность, то есть необходимость. А писание стихов для поэта (а Кавадеев — поэт, профессионально владеющий пером) — сочинение той или иной разновидности стихов — естественное состояние. Во-вторых, любое привлечение внимания к русским сказкам — дело и полезное, и благородное. Вполне возможно, что кто-то заинтригованный сборником «Докучных сказок» обратится и к самому перво-

источнику. И если нельзя, видимо, говорить о преимуществах переложения перед сказками, записанными А. Афанасьевым, то достоинства отметить можно. Скажем, если «Сказка о потерянном времени» начата хореем, то этим задан и ритм её чтения. А ритм вообще воспринимается подсознанием человека как что-то приятное, благоприятное (наверно, отчасти и поэтому мы любим стихи и музыку). А рифмы, с одной стороны, ласкают ухо ожиданием повторыемости звуков, а с другой — ещё больше подчёркивают (даже как бы утверждают) ритм.

Автор сборника отнюдь не дословно следует за содержанием народных сказок (впрочем, и не искажает их), а допускает то «шаг влево», то «шаг вправо». Он, например, вводит в сюжет конкретные исторические лица, что создаёт эффект некоторой актуализации и достоверности сказок. Вводит и просто персонажей, коих у Афанасьева нет. Но такая «вольность» позволяет ярче высветить некоторые черты характера героев основных.

А расширение лексики, производимое Кавадеевым, уж никак неуважением к «оригиналу» не назовёшь. Ведь соединение в тексте, например, слов «старинных», простонародных, в чём-то архаичных — с «современными» иностранного происхождения, чуть ли не сленговых или чуть ли не «научных» канцеляризмов, сшибка этих, так сказать, слов из разных словарей подчас создаёт комический эффект, внося элемент иронии.

На первый взгляд кажется сомнительным выбранное автором название книги. Ведь докучные, то есть докучающие, надоедливо-приставучие, — это сказки с особым всё-таки типом юмора, вроде «Сказки про белого бычка» или коротенького: «Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало; не сказать ли с начала?» А с другой стороны, «докучать» означает «надоедать», просить неотступно, бесконечно приставать». Но по прочте-

нии постепенно доходит до сознания и другой – позитивный смысл (оттенок смысла) слова «докучный», объяснённый в послесловии при помощи цитаты: «Что докучает, то и научает» (В.И. Даль). И, наконец, в название, может быть, вложена добрая лукавинка автора, мол, простите меня великодушно – я вам немножко подокучаю!

Книга нарядно и со вкусом оформлена (художник Анна Куликова), на хорошей бумаге, то есть не только вызывает собственноручно читательский интерес, но и может украсить книжную полку.

А возможно, эта книга для кого-то станет ещё одной дверцей в столь ценный Кавадеевым «афанасьевский мир – русскую вселенную».

Михаил
МУЛЛИН

«А в ладонях щебечет лето...»

К.К. Сейдаметова. Вольница: Стихи. – М.: «Голос-Пресс», 2018.

В издательстве «Голос-Пресс» (Москва, 2018 г.) вышла книга стихов Карины Сейдаметовой «Вольница».

Поэт Николай Коновской в предисловии к сборнику заметил: «...Нет никакой женской поэзии, равно как и мужской, – попросту говоря, есть стихи хорошие и плохие».

Соглашаясь с этим в принципе, я допускаю, что, может быть, и есть женская и мужская лирика, но лишь в том смысле, в каком есть женская или мужская рифма. При этом женскую поэзию могут писать и самые «крутые» (брутальные) мужчины, а мужскую – и самые хрупкие (и «тонко организованные») девушки. И такое соотношение, может быть, довольно важно для оценки сборника Карины Сейдаметовой.

И всё-таки, на мой взгляд, главное в «Вольнице» – лирическая «сочность» текстов и (да простит меня Коновской!) женская нежность.

Первое, на что с радостью обращаешь внимание при чтении, – душевная близость (тяготение) автора к русскому фольклору, народному языку, мифам.

«Я не в сказке царевна-лягушка, / Но барахтаюсь, взбив молоко / В масле жизни».

Явно нравится ей былинность длинных строк и удачно используется в сборнике.

Вот один пример: «Ты расти-прорастай, хорошей, Золотая Китайка!»

Очень по-народному, даже и с повторами (не боится показаться немодной, быть не в тренде), песенно-лирично, например, это: «Как вдоль бережка, вдоль правого / В роще зреет чернотал. / Принимай меня, удалого, / Батяка Гурьев, брат Урал!» И при этом тут же сообщается, что в «суровом характере» поэтессы правомерно генетически «царствует татарин Сейдаметов / И властвует казак Пономарёв...» А славянка у неё считает-полагает: «И пускай же враги, что так яро рванутся / Строить новый ковчег, / Мастерам себе гроб». И во все времена опасностей смертельных уверена: «Мы восстанем из пепла и пойдём по воде». Это уж явно не женская тема и тем более – в волжском народном поверье о Жигулях: «Две атаманши пригожих гуляли. / В Девьих горах понемногу шалили – / Ножичком острым купчишкам грозили». Здесь, кстати, ещё нагляднее проявляется особенность поэтического слога – активное (то есть не случайное) использование былинности и поэтического языка русских заговоров. А вот подчёркнутая прежде «дважды народность», что ли, Карины Сейдаметовой и её явная любовь к вошедшей в кровь и душу «провинции» (малой родине):

Столичного гуляку не проймёт:
И в глиняном кувшине с молоком
Он видит просто молоко; а мёд
Не разделяет с рыночным лотком...

И, конечно, здесь речь у неё не о горожанине как таковом, а о «гуляке», разучившемся даже и думать.

Но вот, вроде бы, очень женские строчки: «Предрасветная чуткая алость... / Волга павой плывёт в тишине». И далее: «То, о чём так надменно мечталось, / Навсегда отоснилось во сне». Однако не подобная ли «женскость» столь часто встречается у Есенина? А это «отоснилось во сне» не напоминает ли подчёркнутую «неженскость» поэзии Юрия Кузнецова? Кстати, само это «соединение» Есенина и Кузнецова произведено, кажется, впервые в русской поэзии и на редкость интересно, и, возможно, весьма перспективно...

Поэтесса – по крови наследница **разных** предков, как бы их итог (промежуточный), и потому – ответственность сугубая, ибо ей же отвечать перед всеми, нельзя никого подвести. И тут важно понимание ответственности не только перед будущим (что понятно), а и перед минувшим. Ведь не зря же сказано другим поэтом: «Всё настоящее уходит в будущее».

Стихи Карины Сейдаметовой отличаются постоянный поиск Бога (после того, как на это вроде бы сняты запреты и препоны). И поиск пути к Нему. Отрадно, что Сейдаметовой удаётся «нащупать» истинное. Ведь как поэт она из поколения **очередного** великого перелома, не переломившего её, к счастью, не сломавшего, однако задавшего множество почти неразрешимых (для одной жизни) вопросов.

И вот оно – «развитие темы»: «Две стороны одной луны мерцают, / И я за обе, как могу, молюсь...» (Отметим это любопытное умение увидеть всегда скрытую от нас обратную сторону Луны!) И в этом «как могу» – и дерзновение, и смирение, и самоумаление верующего перед грандиозностью намерения.

Молится и тогда, «когда клянут друг друга Золотая / Орда-беда и грусть – Святая Русь». Ведь лирическая героиня (она же автор) констатирует: «Правители судьбы моей строптивой – / Два рода: кочевой и боевой – / Кресало и кремь, а я – огниво / Фамильной жгучей связи родовой...» Казалось бы, частности, о которой в рецензии упомянуть бы не стоило, но... это же **не только** о поэтессе. Тут задумываешься: да ведь не все ли мы, россияне, таковы и таковыми («огнивами») быть должны? Ведь если чуть ли не презрительное и самонадеянное наполеоновское «Потри любого русского...» совре-

менными историками и генетиками не подтверждается, то, если «потереть» любого татарина, то в нём точно уж (непременно!) найдёшь русского. Средневековый татарин по обычаям имел право завести четыре жены, а где же тогда, спрашивается, на всех татарок напасёшься? Вот и скакали лихие вооружённые джигиты в незащищённые (и границы нет!) русские деревеньки, поля, на сенокосы захватывать «добычу» – будущих жён. А с другой стороны, не менее лихие казаки, отчасти иногда опасаясь вторгаться в земли государства Российского, отчасти не желая проливать христианскую кровь (особо грешно!), считали морально допустимым увозить недостающих жён с тюркских территорий. Но сколько же в казачьих прозвищах (фамилиях) тюркско-татарских корней! Ведь и татары, особенно ногайские, казаками становились. А сколько военных специалистов из татарских мурз перешло на службу к русским князьям и царям! Все они постепенно обрусевали, а многие становились основателями известнейших русских дворянских родов (от Державиных до Куприных, от Тургеневых до Булгаковых).

О книге Сейдаметовой можно смело сказать: «Там русский дух, там Русью пахнет». Патриотизм в сборнике явно не показной, но высокого накала: «...Безоглядые страны грановитой, / Удостоенной званья Руси», «...Монаршего кроя рубаха / Ближе к телу тебе, русский дом». Родина у неё не сусальная, и она требует от народа изрядных трудов, в том числе и духовных. Ибо: «Знает звонница, знает Боже, / Трудно вымолить грешных нас, / Но молитва пропсть не может, / Потому и вызывает всё же / За острожных глупцов подчас»; «Чем грустнее родная сторонущка, / Тем к ней бережней наша любовь...»

А ведь и верно. Ах, если бы не затуманивалась эта любовь в другие (менее грустные, что ли) времена! Но у Карины Сейдаметовой и иное отмечено: «Пробуждайся, родная сторонущка, / Чем теплей ты, тем сердцу милей». То есть любовь к «сторонущке» в крови у нас всё-таки «всепогодная».

Очень радует смелое по нашим временам разоблачение столь популярного и навязчиво поддерживаемого в современном мире «антивизантийства»: «Мы сияние златой Византии / На посконную Русь возвратим». А ведь следствием именно огульного осуждения «византийства» как раз и стал «прогресс», при котором «Мир торгует прибытка во имя, / Не во имя Христа и Аллаха – / Ради доллара всходит на плаху». И действительно доллар для многих стал божеством!

И если не миру, до которого не докричишься, то уж своим-то землякам-россиянам она напоминает, что «...рождённые под парусами, / Привозили из давешних странствий / Мы не столько табак или пьянство, / А заморским путём парусили — / Ради Бога, а значит, России!»

А эпиграф к одному из стихотворений: «Не нужно в живое тело страны вонзять клинок вражеской базы! Мы же не умерли! Мы просто ещё не проснулись...» — не высекание ли (огнём!) искры надежды, не заклинание ли — к народу? И не «разжёвывание» ли для совсем уж несведущих в истории строки:

*Мы из молний, грозы и стали.
Наш булат разрубил потёмки.
Только как мы такими стали —
Хоть убей, не пойму, потомки.*

Много значит и название первой из частей сборника, сообщающее нам, что Вольница-то вольницей, но (в то же время) она и «Вольница — иконница!» В ней-то «Собирался казак на войну: / Взял с собой лишь икону одну...»

Оригинально изображает автор книги любовь и природу. Воробышки у неё **всезнающие**, марток — **зимобор**, «...после жатвы / Земля вздыхает, как человек».

И к этому часто добавляется звукопись:

«Распутица схлынет, распустятся вишни...» или *«...река, / Искупавшая нас собою, / Искупившая всё лихое / И сбегавшая в облака...»*

А как интересно (даже с точки зрения физики процесса): «Мучкой вьюжной, метелицей злючей / **Перемолото снега зерно!**» Но продолжение (далее развивающее образ!) вовсе уж не к физическому миру относится: «**Выпекается нынче не лучшее, / Да и то плохо пропечено!..»**

«**Было нас, пьяных, трое — / Ты да я и... река!..»** — хорошее, однако, восприятие природы, как чего-то (несомненно!) единого с собою. А собственно любовь предстаёт как неотъемлемая часть природы.

А ещё любовь в её стихах... разная. Может быть такою:

*От чуть слышного слова «милая»
Закружилась моя головушка.
Не тебя, а любовь любила я,
Непутёвый ты мой соловушка!*

*Мак зажгёт в кумачовый рассвет поля
И костёр под старыми вязами.
Пусть тебе рассказывает земля
То, что мной не может быть сказано.*

Но может быть и другою:

*Когда снегом округа завьюжена,
Я в квартире, как в сельской избе,
Всё твержу молитву, мой суженый,
Обережную — о тебе.*

И «третьей»:

*Вся моя любовь — мотив дождливый,
Летняя нелётная погода.*

Поэзия Карины Сейдаметовой оптимистична. Ничего, что в, условно говоря, «некрасовском» стихотворном размере (аллюзия, выбранная Сейдаметовой, для неё важна, дабы подчеркнуть серьёзность обращения). Россия у неё отличается от некрасовской, иная (хоть, конечно, и та же): «Ты и раздольная, ты и раскольная!» В ней убеждённость: «Так нам ли тужить окаянною грустью, / Веками смирать огнепалый свой пыл?» А ведь тут ещё (неважно, сознательная или случайная) «отсылка» к книге критика Сергея Куняева! И — «Копи свою ратную силу, Россия» — призыв отнюдь не милитаристский, поскольку копить предлагается, используя духовность прежних веков: «В пшеничные косы неспешно вплетая / Просторы славянские, дали родные, / Преданья заветные отчего края...»

Трудности трудностями, «а в ладонях щебечет лето...» — и это залог здорового и светлого грядущего.

В его стихах много размаха, много «воздуха». Они словно бы парят над обыденным миром, но не в романтическом смысле этого слова, а в смысле ощущения лёгкости бытия и ощутимой печали существования любого.

Как-то всё между прочим: и век, и неделя,
и час,
И пустая дорога, и жёлтый сигнал
светофора,
И беспечный таксист,
вдохновенно пришпоривший «газ»,
Будто зная, зачем эта улица вписана
в город.

Я его пассажир — нам ещё полчаса
по пути.

Полчаса, а потом
я сойду под осеннее небо.

Я бы мог, между прочим,
и здесь точно так же сойти,
Потому что и здесь —
магазин, перекрёсток и верба.

Стихи Дмитрия Ханина наполнены музыкой. Порой эта музыка сглаживает что-то недосказанное. Порой она становится главным в стихах. И музыка эта, как и у большинства молодых авторов, связана с осмыслением прошлого, его проживанием и переживанием.

Я в ностальгии буднично тону,
Смотрю на мир, живущий по старинке,
И вижу, что отдельные снежинки
Сливаются в большую белизну.

По сути, Дмитрий Ханин приходит к тому, что было в литературе всегда: обращение к истокам, к детству. Но образ прошлого словно бы размыт. Автор создаёт миф — что очень важно на сломе эпох — в современной поэзии и в прозе. Миф Любви не как реальное — как идеальное. Миф — как то, что непостижимо и прекрасно.

Если злобой мир окован
И снега гнетут судьбу,
Я иду к стихам Рубцова,
Словно в мудрую избу.

Там уютно, как в апреле,
Хоть из окон светит грусть...
Я вернусь потом к метели,
Но другим уже вернусь...

Произведения Дмитрия Ханина небогаты подробностями, деталями быта прошлого и настоящего. Главное — в них есть мироощущение лирического героя, удивлённое и поэтическое.

Я пока ещё, кажется, молод,
Я иду в безмятежном краю,
А на ветках сверкают жердёлы,
Освещая дорогу мою.
И при тихом, спокойном сиянье
Видно то, что не выявит свет, —
Перешедшие в сны очертанья
Отгоревших, как ягоды, лет.
Я о прошлом тоскую нередко,
А мечты о грядущем скупы —
Мне бы стать плодоносной веткой
У изгиба тернистой тропы.



Павел Кузнецов

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Подписано в печать 26 февраля 2020 года.

Дата выхода в свет 29 февраля 2020 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/2602/20

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2020.

© «Волга–XXI век», 2020.



Кузьма Петров-Водкин. «1918 год в Петрограде». 1920



Кузьма Петров-Водкин.
«Автопортрет». 1918



Павел Кузнецов. «Вечер в степи». 1912



ISSN 1993-9477

9 771993 947726

6 0220